

Стивен Уситало

ИЗОБРЕТЕНИЕ МИХАИЛА ЛОМОНОСОВА

РУССКИЙ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
МИФ



СОВРЕМЕННАЯ
ЗАПАДНАЯ
РУСИСТИКА

ИСТОРИЯ

Steven A. Usitalo

•

The Invention of Mikhail Lomonosov

A Russian National Myth

Academic Studies Press

Boston

2013

Стивен А. Уситао

•

Изобретение Михаила Ломоносова

Русский национальный миф



Academic Studies Press

Библиороссика

Бостон / Санкт-Петербург

2023

УДК 929
ББК 63.3(2)5
У74

Перевод с английского Михаила Тарасова

Серийное оформление и оформление обложки Ивана Граве

Уситало, Стивен А.

У74 Изобретение Михаила Ломоносова. Русский национальный миф / Стивен А. Уситало ; [пер. с англ. М. Тарасова]. — СПб.: Academic Studies Press / Библиороссика, 2023. — 300 с. — (Серия «Современная западная русистика» = «Contemporary Western Rusistika»).

ISBN 979-8-887193-67-0 (Academic Studies Press)

ISBN 978-5-907532-99-1 (Библиороссика)

В этой книге Стивен Уситало рассматривает эволюцию восприятия Ломоносова с середины XVIII века до последних лет советского периода. Стремясь доказать соотечественникам и государству первоочередную роль науки в процессе национальной модернизации, многие российские деятели науки и искусства использовали идеализированный образ ученого и поэта — и тем самым способствовали возникновению «ломоносовского мифа». Уситало отмечает, что границы между советским и более ранним мифом о Ломоносове практически не было: основные его элементы сформировались еще в XVIII-XIX вв., и чем дальше он развивался, тем больше возникало преувеличений.

УДК 929
ББК 63.3(2)5

ISBN 979-8-887193-67-0
ISBN 978-5-907532-99-1

© Steven A. Usitalo, text, 2013
© М. Тарасов, перевод с английского, 2023
© Academic Studies Press, 2023
© Оформление и макет.
ООО «Библиороссика», 2023

Посвящается Маргарите

Благодарности

Работа над этой книгой продолжалась несколько лет, поэтому мне особенно приятно наконец выразить свою признательность друзьям, коллегам и организациям, которые мне помогали. П. Остин, К. Ботерблум, Р. Коллис, Д. Кракрафт, Д. Дельбурго, С. Диксон, покойный И. З. Серман, М. Свобода, покойный В. М. Живов и Э. Зицер читали отрывки из этой работы в основном на самых ранних стадиях. Их комментарии были как критическими, так и поддерживающими. Я благодарен любезному персоналу Библиотеки Макклеллана в Университете Макгилла, библиотеки Российской академии наук и Российской национальной библиотеки в Санкт-Петербурге (мне бы хотелось выразить особую благодарность Б. А. Градовой из последнего учреждения). На протяжении многих лет меня поддерживали Университет Макгилла, Северный государственный университет, Американский совет преподавателей русского языка и Программа Фулбрайта. Благодаря их щедрости я смог провести много времени (возможно, даже слишком много) в Санкт-Петербурге.

Мой хороший друг и бывший коллега из Университета Макгилла И. Рашид впервые прочитал эту работу, когда она только начинала свою жизнь как диссертация. Он продолжал читать и критиковать ее на протяжении многих лет. Его дружеские советы и поддержка остаются для меня одними из самых теплых воспоминаний о времени, проведенном в Университете Макгилла. Д. Вейдлингер терпеливо выслушал множество докладов, основанных на этой работе, на различных конференциях, он всегда был откровенен и поддерживал меня. К. Леки, К. А. Осповат и Й. Клейн читали последние версии этого издания — я в дол-

гу перед ними за их пронизательные суждения. Б. Уизенхант, мой старый друг из Санкт-Петербурга и Чикаго, читал множество версий моей рукописи и предложил то, что всегда бывает самым полезным: поддержку. Никто не потратил столько времени на чтение моих попыток связать жизнь М. В. Ломоносова в единое целое. Бен, спасибо тебе!

Эффективнее всего меня поддержал Г. Маркер — будучи редактором серии в «Academic Studies Press», он заказал мне эту рукопись. Его пронизательность и внимательность к моей работе значительно улучшили конечный продукт. Ш. Ведол была идеальным редактором. Она не просто сопровождала рукопись до публикации, но и с готовностью отвечала на все мои вопросы и откликалась на опасения.

Спасибо Игорю Немировскому за то, что он поддержал публикацию «Изобретения Михаила Ломоносова».

В аспирантуре мне посчастливилось учиться у В. Босса. Он был не просто ободряющим советчиком, а позже другом; благодаря ему я обрел непреходящий интерес к русской культуре XVIII века. Наши беседы в Музее Ломоносова были незабываемыми. Я не мог бы и мечтать о более интересном и эрудированном учителе. Мой покойный отец Арнольд и моя мать Сейя всегда давали мне то, что ожидается от родителей: безусловную любовь и безопасность. У меня нет слов — или почти нет, — когда я думаю о своей жене Маргарите и дочери Изабелле. Достаточно сказать, что я глубоко счастлив, а иногда и удивлен, что они обе есть в моей жизни. Что ж, Маргарита, теперь, когда Ломоносов исчез из нашей жизни, мы отправляемся в наше следующее удивительное путешествие.

Версии введения и часть текста были опубликованы ранее. Я благодарю издателей за разрешение частично перепечатать следующее: Russia's 'First' Scientist: The Self-Fashioning of Mikhail Lomonosov // Steven A. Usitalo and William Benton Whisenhunt, eds. Russian and Soviet History: From the Time of Troubles to the Collapse of the Soviet Union. Rowman & Littlefield, 2008; и: Lomonosov: Patronage and Reputation at the St. Petersburg Academy of Sciences // Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. 2011. Vol. 59. № 2. P. 217–239.

Введение

Вот уже более 200 лет эрудит XVIII века М. В. Ломоносов (1711–1765) прославляется в русской культуре как «отец» русской науки, литературы и, в более широком смысле, образования¹.

Общие контуры биографии Ломоносова хорошо известны в его собственной стране. Каждое поколение советских и российских школьников, пусть и не по своей воле, знало наизусть легендарные истории о сыне рыбака с далекой северной окраины Российской империи (он родился в деревне близ Архангельска, недалеко от Белого моря). Кульминацией неутомимой жажды знаний Ломоносова стали годы его плодотворной работы в Санкт-Петербургской Академии наук. Задуманная еще Петром Великим,

¹ В то время как истоки идеи, что Ломоносов является отцом или основателем русской науки и реформатором русского литературного языка, лежат в XVIII веке, рождению мифа о Ломоносове, как и многому другому, относящемуся к изучению культурных событий Российской империи XVIII и XIX веков, мы обязаны общественному деятелю и литературному критику XIX века В. Г. Белинскому. Именно он, по-видимому, придал более четкий, хотя и кажущийся теперь шаблонным, импульс уже существующим убеждениям. Белинский много ссылался на Ломоносова в своих произведениях, и его высказывания, всегда сделанные авторитетным тоном, обычно принимали вид афоризмов. Для Белинского «Ломоносов был не только поэтом, оратором и литератором, но и великим ученым», человеком, который глубоко изменил жизнь своих соотечественников, привнес в Россию науки и образование (цитата взята из рецензии 1836 года на двухтомный исторический роман К. А. Полевого о Ломоносове [Белинский 1953–1955, 2: 189]). Он также писал, что Ломоносов, будучи безоговорочно блестящим в своих способностях, является «отцом русского слова и русской учености» (цитата взята из краткой критической статьи, написанной Белинским в 1844 году [Белинский 1953–1955, 8: 359]).

она и по сей день остается основным научным и культурным учреждением России.

Выдающийся физик, химик (в Академии наук он занимал кафедру химии), поэт, историк, лингвист, географ, художник и не только, он является самым знаменитым действующим лицом русского Просвещения².

Дискуссии не только о природе, но и о самой концепции русского Просвещения в советский период часто имели идеологическую окраску. В связи с усиленным ростом русского национализма в 1940–1950-е годы многие ученые начали настаивать на том, что Просвещение в Российской империи имело ярко выраженные локальные особенности, в основании которых находился абсолютный материализм. Однако даже наиболее экстремальные из этих политических и социальных характеристик русского Просвещения никогда не были ни общепризнанными, ни даже четко сформулированными. Одновременно с этим регулярно появлялись глубоко проработанные исследования и монографии, посвященные связям русской культуры и литературы XVIII века с идеями западноевропейских мыслителей эпохи Просвещения³.

Акцент в исследованиях делался почти исключительно на связях с Западом. Тот факт, что Российская империя могла просто испытывать культурное влияние французских, немецких или английских идей Просвещения без какого-либо предполагаемого ответного влияния на «европейскую культуру», по крайней мере формально, долгое время отвергался.

² Пагубное влияние П. Н. Беркова, который долгое время возглавлял Группу по изучению русской литературы XVIII века в Институте русской литературы (Пушкинский Дом), подчеркивается Д. М. Гриффитсом в [Griffiths 1982]. Тезис о том, что идея русского Просвещения была в значительной степени сформулирована отдельными учеными из СССР и ГДР, предлагает и М. Д. Окенфусс [Okenfuss 1995: 223–230].

³ Чрезвычайно полезным справочником является серия «XVIII век» [XVIII век 1935–2011]. Состоящая на данный момент из 26 томов, она, несмотря на претензии некоторых ее авторов относительно расцвета и оригинальности русской культуры XVIII века, представляет собой превосходный обзор русской интеллектуальной жизни и русского Просвещения.

Если Российская империя подверглась воздействию идей Просвещения, то в ней должны были появиться и свои просветители [Griffiths 1982: 317]. Ломоносов, «первый русский ученый», был явным кандидатом на канонизацию в качестве «великого сына русского народа».

В конце концов, его скромное недворянское происхождение удивительно гармонировало с квазимарксистскими принципами, которым были вынуждены следовать многие советские историки и литературоведы в исследованиях XVIII века. Контраст между достижениями Ломоносова и его крестьянским происхождением производил не меньшее впечатление и на писателей XVIII и XIX веков. Становление молодого ученого вопреки всевозможным социальным и экономическим ограничениям стало центральной идеей в благоговейных текстах о его жизни. Причины и цели выстраивания этого нарратива будут рассмотрены далее.

Как часто это было характерно для натурфилософа XVIII века, сфера интересов и деятельности Ломоносова была разнообразной. Помимо диссертаций по химии, физике, металлургии, горному делу, геологии, астрономии и управлению наукой в России⁴, он написал несколько литературных и лингвистических трактатов, в том числе руководство по риторике, составил «Российскую грамматику», а также предложил ряд реформ русского стихосложения.

Ломоносова также помнят как одного из самых выдающихся поэтов России, менее выдающегося драматурга и автора некогда

⁴ Большинство работ Ломоносова были посвящены натурфилософии в широком смысле этого слова. См. последнюю и, возможно, окончательную версию его собрания сочинений: [Ломоносов 1950–1983], особенно т. 1–5; в дополнение к этому т. 9–11 содержат обширную официальную документацию и переписку, связанную с его научной работой. Примечания к отдельным работам серии раскрывают данные предыдущих публикаций. Г. З. Кунцевич, составивший [Кунцевич 1918], указывает несколько выпущенных прежде изданий собрания сочинений Ломоносова. Публикации Ломоносова на русском языке XVIII века см. в [Сводный каталог 1962–1975], в особенности т. 2, с. 162–177.

широко распространенных исторических произведений. Некоторое время он руководил гимназией и университетом Академии наук, возглавлял ее географический отдел, помогал наладить издательскую деятельность Академии. Он также основал первую в России химическую лабораторию, содействовал созданию Московского университета, открыл фабрику по производству стекла, приложил множество усилий для развития мозаичного искусства в России и работал над созданием научных приборов, из которых, возможно, наиболее примечательны те, что были предназначены для отечественной навигации.

Ломоносова повсеместно превозносят в России как человека, чей вклад в науку⁵ — которым незаслуженно пренебрегают за пределами России — не бледнеет по сравнению с достижениями таких научных, культурных и в конечном счете национальных героев, как Ньютон, Коперник, Галилей и Франклин. Аналогии с Ньютоном и Франклином особенно тесно вписаны в посвященную Ломоносову историографию и красноречиво подчеркивают высокий статус, присвоенный ему в российском культурном дискурсе. Но, в отличие от случаев с вышеупомянутыми «корифеями науки», ему не приписывают никаких достоверных открытий или разрушающих предшествующую парадигму прозрений. Российские ученые приложили немало усилий, чтобы исправить этот очевидный недостаток, и их деятельность по широкому распространению представлений о том, что плодотворные научные рассуждения Ломоносова демонстрируют глубокую оригина-

⁵ Автор указывает, что перевод русского слова «наука» на английский язык вызывает трудности. Оно часто переводится как «science», но имеет более широкое значение, чем его английский эквивалент. Его лучше сравнивать с немецким словом «Wissenschaft», которое означает общее стремление к знаниям, не ограничиваясь натурфилософией. Различие между «science» и более обширно понимаемой «наукой» станет ясным при последующем рассмотрении вопроса. Употребление слова «science» в связи с Ломоносовым или любым другим химиком, физиком, астрономом, математиком и т. д. эпохи раннего Нового времени как ученого, конечно, является анахронизмом (сам термин широко не использовался до первых десятилетий XIX века), но оно является общепринятым и позволяет избежать семантической путаницы.

нальность и дальновидность, в течение последних двух столетий разворачивалась все более быстрыми темпами⁶.

Общим местом в исторической литературе, посвященной российской науке, является, по всей видимости, предположение о том, что исследования Ломоносова в области химии, физики, географии и всего остального, к чему подвели многочисленные

⁶ Производство текстов, связанных с именем Ломоносова, напоминает хорошо отлаженную отрасль промышленности, причем фантастически плодотворную: по моим подсчетам, уже сейчас в этой сфере имеется около четырех тысяч публикаций, и их число продолжает расти. Ведущая роль Академии наук в организации этой поистине религиозной деятельности освещена в работе [Радовский 1961: 222–271]. [Смагина 2011] рассматривает усилия Академии, предпринятые в 1780–1790-х годах и связанные как с публикацией трудов Ломоносова, так и с поощрением биографических работ о нем. За этими начинаниями наблюдала княгиня Екатерина Дашкова, самый энергичный директор Академии XVIII века. В качестве путеводителя по большей части досоветской литературы, которая составляет менее четверти от общего числа работ, см. [Фомин и др. 1915]. Более свежие источники см. в библиографических и/или архивных материалах, содержащихся в каждом томе сборника [Ломоносов 1940–2011]. Почти всю соответствующую архивную информацию, касающуюся собственных трудов Ломоносова, можно найти в изданиях: [Модзалевский 1937; Модзалевский, Тункина 2011; Кулябко, Бешенковский 1975; Беляева 2010; Мартынов 2010]. Более того, обширные комментарии к собранию сочинений Ломоносова, расположенные в конце каждого тома, содержат множество ссылок на соответствующую первичную и вторичную литературу. Вплоть до конца XIX века научной работе Ломоносова уделялось сравнительно меньше внимания, чем художественной стороне его деятельности. С тех пор существует приблизительный паритет в пространстве, отведенном его научной и литературной деятельности. Советским историкам науки не было равных в количественном отношении в издании биографий (и в гораздо меньшей степени автобиографий) ученых, натурфилософов, технических специалистов и тому подобного. Титанические биографические усилия, направленные главным образом на демонстрацию российского научного прогресса, фактически включали в себя все советские исследования научного прошлого. Эти исследования игнорируются практически во всех нерусскоязычных исследованиях, посвященных «подъему европейской науки». Ярким историографическим примером является [Söderqvist 2007]; см., в частности, его введение. Похвальная цель Седерквиста по исследованию масштабов научной биографии с момента ее зарождения сводится на нет из-за отсутствия, за исключением одного некорректного намека, ссылок на русскоязычную науку.

и разнообразные виды его деятельности, стали основанием для работы последующих поколений ученых. В высшей степени спекулятивный характер научных работ Ломоносова, в дополнение к тому незавершенному состоянию, в котором он оставил многие из них, позволил ученым, работающим в тени его имени (имя Ломоносова приобрело широкую известность после его смерти), делать экстраординарные выводы относительно его очевидной связи с более поздними учеными, с их открытиями и предположениями⁷.

Попытки схематически изобразить прямое интеллектуальное влияние оказали сильное влияние на российских и советских ученых, оценивающих место Ломоносова в истории науки, однако они чреваты ловушками. Например, такими, как заявление историка М. И. Сухомлинова о том, что «Румовский, Котельников и Протасов получили свое научное образование под руководством Ломоносова; Лепехин и Иноходцев были учениками Румовского и Котельникова; Озерецковский, Соколов и Севергин образовались под благотворным влиянием Лепехина и т. д.» [Сухомлинов 1878]⁸. Несмотря на то что все вышеупомянутые натурфилософы рубежа XIX–XX веков, безусловно, были осведомлены о научной работе Ломоносова, а некоторые из них знали его лично, нет никаких свидетельств о «родословной», ведущей от научных трактатов Ломоносова к их собственным исследованиям. Это верно как в отношении его современников XVIII века, так и в отношении любой предполагаемой линии развития идей Ломоносова последующими поколениями ученых.

В вопросе о том, основал ли Ломоносов школу или сообщество студентов, продолжавших его научную работу, можно категорически признать, что он не оставил ни одного прямого последова-

⁷ Примером являются книги [Меншуткин 1904] и [Меншуткин 19116].

⁸ С. Я. Румовский (математик), С. К. Котельников (математик), А. П. Протасов (анатом), И. И. Лепехин (исследователь), П. Б. Иноходцев (астроном), Н. Я. Озерецковский (естествоиспытатель), Н. Н. Соколов (химик) и В. М. Севергин (химик и минералог) были одними из самых выдающихся деятелей ранней российской науки.

теля. Единственный ученик Ломоносова, который явно пытался идти по его стопам, В. И. Клементьев, служил его ассистентом по химии, но умер на пять с лишним лет раньше учителя (Клементьев скончался в 1759 году) [Ломоносов 1950–1983, 9: 60–63, 103, 442–443, 471–472, 664, 667–668, 675–679, 852; Раскин 1962; Раскин 1952]⁹. Более того, Ломоносов в значительной степени отказался от активной работы в своей химической лаборатории и от обучения студентов к началу 1750-х годов. Несмотря на утверждения многих российских и советских ученых, такие уважаемые натурфилософы XVIII века, как Румовский и Котельников, усердно избегали влияния Ломоносова. Румовский, в частности, был резок в своем мнении об исследовательских способностях Ломоносова, поэтому вряд ли может быть классифицирован как его последователь.

Однако вместо того, чтобы заикливаться на хорошо изученных подробностях биографии Ломоносова или чрезмерно оспаривать их, по крайней мере сверх необходимого понимания контуров его влияния на русскую культуру, мы сосредоточимся на попытке понять, почему сформировалась «мифология Ломоносова» и каково ее значение. Бесспорно, что преувеличенно богатая интеллектуальная генеалогия в российской науке, в которой Ломоносов считается родоначальником множества научных дисциплин и достижений, существует с конца XIX века.

Основополагающие элементы этой мифологии, однако, встречаются уже в мемуарах Ломоносова, написанных в последние три десятилетия XVIII века. Крайне избирательная конфигурация

⁹ Натан Брукс объясняет неспособность Ломоносова подготовить преемников отсутствием стабильного сообщества ученых в России XVIII века. По его мнению, не существовало каких-либо установленных институциональных процессов, с помощью которых учащиеся могли бы сменять своих учителей. См. [Brooks 1989: 40–58]. Диссертация Брукса о научных сообществах не вызывает возражений, хотя и чрезмерно узкая; будущие исследования структуры науки в России раннего Нового времени могли бы извлечь выгоду из изучения природы как формальных, так и неформальных сетей покровителей и клиентов. Заставляющая задуматься работа такого же типа, посвященная тактике и стратегии продвижения Галилея, главным образом при флорентийском дворе, это [Biagioli 1993].

исторических деталей в них убедительно свидетельствует об определенных «мифогенных» качествах русской культуры, которые, по-видимому, сыграли решающую роль не только в структурировании содержания этих мемуаров, но и в их восприятии¹⁰. Автобиографические размышления Ломоносова также были важным источником для последующего представления и искажения действительности.

Возведение ученых в ранг светских святых с сопутствующими неточностями, преувеличениями или ложью в их известных биографических данных вряд ли является уникальным явлением для российской культуры, однако им сопутствуют особенности, которые характеризуют рождение любого мифа¹¹. Мифотворче-

¹⁰ И. В. Рейфман предлагает поучительный анализ этого феномена и, более конкретно, формирования русских литературных мифологий XVIII века и выдающегося положения Ломоносова в них в своей книге [Reyfman 1990: 1–131]. Подчеркивая силу мифа о сотворении мира в России XVIII века, она отмечает роль таких фигур, как Петр Великий и Ломоносов: «Главный герой мифа о сотворении мира, демиург или культурный герой, придает вещам надлежащее расположение и устанавливает правила для будущих поколений... Таким образом, герой в некотором смысле является предком нынешнего сообщества» [Reyfman 1990: 11]. Подробнее о мифологическом этосе, который, по-видимому, отличал Россию XVIII века, см. в следующих основополагающих статьях: [Лотман 2002; Лотман, Успенский 1996в; Лотман, Успенский 1996г].

¹¹ В книге [Abir-Am 1982] представлены различные цели, с помощью которых национально-политические, институциональные и дисциплинарные повестки дня могут быть удовлетворены или сорваны путем манипулирования наиболее заметными образами, предназначенными для отбора научных «культурных героев» (особенно интересны главы, посвященные Н. Копернику, Л. Пастеру и М. Планку). Хотя научная деятельность Б. Франклина не находится в центре моего внимания, сравнительную ценность для моей работы представляет исследование [Huang 1994]. Также интересен труд Ф. Азуви «Descartes» [Azouvi 1998]. Автор прослеживает путь репутации Декарта во Франции за последние три столетия. Как утверждает Азуви, Декарт и картезианство подвергались интенсивному и конкурирующему политическому, религиозному и научному давлению со стороны последующих поколений французских авторов, что привело к невозможности точно сформулировать, что составляет биографию Декарта или картезианскую философию. Что же касается мифологии вокруг фигуры Ньютона, то в последующих главах этой работы будет представлено сходство между методами и целями его ранних биографов и авторов жизнеописаний Ломоносова.

ский характер России XVIII века, позволивший репутации Ломоносова разрастись до поразительных масштабов, по-видимому, черпал свою силу в более всемогущем историческом культе Петра Великого¹². Многие россияне долгое время придавали его правлению совершенно апокалиптический смысл.

Центральной в представлениях петровской эпохи была идея о том, что старая Россия и сопутствующая ей культура полностью побеждены Россией новой. По словам Ю. М. Лотмана и Б. А. Успенского, это привело к тому, что «“новое” отождествлялось с хорошим, ценным, достойным подражания, “старое” же мыслилось плохим, подлежащим слому и уничтожению» [Лотман, Успенский 1996в]¹³. На основе этого мнения среди элит сформировалось твердое убеждение о том, что начиная с эпохи Петра Великого русские пережили не просто культурное пробуждение, а совершенно «новое начало», которое переориентировало их мышление¹⁴.

¹² О происхождении и развитии культа Петра Великого в России см. следующее: [Петр Великий 2003; Cherniavsky 1969: 72–100; Gasiorowska 1979; Hughes 2002: 225–250; Лотман, Успенский 1996б; Николаев 2007; Platt 2011; Плюханова 1979; Путилов 2000; Riasanovsky 1985; Шмурло 1912].

¹³ Этот «образ “новой России” и “нового народа” сделался своеобразным мифом, который возник уже в начале XVIII столетия и был завещан последующему культурному сознанию», и это, как утверждают Лотман и Успенский, «настолько глубоко укоренилось, что, по сути дела, не подвергалось сомнению» [Лотман, Успенский 1996в]. См. также [Стенник 1988] и [Клейн 2005], особенно его глава «Раннее Просвещение, религия и церковь у Ломоносова».

¹⁴ С. Л. Бэр в труде [Baehr 1991] предлагает всесторонний анализ литературы XVIII века о Петре Великом. Опубликованные работы на эту тему были, что неудивительно, полностью панегирическими по тону. Место Петра в сочинениях Ломоносова, возможно, засвидетельствованное с особой ясностью через его хвалебные оды, посвященные дочери Петра Елизавете, освещается во многих исследованиях, в том числе в упомянутой выше книге Бэра. См. также [Гребенюк 1987; Levitt 2012: 15–63; Погосян 1997: 85–123; Serman 1988: 82–112]. Н. В. Рязановский указал центральное место, которое Петр I занимает в российском историческом дискурсе. Им мастерски представлены взгляды Ломоносова на «царя-реформатора» (см. [Riasanovsky 1985: 30–34, 50]).

Конечно, притягательный потенциал науки и фигуры ученого сыграли ключевую роль в причинах, по которым правление Петра воспринималось как прогрессивный разрыв с традицией. Ломоносов, движимый бескорыстным стремлением к распространению знаний среди своих соотечественников, олицетворял идеалы петровской эпохи. С самого начала он служил проводником, который сперва способствовал принятию нового типа знания, а затем стал его основным распространителем. Как по личным качествам, так и по профессиональным достижениям биография Ломоносова свидетельствовала о личности сверхчеловеческих (действительно петровских) масштабов. Возможное слияние его жизни с мифом о Петре Великом (хотя и в явно второстепенной роли¹⁵), а также с комплементарным представлением о революционном темпе перемен XVIII века в целом раскрывает генезис того, что фигура Ломоносова стала значить исторически. Он воплотил петровский (и советский?) идеал высокого положения, достигнутого благодаря достойной службе, контрастировавший с якобы дискредитированным приобретением ранга только по рождению.

В этой книге прослеживаются истоки и развитие чрезмерной образности, связанной с репрезентацией Ломоносова в качестве отца российской науки с момента ее возникновения в конце XVIII века до гибели в конце советского эксперимента¹⁶. Идеали-

¹⁵ В статье Александра Портнова «Ну, Михайло Василич, задал загадку. Был ли Ломоносов внебрачным сыном Петра I?» (Труд. № 65. 13 апреля 1995 года) высказывается предположение, согласно которому Ломоносов был незаконнорожденным сыном Петра. Эта статья цитируется в [Hughes 1998: 331]. Конечно, Хьюз отвергает легенду о том, что Ломоносов был потомком Петра, это делает и Портнов, отмечая при этом, что Ломоносов «несомненно был духовным отпрыском Петра».

¹⁶ В эпилоге я размышляю о дальнейшей судьбе или постсоветской жизни ломоносовского мифа. Я ограничил свое исследование образами Ломоносова в письменных работах. Хотя в такого рода исследованиях автор всегда подвергается обвинениям в идиосинкразии в связи с выбором текстов, я полагаю, что моя логика выбора конкретных работ и авторов будет ясна. Существует также множество визуальных образов, посвященных Ломоносову, большая часть которых поразительно агиографична. См. [Бабкин 1940; Ченакал 1965; Глинка 1961; Ломоносов 2011; Николаев 2011; Рытикова 2011].

зированное изображение Ломоносова было использовано российскими учеными, историками и поэтами, в частности, в попытках продемонстрировать своим соотечественникам и государству прагматическую пользу науки для модернизации страны. Идея о том, что наука имеет решающее значение для реализации широких культурных устремлений, также была заложена в обожествлении ученого. Я отделил научное наследие Ломоносова от представлений о его значимости как литератора. Сам он, возможно, и считал химию и физику своими основными занятиями, но наследие национальных героев оспаривается, и его жизнь была использована авторами следующих поколений для продвижения своих научных и исторических программ [Зубов 1956]¹⁷. Выдвигая это предположение, я утверждаю, что нельзя проводить четкого разделения между использованием мифа о Ломоносове в советский и более ранний период российской истории. Основные элементы, сформировавшие соответствующую мифологию, были заложены в XVIII и XIX веках, тогда как советские ученые просто добавили еще несколько плотных слоев к существовавшим до них представлениям.

Хотя в XVIII веке деятельность ученого в разнородных областях не была чем-то необычным, к XIX веку идея энциклопеди-

¹⁷ Историографический обзор Зубова не только сохранил свою ценность для изучения, в частности, российской науки XVIII века, но и представляет собой довольно тщательный обзор работ о Ломоносове вплоть до середины XIX века. Менее достоверным исследованием литературы о Ломоносове является [Соловьев, Ушакова 1961]. Авторы этой работы полны решимости проиллюстрировать влияние Ломоносова на более позднюю русскую мысль. Для более тщательного историографического исследования, включающего как более ранние, так и более поздние исследования, посвященные истории российской химии, см. [Шептунова 1995]. Позиционируемая как первая «постсоветская» биография Ломоносова, книга [Шубинский 2006] ставит под сомнение многие агиографические излишества, которые искажают место Ломоносова в российской истории и в истории науки. В то же время Шубинский не опровергает их в достаточно удобочитаемом изложении. Возможно, лучшими из «западных» исследований, посвященных научной жизни Ломоносова, являются [Boss 1972: 152–237; Lomonosov 1970: 3–48; Vucinich 1963: 105–116, 401–402].

ческой личности стала несовместимой с развитием более узких профессиональных специализаций. На рубеже XIX и XX веков исследователи, стремившиеся определить место Ломоносова в российской науке, сосредоточились на разделении его до сих пор бесчисленных специализаций на роли химика, физика, географа и т. д.¹⁸ Хотя детали научных трудов Ломоносова были творчески переработаны и расширены в последующих пересказах, представления о нем как о воплощении возникновения и расцвета науки в России были той точкой опоры, на которой строились почти все описания.

В первой главе данной книги рассматриваются напряженные попытки Ломоносова создать для себя в Академии наук надежную «социально-профессиональную» роль натурфилософа. Научное призвание было еще плохо сформированной профессиональной категорией, совершенно лишенной установленного ранга. Те, кто успешно делал научную карьеру, полностью зависели от благосклонности могущественных благодетелей. Когда Ломоносов искал ощутимой поддержки или простого поощрения, И. И. Шувалов был его самым надежным покровителем. Довольно искусное использование Ломоносовым покровительства для повышения своего статуса в российском обществе сформировало его собственные мифотворческие устремления. В данной главе подробно рассматриваются его попытки тесно связать себя с авторитетом Х. Вольфа и Л. Эйлера. Его очевидные связи с Вольфом и Эйлером являются исключительно важными мотивами, сначала в его собственном самовосприятии, а затем в исторических представлениях о нем.

¹⁸ Как заметил Д. Гаскойн: «Наука не меньше, чем религия, нуждается в своей галерее святых как источниках подражания, чтобы обеспечить ощущение преемственности и традиции. Но, неизбежно, потомки избирательны в составлении такого списка благословенных, поскольку копаются в прошлом в поисках фигур, которые, по-видимому, лучше всего соответствуют потребностям настоящего. Ученые XIX и XX веков с большим уважением относились к отцам-основателям своей дисциплины, которые оставили свой след в манере, наиболее знакомой ученым более поздней эпохи» [Gascoigne 1996: 243].

Существуют явные признаки того, что многие русские мыслители, заинтересованные в подчеркивании важности натурфилософии для развития своей страны, были глубоко вдохновлены общепризнанным к концу XVIII века героическим образом Ломоносова, даже если сами не находились под его прямым влиянием или связанной с ним мифологией. Разработка научной биографии Ломоносова его современниками является предметом второй главы. Труды Я. Я. фон Штелина, Н. И. Новикова и М. И. Веревкина сыграли основополагающую роль в формировании ранних взглядов на Ломоносова. Последующие ученые постоянно пересматривали значение Ломоносова, а также оценки его фигуры в трудах М. Н. Муравьева и А. Н. Радищева. Резкая оценка Ломоносова Радищевым вызвала особенно интересный, хотя и неоднозначный резонанс в его мифологии. Вторая глава иллюстрирует, что образ Ломоносова служил каналом, через который обсуждались и в определенной степени популяризировались тенденции научной мысли в России XVIII века. Ранние жизнеописания Ломоносова также косвенно подчеркивают зачаточное состояние жанра биографии в России.

В третьей главе рассматриваются попытки определить ценность Ломоносова как натурфилософа, предпринятые в начале XIX века химиком и минералогом В. М. Севергиным. Его настойчивость в доказательстве значимости Ломоносова как достойнейшего примера по утверждению важности науки для россиян для будущих ученых демонстрирует продолжающийся поиск его места и статуса среди первых российских ученых. Оценку Севергина сделал особенно заметной тот факт, что он был «профессиональным» ученым. Также в третьей главе обсуждаются красноречивые оценки А. С. Пушкиным места Ломоносова в русской культуре, которые оказались, благодаря тотемному статусу Пушкина, очень важными для дальнейшего развития исторической известности Ломоносова. Изучение ассоциаций между Пушкиным и Ломоносовым дает существенное понимание силы мифологического этоса в русской культуре.

Увлекательная встреча русских ученых и писателей XIX века с многочисленными «научными» образами, связанными с именем

Ломоносова, произошла во время празднования столетия Московского университета в 1855 году. В то время как культурные достижения Ломоносова получили широкое признание, его научные работы подверглись как никогда прежде жесткой критике. Эта новая реакция на репутацию Ломоносова анализируется в четвертой главе. В ней также затронута литература, появившаяся в связи с празднованием юбилея Ломоносова в 1865 году. Празднования прошли более чем в 20 городах и поселках. Многочисленные публикации этого года о Ломоносове стали результатом усилий деятелей культуры всех мастей по внедрению идеи, что Россия становится все более современной страной, характеризующейся наличием в ней признанного научного наследия. То, что Ломоносов олицетворял дух этого наследия, было ясно продемонстрировано как в докладах, сделанных в Московском университете в 1855 году, так и на протяжении всего юбилейного 1865 года.

Химик и историк науки Меншуткин посвятил себя качественному совершенствованию и количественному преумножению историографических трудов, посвященных научной деятельности Ломоносова. Почти 40-летняя работа Меншуткина в российских и советских архивах (которая закончилась с его смертью в 1938 году) послужила основой для более чем 20 опубликованных им исследований, которые рассматриваются в заключительной главе. Выявляя ранее неопубликованные или, казалось бы, забытые химические и физические рукописи Ломоносова, а также добавляя к ним пространные комментарии, Меншуткин стремился добавить обширный научный аппарат к и без того впечатляющему научному наследию, приписываемому Ломоносову. Его настойчивый акцент на предвосхищающем характере научных размышлений Ломоносова пронизывает все его работы и является апофеозом образа Ломоносова как бесстрашного научного первооткрывателя.

Именно в рамках популярной биографии Ломоносова, которую Меншуткин впервые опубликовал в 1911 году, было наиболее решительно достигнуто сочетание анализа и легенды мифа о Ломоносове. Работа Меншуткина по разработке связанной

с Ломоносовым мифологии пересекает несколько искусственную историческую пропасть между имперской Россией и Советским Союзом и уместно демонстрирует, что представления о Ломоносове как о первом русском ученом не были исключительно продуктом каких-либо конкретных политических представлений, а, скорее, появились и сохраняли актуальность благодаря усилиям поколений российских мыслителей.

Меншуткин завершил расширенное издание этой биографии цитатой из стихотворения «Elegi monumentum» Горация, переведенного Ломоносовым:

Я знак бессмертия себе воздвигнул
Превыше пирамид и крепче меди,
Что бурный аквилон сотреть не может,
Ни множество веков, ни едка древность.
Не вовсе я умру; но смерть оставит
Велику часть мою, как жизнь скончаю.
[Меншуткин 1937: 314]

Ода Горация (позже ее форма была использована в более известном стихотворении Пушкина) — прекрасная аллегория не только кажущегося успешным стремления Ломоносова к земным почестям, но и желания увековечить свою память среди последующих поколений соотечественников. Великая похвала, которой русская культура издавна одаривала имя Ломоносова, говорит о том, что его цели были достигнуты.

Как и в случае с Пушкиным, слава Ломоносова намного превзошла любые реалистические ассоциации с известными деталями его биографии; памятник Ломоносову — это мифология. То, как и почему он был создан, интригует больше, чем реальные научные достижения¹⁹. Действительно, я бы сказал, что Ломоно-

¹⁹ Попытка П. Нора интерпретировать французское прошлое таким образом, чтобы «меньше интересоваться причинами, чем следствиями; меньше интересоваться действиями, которые запоминаются или даже отмечаются, чем следами, оставленными этими действиями и взаимодействием этих воспоминаний; меньше интересоваться самими событиями, чем построением событий на основе времени, в исчезновении и повторном появлении их

сов представляет интерес прежде всего как символическая фигура, чрезвычайно яркая до недавнего времени, которая на протяжении двух столетий удовлетворяла ощутимым интеллектуальным и эмоциональным требованиям, которые русская гордость предъявляла к национальному мифу²⁰.

значений; менее быть заинтересованным тем, «что на самом деле произошло», чем его постоянным повторным использованием и неправильным использованием, его влиянием на последующие события; меньше интересоваться традициями, чем тем, как традиции создаются и передаются», может быть полезна при рассмотрении некоторых русских мифов и символов. См. предисловие к [Nora 1998].

²⁰ О происхождении русской гордости, или национальной идентичности, или национального сознания, или национализма (в большинстве обширной литературы по этим темам определения безнадежно размыты, когда применяются к конкретным «национальным» условиям) см. противоречивое, всегда вызывающее споры объяснение Л. В. Гринфельд в [Greenfeld 1992: 189–274]. По мнению Гринфельд, «в конечном счете именно “исконная русскость” оправдывала новый статус (или статусные устремления) недворянских интеллектуалов» (таких, как Ломоносов) [Greenfeld 1992: 243], и эта зарождающаяся русскость развилась исключительно из «разочарованности» «Западом». «Экзистенциальное» негодование, ревность, испытываемые российской элитой, как дворянской, так и не дворянской, по отношению к Англии, Франции, Пруссии, Нидерландам и другим странам, как считает Гринфельд, также были причиной «горькой и неоправданной» ненависти Ломоносова к другим ученым, особенно немцам в Академии наук. Ее аргументы частично проливают свет на то, как и почему сам Ломоносов стал символом национальных (или националистических) устремлений: «он символизировал необходимость возвеличить русскую культуру и сделать ее сопоставимой с культурами Западной Европы».

Глава 1

Честь и статус в «Автобиографии» Ломоносова

Репутация Ломоносова как натурфилософа резко возросла в годы, последовавшие сразу за его смертью. Этот факт наводит на мысль, что до этого посмертного возвеличивания, которое наиболее отчетливо проявилось в изобилии биографических панегириков, имя Ломоносова в России находилось под угрозой исчезновения. Однако точные механизмы, с помощью которых великая слава изначально была связана с его жизнью, неясны¹. Вполне заметные мифогенные черты в русской культуре XVIII века частично объясняют это развитие событий, но особенно интересна ревностная и умелая защита Ломоносовым своего собственного образа. Этот аспект во многом все еще определяет то, как воспринимается его биографии. При всем уважении к С. Гринблатту, это можно определить как самоформирование Ломоносова.

Гринблатт в своих исследованиях убедительно утверждает, что способность формировать себя и свою автономию к XVI веку постепенно ограничивалась способностью «семьи, государства

¹ Р. Йео высказывает аналогичное мнение о «точном происхождении и развитии элементов, составляющих ньютоновскую мифологию», в [Йео 1988: 258–259]. Несмотря на неопределенность относительно ее зарождения, его последующий акцент на повсеместном распространении этой мифологии по всей Англии XVIII века представлен убедительно.

и религиозных институтов» навязывать «дисциплину» подданным государства (сначала в основном элите). Следовательно, самоформирование едва ли означает способность индивида «управлять генерацией идентичностей» в целом; скорее, акт воздействия на личность влек за собой «подчинение внешней силе или власти, находящейся, по крайней мере частично, за пределами “я” — Бога, священной книги и таких институтов, как церковь, суд, колониальная или военная администрация» [Greenblatt 1980: 1, 9]². Переноса утверждения Гринблатта о том, что литературная жизнь в Англии эпохи Возрождения была отмечена «повышенным самосознанием в отношении формирования человеческой идентичности как управляемого, умело манипулируемого процесса», хотя и все более ограниченного сдерживающей властью различных общественных «структур» на Россию XVIII века³, мы видим, что пути, по которым шел Ломоносов, напоминают не что иное, как стратегии продвижения, принятые «глубоко мобильным», образованным аутсайдером. Это был человек, который, не имея высокого социального статуса и желая добиться успеха в иерархическом обществе, всегда искал общения с влиятельными фигурами, близкими к власти, и ожидал защиты с их стороны.

Конструирование жизни, «реальной» или вымышленной, представляет собой длительный «процесс преодоления затруднений», в ходе которого «я» никогда не бывает статичным; вместо этого оно приближается к разнообразию «я», представленных обществом субъекту в определенное время и в определенном месте [Aubin, Bigg 2007: 65]. В зависимости от предъявляемых к нему требований, Ломоносов был способен довольно искусно играть одновременно роль натурфилософа, химика, поэта, историка, академика, педагога, географа, ратора и художника, непрерывно перестраивая элементы собственной жизни, чтобы представить ее публично. Его биографы продолжали этот процесс

² Главы из книги опубликованы в журнале «Новое литературное обозрение» (НЛО), 1999, №35.

³ Там же, р. 1–2.

в течение двух столетий. Несмотря на это, как будет показано в данной работе, политические, социальные и культурные силы, преобладающие сначала в императорской России, а затем в Советском Союзе, будут все больше ограничивать, качественно, если не количественно, набор характеристик, которые позволили бы украсить письменную историю жизни Ломоносова.

М. Бьяджоли осторожно использовал идею (идеи) Гринблатта в своем исследовании формирования Галилеем «социально-профессиональной» персоны философа и математика, или, скорее, «философствующего астронома», явно новой и хрупкой комбинации, при дворе Медичи и в Ватикане [Biagioli 1993]⁴. Хотя Бьяджоли концентрируется на раскрытии использования Галилеем покровительства, он также демонстрирует, что миметические стратегии Галилея эффективно создавали его общественный имидж как для современников, так и для потомков.

Использование Ломоносовым патронажа обнажается в данном анализе окружавших его истоков героических образов, поскольку именно для того, чтобы прочнее закрепиться в Академии наук, он написал то, что сошло за автобиографию, и передал ее соответствующим властям⁵. Его самым ценным покровителем был Шувалов, в то время как Л. Эйлер и К. Вольф, благодаря как реальным, так и преувеличенным связям, были заветными па-

⁴ Влияние Бьяджоли на исследование Г. Панкальди в биографии [Pancaldi 2003] очевидно. Публичные усилия Х. Дэви по созданию и изменению своей идентичности, которые часто вызывали насмешки и обвинения в поверхностности со стороны его многочисленных критиков, обсуждаются в [Golinski 2011].

⁵ В [Sonntag 1974] исследуются эволюционирующие психологические «мотивации» швейцарско-немецкого натурфилософа XVIII века А. фон Галлера в стремлении формировать и продвигать в Геттингене и Берне свой научный статус, который варьировался от религиозного до зарождающегося авторского своекорыстного, что прекрасно дополняет более социологический подход Бьяджоли. Карьера Галлера была столь же энциклопедической и так же зависела от покровительства, как и у Ломоносова, хотя последний мало проявлял «двойственное отношение» к земным почестям, а также необходимым для их достижения «личным амбициям и соперничеству», которые Зоннтаг замечает в трудах Галлера.

тронажными ресурсами. Однако к попытке понять, что Ломоносов означал в русской культуре, имеют отношение именно характеристики, которые он выбирал при конструировании своей идентичности как русского ученого, наряду с изменениями, которым подверглась его идентичность после смерти.

Независимо от страны происхождения, натурфилософы XVII и XVIII веков раскрывали ничтожно мало информации о своей личной жизни, которую могли бы использовать будущие биографы⁶. Ломоносов оставил в своих трудах несколько деталей, которые впоследствии продуктивно использовали биографы, литературоведы, историки и ученые. Они создали образ необычайно прилежного эрудита, совершенно уникального с точки зрения времени и места. Особенно важные автобиографические воспоминания изложены в письмах Ломоносова к своему высокопоставленному меценату Шувалову (1727–1797), члену одной из самых влиятельных семей того времени, в течение долгого времени являвшемуся фаворитом императрицы Елизаветы⁷.

⁶ Вопрос о том, оставляют современные ученые более полные записи о своей частной жизни или нет, является спорным. Увлекательную подборку статей, исследующих жанры научной биографии и автобиографии, можно найти в сборнике [Shortland, Yeo 1996]. Исследования в целом высокого качества в том же духе включают такие работы, как [Hall 1999; Hankins 1979; Haynes 1994; Higgitt 2007; Nye 2006; Outram 1976; Söderqvist 2007]. Столкнувшись с обширным наследием Ньютона, Фрэнк Мануэль, стремившийся реконструировать личную жизнь ученого, казался, по понятным причинам, разочарованным, когда был вынужден признать, что «его переписка [...] раскрывает его только косвенно; он не вел дневников, не писал автобиографии, не оставлял интимных личных заметок о людях среди миллионов слов из рукописей, посвященных всем аспектам мироздания» [Manuel 1968: 16]. Одним из исключений из этой тенденции к автобиографическому замалчиванию является рассказ Р. Бойля о первых 16 годах его жизни — «An Account of Philaretus during his Minority». Текст, написанный, когда автору было чуть за 20, перепечатан в книге [Hunter 1994: 1–22].

⁷ Использование Ломоносовым патронажа для достижения своих многочисленных профессиональных целей еще не подвергалось тщательному изучению. Е. В. Анисимов, У. Дж. Глисон, К. А. Осповат и В. М. Живов, однако, начали соответствующую дискуссию в следующих работах: [Анисимов 1987; Gleason 1994: 24–33; Осповат 2007; Ospovat 2011; Живов 1997: 47–53]. Статьи Осповата убедительно доказывают, что решимость Ломоносова создать

Тандем Ломоносова и Шувалова, пожалуй, наиболее известен в исторических источниках благодаря их усилиям (в основном возглавляемым Шуваловым) в основании Московского университета в 1755 году [Шевырев 1855: 7–22]⁸. Шувалов также убедил или вынудил в силу зависимости Ломоносова от своего покровителя надолго оставить науку, чтобы заняться такой работой, как помощь Вольтеру в написании труда «*Histoire de l'empire de Russie sous Pierre le Grand*» (который вышел в двух томах в 1759 и 1763 годах)⁹, а также в написании двух собственных исторических трактатов: «Краткий российский летописец с родословием» и «Древняя российская история от начала российского народа до кончины великого князя Ярослава Первого или до 1054 года»¹⁰. Ломоносов посвятил Шувалову несколько работ, наиболее известной из которых является «Письмо о пользе стекла» 1752 года [Ломоносов 1950–1983, 8: 508–522, 1003–1008]¹¹.

признанную «социальную нишу» в элитных кругах была, по сути, его основным занятием. Обзоры карьеры Шувалова см. в [Анисимов 1985; Бартенев 1857; Шувалов 1962]. Племянник Шувалова, князь Ф. Н. Голицын, сочинил интересный панегирик своему покойному дяде после его смерти в 1797 году «Жизнь обер-камергера Ивана Ивановича Шувалова», который в конечном итоге был опубликован в журнале «Москвитянин» [Голицын 1853].

⁸ Работа Шевырева остается лучшим исследованием, посвященным основанию и первым годам существования университета. Ломоносов настойчиво давал Шувалову советы по поводу создания гимназии (гимназий) Московского университета, но к нему редко прислушивались. См. [Рычаловский 2006] и [Кулакова 2006].

⁹ См. [Wilberger 1976: 23–133] для изучения подробностей создания Вольтером «*Histoire de l'empire de Russie sous Pierre le Grand*».

¹⁰ Эти работы, которые были впервые опубликованы в 1760 и 1766 годах соответственно, наряду с другими, которые можно считать историческими, такими как критическая реакция Ломоносова на историю Вольтера, и обширный комментарий к их составу можно найти в [Ломоносов 1950–1983, 6: 19–373, 541–595].

¹¹ О ее широком распространении в XVIII веке см. [Сводный каталог 1962–1975, 2: 163–166, 176] и [Кунцевич 1918]. Письмо Ломоносова, написанное в стихах, было частью его кампании по привлечению постоянной помощи для Шувалова в контексте его усилий в строительстве завода по производству цветного стекла.

Ломоносов писал Шувалову чаще и подробнее, чем любому другому корреспонденту, — между 1750 и 1764 годами он отправил ему по меньшей мере 34 письма. Благодаря этим письмам, многие из которых были впервые опубликованы в шеститомном издании собрания сочинений Ломоносова, изданном Академией наук в 1784–1787 годах [Ломоносов 1784–1787, 1: 319–345; 10: 468–587, 807–877, *passim*; Мартынов 2010: *passim*]¹², Ломоносов наметил смутные очертания того, что станет постоянным в посвященной ему историографии. Это рассказы о мифическом юноше на крайнем севере России, о его путешествии извилистым путем в Москву для получения образования, а затем в Марбург, а также о долгих годах героического труда в Академии наук. Наиболее интересными в этих письмах являются те темы, которые стали биографическими тропами в сложной мифологии, связанной с Ломоносовым: его усеянный препятствиями путь к наукам и трудный, но исторически триумфальный характер его трудов. Борьба, в которой участвовал Ломоносов, присутствует во всех формах репрезентации его жизни.

В письмах Ломоносова к Шувалову есть два прямых содержательных рассказа о его детстве: один касается его путешествия из Холмогор в Москву, а другой относится ко времени, проведенному в Славяно-греко-латинской академии. Из-за их авторитетного статуса в более поздних исследованиях как собственных воспоминаний Ломоносова, эти ссылки будут приведены довольно подробно. Письма Ломоносова стилистически сложны, даже напыщенны, а личные подробности, которые он передавал, были, как и следовало ожидать, тесно связаны с вопросами покровительства и его собственной развивающейся самоидентификации. То, что современники знали содержание обоих писем, и что они были опубликованы в первом томе собрания сочинений Ломоносова 1784–1787 годов, делает их особенно ценными.

¹² Убедительное, хотя и датированное объяснение судьбы более широкой переписки Ломоносова и того, как она использовалась, см. в комментариях Л. Б. Модзалевского к Ломоносову [Ломоносов 1891–1948, 8: 5–40]. За исключением сообщения спорной атрибуции (см. [Кулябко 1966]), было найдено только одно письмо Шувалова к Ломоносову: [Мартынов 2010].

Письмо 1753 года к Шувалову, бóльшая часть которого была посвящена изложению некоторых его исследований в области электричества и экспериментов с громовой машиной, выполнен-ных совместно с академиком Г. В. Рихманом, Ломоносов начина-ет с того, что горячо благодарит Шувалова, который, в отличие от покровителей явно недостойных коллег-ученых, всегда полу-чал от него работу высочайшего качества [Ломоносов 1950–1983, 10: 480–482; Ломоносов 1784–1787, 1: 326–330]¹³. Для Ломоносова, по-видимому, в отличие от многих других в Академии наук, же-лание учиться, потребность в тяжелой работе и обязанность искать истину являются качествами, которые он проявлял с юности; он заявляет, что:

Я... имеючи отца, хотя по натуре доброго человека, однако в крайнем невежестве воспитанного, и злую и завистливую мачеху, которая всячески старалась произвести гнев в отце моем, представляя, что я всегда сижу по пустому за книгами. Для того многократно я принужден был читать и учиться, чему возможно было, в уединенных местах и терпеть стужу и голод, пока не ушел в Спасские школы [Законоспасский монастырь, где находилась Славяно-греко-латинская ака-демия] [Ломоносов 1950–1983, 10: 481–482].

Ломоносов настаивал на том, что, несмотря на эти лишения, ему нечего было стыдиться. Казалось бы, совсем наоборот. Учи-тая трудности его детства, его нынешнее положение было еще более поразительным.

Чудесное возвышение Ломоносова после скромного начала его жизненного пути на периферии России, его ранняя любовь к учебе, его влечение к книгам, названия которых более поздние биографы будут приводить с некоторой изобретательностью, и его путь к знаниям, или по крайней мере к тому, что считалось знаниями в России XVIII века, — все эти основные элементы

¹³ Письмо датировано 31 мая 1753 года. Всякий раз, когда Ломоносов обращал-ся к Шувалову или другим покровителям, выражение благодарности обяза-тельно было экстравагантным, а язык чрезвычайно вычурным, как требовал стиль того времени.

биографии впервые появляются в его письмах. Переход Ломоносова из Холмогор в Москву, а затем поступление в Славяно-греко-латинскую академию имеют ореол легенды как в российской, так и в советской историографии. Вездесущие противники и преодолеваемые препятствия постоянно присутствуют в его повествованиях¹⁴. Из этих тонких автобиографических описаний и были построены мифы.

Напряженные усилия позволили Ломоносову заручиться поддержкой императрицы для запланированного строительства стекольного завода под Санкт-Петербургом, которое, наконец, было оплачено двором только в начале 1753 года¹⁵, финансовое положение ученого осложнилось. Недостаточная поддержка, оказываемая его научным начинаниям государством, или, скорее, организаторами науки, оставалась тем, о чем он думал в первую очередь, даже после того, как получил финансирование. Он выразил свое беспокойство по поводу скудной официальной поддержки российской науки в письме к Шувалову в мае 1753 года [Ломоносов 1950–1983, 10: 478–480; Ломоносов 1784–1787, 1: 324–326]¹⁶, в котором он также ответил на пожелание или

¹⁴ Лотман и Успенский убедительно доказывают, что манихейская оппозиция присутствовала и фактически была необходима для формирования русских мифов. Положительные, почти божественные качества, вложенные в героя, не допускали никакой промежуточной почвы, которую можно было бы разделить с противоположным антигероем. См. [Лотман, Успенский 1996в].

¹⁵ Соответствующие документы, относящиеся к успешным действиям Ломоносова по основанию, а затем и поддержанию завода по производству «цветного стекла», наряду с совместными усилиями по созданию фабрики мозаики, см. в [Ломоносов 1950–1983, 9: 682–717]. Большие затраты, связанные с производством стекла и мозаики, в конечном итоге привели бы Ломоносова к финансовому краху. См. также [Макаров 1950].

¹⁶ Письмо Ломоносова датировано 10 мая 1753 года. Ломоносов, вероятно, с большой точностью изобразил нищету своих студенческих дней в Москве. Что касается того, что в 20 лет он был слишком стар, чтобы начать изучать латынь, следует отметить, что этот возраст, однако, вовсе не был необычным для начала таких занятий в Славяно-греко-латинской академии. Из-за постоянной нехватки учеников в Академии наблюдалось большое разнообразие в возрасте и способностях тех, кто был в нее принят. См. [Смирнов 1855].

шутку своего благодетеля, по-видимому, переданную в более ранней записке. Шувалов, очевидно, писал, что правительство удовлетворило просьбу Ломоносова о заводе и теперь он может заняться другой своей научной деятельностью с меньшей страстью, чем та, которую он демонстрировал ранее.

Ломоносов отмечает:

Высочайшая щедрота несравненных монархини нашей, которую я вашим отеческим предстательством имею, может ли меня отвести от любления и от усердия к наукам, когда меня крайняя бедность, которую я для наук терпел добровольно, отвратить не умела.

Обучаясь в Спасских школах, имел я со всех сторон отвращающие от наук пресильные стремления, которые в тогдашние лета почти непреодолимую силу имели. С одной стороны, отец, никогда детей, кроме меня, не имея, говорил, что я, будучи один, его оставил, оставил все довольство (по тамошнему состоянию), которое он для меня кровавым потом нажил и которое после его смерти чужие расхитят. С другой стороны, несказанная бедность: имея один алтын в день, нельзя было иметь на пропитание в день больше как за денежку хлеба и на денежку кваса, прочее на бумагу, на обувь и другие нужды. Таким образом жил я пять лет и наук не оставил. С одной стороны пишут, что, зная моего отца достатки, хорошие тамошние люди дочерей своих за меня выдадут, которые и в мою там бытность предлагали; с другой стороны, школьники, малые ребята, кричат и перстами указывают: смотри, де, какой болван, лет в двадцать пришел латыни учиться! [Ломоносов 1950–1983, 10: 479]

Ломоносов также был благодарен за возможность выехать за границу для продолжения учебы, хотя и считал, что поддержка науки и отдельного ученого в других странах была необыкновенно щедрой по сравнению с Россией.

Ссылаясь на сравнительно комфортную профессиональную жизнь Ньютона, Бойля, Слоуна и Вольфа, он предположил, что эти ученые добились столь впечатляющих успехов отчасти потому, что они были освобождены, в той или иной степени, от финансовых забот. Эти и другие выдающиеся и заслуженные деяте-

ли (Эйлер тоже мог бы быть в этом списке) были для Ломоносова образцом людей, чья приверженность науке поддерживалась обществом. Ломоносов и его биографы с XVIII века до наших дней также неоднократно проводили аналогии между его репутацией и репутацией Франклина. Ломоносов не только выставлял достижения этих ученых на обозрение своих покровителей, но и явно связывал себя с их достижениями. Для ученого-практика XVIII века, особенно в такой социально незащищенной среде, как у Ломоносова, известное признание выдающихся личностей в «Республике ученых», как можно назвать Просвещенную Европу¹⁷, обеспечивало основу для более надежного поддержания его статуса.

Хотя Ломоносов сильно преувеличивал уровень поддержки государством или режимом, доступный его архетипическим натурфилософам в Западной Европе, который, возможно, был не выше, чем в России, это преувеличение было полезным риторическим приемом. Он выступал за повышение статуса натурфилософа в России; также в его призыве подразумевается предположение, что мало кто мог надеяться сравниться с ним в мастерстве преодоления препятствий. Перечисление Ломоносовым невзгод, с которыми он столкнулся любознательным мальчиком, а затем студентом в разных местах, идеально вписывается в повествовательную схему рассказов путешественников. Трудности, которые он испытал в своих путешествиях, неизбежно преувеличиваются. Препятствия станут еще более серьезными в интерпретациях более поздних биографов.

В своей работе над автобиографиями французских ученых XVIII века Д. Аутрам исследует доминирующую метафору «путешествия и становления» «жизни как любопытного исследования многих путей» [Outram 1996]. Эта метафора «позволяет связать жизнь и работу на другом уровне, не путем обособления жизни, но рассматривая ее как паутину движения, любопытства и самоанализа, которые объединились в научном призвании».

¹⁷ Г. Маркер в своей работе [Marker 2009] энергично настаивает на включении России (и Ломоносова) в Республику ученых.

Рассматривая нетипичный пример Кювье, Аутрам утверждает, что для Кювье в его воспоминаниях о ранних годах «внутреннее движение от детства к юности являлось также переходом с одного языка на другой и заключалось в реальном путешествии с места его рождения, из провинциального Монбельера, до школы в космополитичном Штутгарте» [Outram 1996: 89]¹⁸. Непрерывный конфликт между Кювье и миром, в который он попал (он описал свой переезд как наполненный всевозможными препятствиями), красной нитью проходит через его автобиографию. Это путешествие к знаниям было особенно трудным для будущих ученых, которым нужно было радикально перестроить свою предыдущую жизнь и связать ее с последующими представлениями о себе. Восхождение Ломоносова от положения крестьянского сына к посту в Академии наук было невероятно вызывающим, и потребность в том, чтобы он понял и объяснил этот переход, была соизмерима с дерзостью его характера¹⁹.

Паломничество или путешествие являлось сюжетной канвой в различных литературных произведениях на протяжении многих веков. В Средние века линейное движение путешественника или паломника к «священному» месту назначения противопоставлялось подозрительным с моральной точки зрения соблазнам светского любопытства, которое постоянно угрожало отвлечь паломника от его путешествия. В своем рассмотрении «Филобиблона» Ричарда из Бери, «Кентерберийских рассказов» Чосера и «Приклю-

¹⁸ См. также более масштабную работу [Outram 1984]. Седерквист, хотя и сосредоточен в основном на «научных биографиях» XX века, предлагает исследование диалектического противоречия между «производством знаний» и поиском ученым собственного представления о самом себе, в [Söderqvist 1996].

¹⁹ «Сюжет мифа как текста весьма часто основан на пересечении героем границы “тесного” замкнутого пространства и переходе его во внешний безграничный мир. Однако в основе механизма порождения подобных сюжетов... без знания нечеловеческой системы номинации и выживания героя, чудесным образом получившего такое знание, само существование “чужого” разомкнутого мира в мифе подразумевает наличие “своего”, наделенного чертами считаемости и заполненного объектами — носителями собственных имен» [Лотман, Успенский 1996г]. Сходство между самоформированием Ломоносова в его письмах к Шувалову и мифологическими текстами очевидно.

чений сэра Джона Мандевиля» К. К. Захер указывает, что к концу Средневековья паломничество, однако, «стало не более чем маской, скрывающей естественное стремление человека исследовать другие земли — само путешествие больше, чем священная цель, стало целью путешествий людей» [Zacher 1976: 5].

Любопытство, стремление к знаниям ради них самих слились с идеей путешествия уже во время Возрождения. «Паломники пережили Средневековье, — подчеркивает Захер, — а любопытство оставалось пороком и после эпохи Возрождения, но путники в другой одежде теперь заполнили дороги, и если их дела казались любопытными, то сами они были любопытны в основном в современном смысле этого слова» [Zacher 1976: 16]. Такие более поздние работы, как «Путешествие Пилигрима» Д. Беньяна, убедительно возражали против того, чтобы паломник сбивался со своего пути, но одновременно с этим свидетельствовали об остаточной силе конфликта между любопытством и паломничеством [Outram 1996: 88]²⁰.

Жанр повествований о паломничестве и путешествиях начал появляться в древнерусской литературе в XII веке, совпадая с возникновением литературы в средневековой Руси, и назывался *хождением* [Vroon 1978: 1–17]²¹. Хотя западная и российская модели в Средние века во многих отношениях глубоко отличались друг от друга, напряженность, существовавшая между светскими и духовными мотивами, становилась все более общей. К XVIII ве-

²⁰ Влияние Д. Беньяна на русскую литературу XVIII века тщательно не изучалось, и еще предстоит доказать, что Ломоносов когда-либо соприкасался с «Путешествием Пилигрима», даже, например, во время его студенческих лет в Марбурге, когда он имел постоянный доступ к иностранной литературе. Несмотря на акцент на XIX веке, книга Д. Д. Благоя «Джон Беньян, Пушкин и Лев Толстой» действительно затрагивает XVIII век. См. [Благой 1972: 334–340]. См. также [Boss 1991: 3, 59]. «Путешествие Пилигрима» было переведено как с французского, так и с немецкого языков и трижды издавалось в России в течение 1780-х годов. Публицист и издатель Н. И. Новиков, автор биографии Ломоносова, выпустил два из этих изданий. См. [Сводный каталог 1962–1975, 1: 91] и [Семенников 1921: 84–87].

²¹ Византийские корни хождения тщательно показаны в диссертации Ленхофф (см., в частности, [Vroon 1978: 22–49]).

ку расхождения между русскими и западноевропейскими формами, наряду с внутренней напряженностью внутри жанра, быстро исчезали²². Наглядным примером здесь служит автобиография Ломоносова, изложенная им в письмах к Шувалову. Несмотря на явное сходство между его воспоминаниями и «момен-тами обращения» паломника в духовных автобиографиях²³, они в значительной степени являются отражением продолжающегося влияния более ранних моделей религиозных путешествий в литературе. Объекты, вокруг которых Ломоносов выстраивает свои описания, обнаруживают в основном светскую чувствительность.

В письме от 4 января 1753 года к Шувалову, написанном в то время, когда Ломоносов занимался историческими исследованиями в ущерб своим научным трудам, он так пишет о своих многочисленных обязательствах:

Что ж до других моих в физике и в химии упражнений касается, чтобы их вовсе покинуть, то нет в том ни нужды, ниже возможности. Всяк человек требует себе от трудов упокоения: для того, оставив настоящее дело, ищет себе

²² Более широкий анализ этой тенденции в русском травелоге см. в [Schönle 2000: 1–6].

²³ Аутрам описывает, как «Моменты прозрения, погружения в Природу в научной автобиографии играют ту же роль, что и моменты обращения в духовной автобиографии: они разрешают антагонизм между автором и миром» [Outram 1996: 93]. О концепциях паломничества, священных пространств и изменчивой, перевернутой природе духовных и мирских ценностей, связанных с ними, в России XVIII века см. [Лотман, Успенский 1996а: 442–445] и [Лотман, Успенский 1996в: 345]. Лотман и Успенский прослеживают модель путешествий или «перемещений в пространстве» к «знаниям» в русском представлении до Великого посольства Петра Великого на Запад в 1697–1698 годах. См. также [Сивков 1914: 5–9]. Паломничества на Запад предпринимали довольно многие русские люди XVIII века, и среди них, конечно же, Ломоносов. Однако его более широкое путешествие по России, как буквальное, так и аллегорическое, от Холмогор до Академии наук, также явно было именно таким «перемещением в пространстве» и, возможно, гораздо более исключительным. В ценной работе [Андреев 2005] рассматривается опыт обучения русских студентов в наиболее доступных местах в XVIII и XIX веках — в немецкоязычных странах.

с гостями или с домашними препровождения времени картами, шашками и другими забавами, а иные и табачным дымом, от чего я уже давно отказался, затем что не нашел в них ничего, кроме скуки. Итак, уповаю, что и мне на успокоение от трудов, которые я на собрание и на сочинение «Российской истории» и на украшение российского слова полагаю, позволено будет в день несколько часов времени, чтобы их вместо бильяру употребить на физические и химические опыты, которые мне не токмо отменою материи вместо забавы, но и движением вместо лекарства служить имеют и сверх сего пользу и честь отечеству, конечно, принести могут едва меньше ли первой [Ломоносов 1950–1983, 10: 475; Ломоносов 1784–1787, 1: 322–324].

Этот отрывок стал едва ли не самым часто приводимым из всех сочинений Ломоносова. Действительно, было бы трудно найти рассказ о Ломоносове за последние два столетия, который бы не цитировал его или не ссылался на него. Очевидной темой письма является то, как Ломоносов разрывался между работой в области химии и физики и множеством других обязанностей, как возложенных на него, так и тех, к которым он стремился сам. Многие более поздние исследования деятельности Ломоносова объясняют незавершенность его научных трудов не столько недисциплинированностью ученого по части рабочих привычек или пробелами в теоретических знаниях, сколько обременительными требованиями покровительства, которые мешали ему завершить свои исследования в области химии и физики²⁴.

²⁴ Эту тему повторяют, с разной степенью пронизательности, новейшие биографии Ломоносова. См. [Лебедев 1990] (книга Лебедева вышла огромным тиражом в 150 тысяч экземпляров), [Павлова, Федоров 1986; Баландин 2011; Hoffmann 2011; Минаева 2011; Шубинский 2006; Serman 1988]. Однако большинство из этих авторов также разумно отмечают ощутимые выгоды, которые покровительство принесло Ломоносову. Г. Лестер [Lomonosov 1970: 10] частично возлагает вину за перипатетические взгляды Ломоносова на его знаменитую склонность увязать в ожесточенных спорах с другими академиками. См. также [Vucinich 1963: 112–113]. Конфликт, конечно, является неизбежным следствием работы под патронажем (а также институционализированной академической жизни).

Из этого, по-видимому, следует, что бесчисленные открытия так и не были сделаны или были отложены для последующих поколений, потому что Ломоносов был вынужден заниматься ненужной работой. Такие выводы, конечно, слишком умозрительны, чтобы подвергаться серьезному анализу. Что не вызывает сомнений, так это то, что Ломоносов купил поддержку Шувалова в своих исследованиях в области химической и физической науки, выполняя любую работу в любой области, которую требовал от него Шувалов. То, что Шувалов соизволил субсидировать и поощрять его научную деятельность, указывает на то, что ассоциация с наукой некоторым образом украшала ее спонсоров. Меценатство и формирование Ломоносовым своего особого научного «я» были неразрывно связаны друг с другом.

В письме Ломоносова в глаза бросается образ самоотверженной преданности наукам: это было призвание, которое служило славной передышкой от трудов, поглощающих его повседневную жизнь. Его биографы XVIII века значительно усилили это представление о незаинтересованности ученого в любой деятельности, которая могла бы отвлечь его от интеллектуальных занятий. В конце концов, общепринятым в исследованиях Ломоносова как ученого станет то, что его основной работой — его настоящим «первым занятием» — были физика и химия, а не сочинения по истории, написание од и ораторской прозы, лингвистические исследования или любые другие дела, конкурирующие в борьбе за его внимание. Хотя в эпоху Ломоносова²⁵ активность ученого в самых разных областях не считалась чем-то необычным, в XIX веке она стала выглядеть неприемлемой, и краткие комментарии Ломоносова относительно разделения его рабочего време-

²⁵ А. Лавуазье олицетворял ученого-энциклопедиста XVIII века, чья карьера, казалось бы, разделенная на множество разрозненных профессиональных ролей, часто сводила на нет последующие попытки организовать ее в единое, хотя и искусственное, целое. Работа [Poirier 1996] представляет собой явную и довольно успешную попытку рассмотреть эту проблему. М. Беретта в работе [Beretta 2001] подчеркивает препятствия, визуальные и текстовые, которые мешают воспринимать Лавуазье как-либо кроме ученого. Для расширения многогранной карьеры Д. Бэнкса (некогда президента Королевского общества) см. [Gascoigne 1996].

ни послужат обоснованием для более поздних биографов для разграничения его деятельности в основном на науку и литературу. Однако в XVIII веке упоминание им своих многочисленных ролей следует рассматривать главным образом как дополнение к своему идеализированному автопортрету.

Мольбы Ломоносова к Шувалову о большем уважении к ученому были также попытками придать форму новой и нечетко определенной социальной категории ученых-практиков в России XVIII века²⁶. Заявление Ломоносова о том, что его работа принесет честь и пользу его «отечеству», было как раз тем, что могло иметь значительную привлекательность для более поздних националистически настроенных историков российской науки. Однако решительное подчеркивание собственной ценности для России лучше интерпретировать как попытку утвердить свое положение в Академии наук. Он был первым российским по происхождению ученым, ставшим действительным членом Академии (первоначально благодаря собственным усилиям), и это новое положение полностью слилось с его стремлением повысить свою значимость. Это было решающим элементом в приписывании чести его призванию²⁷ химика, физика, литератора или историка. Те, кто стремился к любой из этих новых социально-профессиональных идентичностей, не были жрецами

²⁶ Удовлетворительных работ, посвященных месту ученого в дореволюционном российском обществе, нет. Положение химика, однако, частично освещено в работе [Brooks 1989]. Влиятельное просопографическое исследование [Hufbauer 1982] придает более четкую форму как методологии Брукса, так и его выводам. Поучительное эссе, подчеркивающее трудности в становлении и поддержании чисто научной профессии в России XVIII века, представляет собой работа [Horne 1973]. См. также [Новик 1999] и [Carver 1980: 389–398]. Исследования социальных структур в имперской России, которые с разной степенью успеха доказывают довольно аморфный, а в действительности «полиморфный» состав общества, включают работы [Freeze 1986; Wirtschafter 1997: 3–99]. Конечно, если бы социальные границы были более прозрачными, Ломоносову было бы легче изменить свой статус.

²⁷ С. Шейпин и О. Зоннтаг рассматривают, соответственно, попытки Бойля и фон Галлера определить не только свои собственные честь и статус, но и то, что могло бы быть пожаловано в раннее Новое время натурфилософу в Англии и Германии. См. [Shapin 1994: 126–192] и [Sonntag 1974].

при храме наук как таковыми, а, скорее, стремились к систематизированному признанию совершенно иного рода.

Однако то, что статус Ломоносова и ученого в целом в России все еще был довольно хрупким, видно из двух посланий, которые он направил Шувалову. В 1754 году он обратился к своему покровителю с просьбой помочь ему добиться либо перевода из Академии наук, либо повышения в должности, чтобы самому руководить ею. Если бы ему было предоставлено последнее, что было, очевидно, предпочтительнее, он мог бы положить конец «коварным предприятиям», которые явно наносили ущерб его деятельности [Ломоносов 1950–1983, 10: 518–519²⁸; Ломоносов 1784–1787, 1: 338–339]. Однако он был убежден, что если уйдет, то потомки будут считать его и Академию жертвами, и предсказывал, что все скажут:

камень, его же небрегоша зиждуции, сей бысть во главу угла, от господа бысть сей; или бы в мое отбытие из Академии ясно оказалось, чего она лишилась, потеряв такого человека, который чрез толь много лет украшал оную и всегда с гонителями наук боролся, несмотря на свои опасности [Ломоносов 1950–1983, 10: 519]²⁹.

²⁸ Письмо датировано 30 декабря 1754 года.

²⁹ Вскоре, после восшествия Екатерины II на престол в 1762 году, Шувалову предстояло покинуть Россию — он больше не мог помогать Ломоносову в его начинаниях. Тогда Ломоносов, возможно, желая испытать свою поддержку при дворе Екатерины, подал прошение об увольнении из Академии наук. В своем заявлении он напоминает императрице о своих годах службы Академии и о большой известности, которую он принес ей в широких научных кругах [Ломоносов 1950–1983, 10: 351]. Просьба Ломоносова после долгих споров была отклонена. В 1764 году, с большой помпой, императрица Екатерина II все же посетила ученого в его лаборатории на Мойке. Там она осмотрела его мозаичные произведения и физические приборы, которые он изобрел, а также наблюдала за несколькими экспериментами в области физики и химии, о чем писали «Санкт-Петербургские ведомости», № 48 (1764). Удивительно, что, несмотря на общепризнанное пренебрежение, высказываемое Екатериной II к Ломоносову, она почтила его своим визитом. Как поинтересовался И. Клейн в частном общении, не был ли визит Екатерины II к Ломоносову ранним проявлением «культа Ломоносова». Клейн ссылается на масштабы советского культа Ломоносова в своей книге [Клейн 2010].

Насколько можно судить, мольба Ломоносова была проигнорирована. Маловероятно, что он желал того, чтобы его просьба была воспринята всерьез; его стратегия заключалась в том, чтобы настойчиво привлекать внимание к своему бедственному положению и, по возможности, надежно связывать свою судьбу с предполагаемой судьбой Академии наук и, более того, с судьбой наук в России в целом³⁰.

Другое письмо было отправлено несколько лет спустя, когда, разгневанный предполагаемым пренебрежением или «публичной обидой» со стороны барона А. С. Строганова (впоследствии президента Академии художеств), Ломоносов жалуется Шувалову на

персон высокородных, которые мне низкою моею порождою попрекают, видя меня, как бельмо на глазе, хотя я своей чести достиг не слепым счастьем, но данным мне от бога талантом, трудолюбием и терпением крайней бедности [Ломоносов 1950–1983, 10: 539]³¹.

Эти два письма являются замечательными иллюстрациями того, как Ломоносов претендовал на соответствующее служебное и социальное положение. Он считал, что его достижения настолько велики, что люди с меньшими достижениями, даже такие дворяне, как Строганов, должны относиться к нему с уважением. Для обеспечения этого требовалось, чтобы должность профессора химии в Академии наук, которую занимал этот скромный сын рыбака, была преобразована в должность, пользующуюся особым почтением. Стиль этих писем неформальный; они пере-

³⁰ Ломоносов разработал несколько планов реорганизации Академии наук в 1750-х и начале 1760-х годов. Некоторые из этих предложений предполагали его у руля Академии в должности вице-президента. Эта должность появилась только в 1800 году, да и то лишь временно; ее первым обладателем стал человек, некогда бывший врагом Ломоносова — С. Я. Румовский. Ломоносов также добивался включения профессоров Академии в Табель о рангах. Более формальные планы «реформы» Ломоносова см. в [Ломоносов 1950–1983, 10: 11–167]. Непрекращающиеся жалобы на плохое управление Академией и предлагаемые решения также разбросаны по большей части его корреспонденции.

³¹ Ломоносов написал это письмо 17 апреля 1760 года.

кликаются с воспоминаниями о путешествиях и открытиях. Препятствия и враги, как и воспоминания Ломоносова о его юных годах, находятся в них на видном месте. В письмах молчаливо подразумевается вера их автора в свое превосходство над соперниками.

Письма к Шувалову не содержат детальной информации о научных трудах Ломоносова; скорее, это редкие автобиографические источники, описывающие его восхождение к научным вершинам. Еще одно письмо интересно тем, что в нем сочетаются некоторые подробности, связанные с реальной научной деятельностью Ломоносова, с эпизодом из его биографии, который неизмеримо усилил легенду, выросшую вокруг него.

Рихман, физик, член Санкт-Петербургской академии наук³², сотрудник Ломоносова в экспериментах по электричеству с применением громовой машины, был убит 26 июля 1753 года ударом молнии. Это событие привлекло огромное внимание во всей Западной Европе и Америке³³. Ломоносов передал Шувалову

³² Цверва [Цверва 1977: 125–148] и Елисеев [Елисеев 1975: 94–109] описывают сотрудничество Ломоносова с Рихманом в области электричества за несколько месяцев до смерти Рихмана и предлагают подробные реконструкции эксперимента, который убил его. Научные статьи Рихмана (некоторые из них ранее не публиковались) вместе с избранной корреспонденцией см. в [Рихман 1956].

³³ В качестве примера реакции на смерть Рихмана см. брошюру Ш. Рабико [Rabiqueau 1753] и [Watson 1753]. Связи Ломоносова с Рихманом кратко отмечаются в обоих отчетах. Смерть Рихмана привлекла гораздо более пристальное внимание за пределами России, чем внутри страны. Франклин опубликовал отчет о смерти Рихмана в «The Pennsylvania Gazette» [Franklin 1968: 219–221]. Он также заключил из смерти Рихмана, что «Новая Доктрина Молнии, однако, подтверждается этим несчастным случаем; и многие жизни могут быть спасены той Практикой, которой она учит. М. Рихман, собираясь проводить Эксперименты касательно Природы Молнии, держал свои Стержень и Провода с Электричеством *per se*, что прервало их Связь с Землей; и он сам, стоящий слишком близко к тому месту, где заканчивался Провод, помог своим Телом завершить эту Связь. Очевидно, что Провод проводил Молнию к нему по всей Длине Галереи: И если бы его Устройство предназначалось для безопасности его Дома, а Провод (как в этом Случае и должно быть) продолжался бы без Перерыва от Крыши до Земли, то кажется более чем вероятным, что Молния проследовала бы по Проводу, и что ни Дом, ни кто-либо из Семьи не пострадали бы от этого несчастного Удара».

трогательное описание смерти Рихмана, составленное в день несчастного случая [Ломоносов 1950–1983, 10: 484–485]³⁴. Его просьба о том, чтобы «сей случай не был протолкован противу приращения наук», вместе с его заявленной решимостью сохранить память о Рихмане, была специально предназначена для агиографии.

Обстоятельства смерти Рихмана не только привели к чествованию его достижений, но и обратили повышенное внимание на научные труды его коллег в Академии наук, в частности Ломоносова. Этот последний фактор был жизненно важен для обеспечения дальнейшей поддержки как отдельных ученых, так и «новых» институтов и дисциплин, с которыми они все больше ассоциировались. Ломоносову удалось соединить свое имя и очевидные достижения в изучении электричества с именем Рихмана, признанного ученого-мученика, пользующегося большей известностью.

Работа Ломоносова по электричеству была научным исследованием, на которое чаще всего ссылались его ранние биографы. Возможно, она была менее теоретически весомой, чем большинство других его работ, но имела определенный потенциал для практического применения. Я бы также сказал, что эксперименты с электричеством обеспечили важнейшую площадку для театрализованного распространения знаний (натурфилософских или натуралистических) от небольшой группы ученых ко все более широкой аудитории посредством демонстраций опытов³⁵. Эта аудитория была намного шире, чем та, которую можно было собрать с помощью научных публикаций или публичных лекций (и то, и другое Академия наук в Санкт-Петербурге проводила, к полному безразличию публики). Эта «демонстрационная культура» останется доминирующим средством распространения научных знаний в России на протяжении всего XVIII века. Воз-

³⁴ Письмо Ломоносова о Рихмане было первоначально опубликовано в [Ломоносов 1784–1787, 1: 330–333].

³⁵ О слиянии театральности и натурфилософии в Санкт-Петербургской академии наук см. [Werrett 2010a: 103–131].

можно, даже более важным для академиков Академии наук, чем распространение знаний при помощи таких эпизодов «публичной науки»³⁶, было то, что соответствующее сочетание публичного зрелища (а по сути, умения показать товар лицом), широкой огласки, восхищенных покровителей и «науки», плело все более тесную сеть механизмов покровительства, от которого зависел статус ученых, а также наличие у них средств к существованию³⁷.

Какими бы опасными эксперименты ни являлись, они идеально вписывались в героический образ, ожидаемый от ранних натурфилософов. То, что Рихман погиб во время экспериментов с электричеством (сама смерть во время эксперимента уже ценна для подтверждения явно инновационной методологии «новых наук»), было особенно ценным, поскольку изучение электричества стало символом «новой науки»³⁸ того времени. В автобиографии Ломоносова и в рассказах современных ему биографов детали его научной работы были не так важны, как его путь к науке и преданность ей.

То, что XVIII век был веком подражания, является трюизмом, и изложение Ломоносовым своего прошлого соответствует сложившемуся образцу. Как утверждает Лотман в своих работах об удивительной силе ролей в русской культуре, «человек XVIII века выбирал себе определенный тип поведения, упрощавший и возводивший к некому идеалу его реальное, бытовое существование» [Лотман 2002: 243]³⁹. Лотман концентрируется на типологиях русской литературы XVIII века, представляя читателю ка-

³⁶ О том, как натурфилософы раннего Нового времени пытались воспитать восприимчивую публику, см. интересные введения в [Stewart 1993; Livingstone 2003; Golinski 2003]. Стюарт и Голински включили главы о демонстрации науки на различных сценах в книгу [Bensaude-Vincent, Vincent 2008].

³⁷ Возможно, наиболее влиятельной работой по «социальному конструированию» науки является [Shapin, Schaffer 1985].

³⁸ См. [Heilbron 1979], работу, являющуюся ортодоксальным исследованием этой темы. Менее серьезными, но более провокационными являются [Fara 2002a] и [Delbourgo 2006].

³⁹ См. также [Лотман, Успенский 1996в: 338–380], введение М. К. Левитта к [Levitt 1995: XIII–XVI].

талог театрализованных моделей, где Ломоносов играет центральную роль. Он был убежден, что многочисленные преобразования, которые претерпела Россия XVIII века, начатые Петром Великим⁴⁰ или продолженные позже от его имени, часто воспринимались как катаклизмы, которые полностью уничтожали традиционные модели жизни и открывали радикально новую эпоху. Это делало россиян особенно склонными к переделке себя на основе ограниченного числа культурных маркеров.

Внедрение науки в Россию XVIII века, начатое Петром Великим, бесспорно, привело к революционным изменениям в жизни многих россиян. Образы ученых, самым ярким из которых являлся Ломоносов, находились среди героических мифов, которые помогали людям преодолевать препятствия, воздвигаемые новой эпохой. Подробности работы ученых были спроецированы на их жизнеописания начиная с середины XIX века, когда зарождающееся научное сообщество и заинтересованная общественность хотели знать, какую роль играла наука в жизни этих репрезентативных субъектов.

До этого времени главное значение имела биография ученого, состоящая из определенных героических черт. Диссертации Ломоносова, особенно по физике, механике и химии, были оце-

⁴⁰ Литература о царствовании Петра огромна; однако краткое введение в несколько петровских «революций» предлагается в книге [Cracraft 1991]. Книга Л. Хьюз «Russia in the Age of Peter the Great» [Hughes 1998] представляет собой тщательное исследование природы и глубины петровских реформ. Также систематически исследуются противоречия в петровской историографии, присутствующие, хотя и неявно, при определении конкретных изменений либо как реформ, либо как революций, либо как ни то, ни другое, (см., в частности, заключительную главу «The Legacy», с. 462–470). Для исследования «культурной революции», проведенной Петром Великим, см. трехтомное исследование Кракффта: [Cracraft 1988; Cracraft 1997; Cracraft 2004]. См. также [Wortman 1995; Живов 1996] и главу «Культурные реформы в системе преобразований Петра I» в [Живов 2002: 381–435]. Книга [Анисимов 1999], по-видимому, подводит итог многим усилиям этого историка подчеркнуть крайне принудительный характер правления Петра. Это само по себе, по его оценке, было важной трансформацией, которая обеспечила институциональную и, возможно, даже интеллектуальную основу для государственных репрессий в российском, а затем и в советском обществе.

нены современниками, многие из которых были довольно известными фигурами в научных кругах того времени⁴¹. Эти оценки, однако, часто бывали либо резко критическими по отношению к гипотезам Ломоносова (и, следовательно, не представляли ценности для Ломоносова в качестве инструментов покровительства), либо содержали явно расплывчатые, хотя и лестные комментарии, и могли быть творчески адаптированы Ломоносовым.

Оценки Ломоносова Вольфом (1679–1754) и Эйлером (1707–1783) были особенно ценными «кредитными инструментами»⁴² для стратегии Ломоносова по продвижению себя в качестве натурфилософа или ученого и оказали решающее влияние на последующую науку. Вольф и Эйлер поддерживали давние и плодотворные связи с Россией и Санкт-Петербургской академией наук. Вольф служил своего рода преемником Лейбница, консультируя Петра Великого при планировании создания Академии, а также помогал набирать первоклассных профессоров [Копелевич 1977: 65–79]⁴³. Несмотря на приглашения присоединиться

⁴¹ Стремительный взлет Ломоносова к «научному величию» обычно изображается не только как символ, но и как подтверждение петровской революции в научных вопросах. Об интересе Петра Великого к наукам и их поощрении см. [Boss 1972: 9–96; Collis 2007; Копелевич 1977; Летопись РАН 2000: 15–30; Островитянов 1958–1964, 1: 30–56; Пекарский 1862; Пекарский 1870–1873; Schulze 1985; Шарф 2003; Тункина 2000; Vucinich 1963; Werrett 2000]. Работы Пекарского остаются наиболее полным обзором российской науки при Петре Великом. [Gordin 2000] представляет собой попытку разгадать, какими могли быть более широкие общественные намерения Петра при планировании создания Академии наук. Гордин, отдавая дань уважения Н. Элиасу, считает Академию центральным элементом «цивилизующего процесса», начатого императором.

⁴² О «кредите», покровительстве и продвижении по карьерной лестнице см. работу [Biagioli 2006], продолжение его более ранней работы [Biagioli 1993].

⁴³ Копелевич оспаривает важность помощи Вольфа в создании Академии. Однако она не приводит достаточно доказательств, чтобы существенно изменить восприятие читателем роли Вольфа. Исключительный вклад Л. Л. Блуметроста в основание Академии наук также упоминается в отчете Копелевич. Для исправления такого положения см. [Winter 1964]. Л. Рихтер в работе [Richter 1946] отмечает огромную заслугу Лейбница в деле разработки проекта Академии. О ранних контактах Лейбница с Петром Великим см., в частности, [Richter 1946: 42–52]. В то время как работа Рихтера долгое

к зарождающейся Академии, Вольф так никогда и не приехал в Россию. Эйлер, напротив, провел много плодотворных лет в Академии (1727–1741, 1766–1783) и после четверти века работы в Берлинской академии вернулся в Санкт-Петербург с большими почестями по приглашению Екатерины II⁴⁴. Само общение Ломоносова с такими знаменитыми натурфилософами значительно укрепило его положение — как тогда, так и впоследствии.

Со временем Вольфа стало гораздо труднее вписывать в представления о научном гении Ломоносова, чем Эйлера⁴⁵. Авторитет

время была самой подробной работой о русских связях Лейбница, она теперь может быть дополнена, хотя и не заменена, работой [Копанева, Коренева 1998]. Глава Д. Мейерса о Лейбнице и Петербургской академии наук одновременно лаконична и авторитетна. О переписке Лейбница с Петром Великим (и, что более важно, с различными советниками и придворными российского императора или другими европейцами, интересующимися Россией) см. [Guerrier 1873].

⁴⁴ Наследие Эйлера удостоено пристального внимания в многочисленных сборниках, вызывающих восхищение: [Деборин 1935; Лаврентьев и др. 1958; Боголюбов и др. 1988; Bradley, Sandifer 2007; Васильев 2008]. См. также [Boss 1972; Calinger 1971; Calinger 1996; Копелевич 2003; Мументалер 2009; Winter 1958]. Краткая биография Эйлера П. П. Пекарского, часть его истории ранней Академии наук, отражает, как и его работа о Ломоносове, уверенное владение первоисточниками. См. [Пекарский 1870–1873, 1: 247–308]. Не существует ни одной биографии Эйлера, которая смогла бы передать поразительный диапазон его деятельности. [Fellmann 1995], вероятно, является лучшей из множества работ. Однако краткость (в ней 125 страниц) ограничивает ее возможности.

⁴⁵ Среди лучших работ, посвященных учебе Ломоносова под руководством Вольфа, см. [Сухоминов 1861] и особенно [Морозов 1962: 221–304]. Никто из них, однако, не рассматривает достаточно хорошо неприятный вопрос о степени долгосрочного влияния Вольфа на научную работу Ломоносова. Работа [Жучков 2001] пытается реабилитировать репутацию Вольфа; к сожалению, это омрачено поверхностным (и историографически недостаточным) прочтением влияния Вольфа на Ломоносова. [Auburger 1985: 23–28] предлагает краткий обзор связей Ломоносова с «немецкими» персонажами и предметами, хотя влияние Вольфа на натурфилософию Ломоносова скорее утверждается, чем подтверждается. Усилия Вольфа в попытке административного надзора за Ломоносовым и его двумя сокурсниками (Г. У. Райзер и Д. И. Виноградов), которые сопровождали того от Санкт-Петербурга, а также взгляды Вольфа на способности Ломоносова кратко изложены в работе [Scheibert 1977]. Для ранних отношений Вольфа с Петербургской академией особенно значимой работой является [Mühlpfordt: 1952].

Вольфа в мысли XVIII века, прежде всего как ведущего распространителя натурфилософии Лейбница, был огромен, хотя к середине того столетия несколько снизился (в Западной Европе, но не в России). Мистические и запутанные коннотации, которыми было отмечено его имя, и нападки Вольтера были особенно разрушительными для его репутации (самые язвительные насмешки над вольфианцами очевидны в «Кандиде»)⁴⁶, что позднее сделало связь с ним сомнительным активом. Решительная оппозиция Вольфа Ньютону, работы которого он просто не смог понять, значительно снизила его авторитет в глазах последующих поколений российских ученых и историков науки. Хотя этот аспект научного облика Ломоносова вызывает много споров, кажется очевидным, что Ломоносов никогда не поднимался выше того низкого уровня математики, которого он достиг в 1736–1739 годы, когда был студентом Вольфа в Марбурге. Ю. Дуйзинг, химик из Марбурга, также некоторое время был учителем Ломоносова по математике. Без более глубокого знания математики, полученного, по-видимому, Ломоносовым в Марбурге, понимание наиболее захватывающих научных достижений того времени, не говоря уже о сотрудничестве с их авторами, было невозможно.

⁴⁶ Панглосс, морализирующий преподаватель «метафизико-теолого-космологии» в «Кандиде», который учил, что «нет следствия без причины», представляет собой язвительную карикатуру на Вольфа. См. [Voltaire 1981]. Возмущение Вольтера «научными» спекуляциями Вольфа часто выражалось в его переписке. В письме к Мопертюи от 10 августа 1741 года, напечатанном в [Voltaire 1970: 95], Вольтер, как известно, высмеял теорию Вольфа о размерах обитателей Юпитера: «Il y avait longtemps que j'avais vu avec une stupeur de monade, quelle taille ce bavard germanique assigne aux habitants de Jupiter. Il en jugeait par la grandeur de nos yeux, et par l'éloignement de la terre au soleil. Mais il n'a pas l'honneur d'être l'inventeur de cette sottise, car un Volfius met en trente volumes les inventions des autres, et n'a pas le temps d'inventer». См. также [Barber 1955: 178–197, 231–235] и [Boss 1972: 169]. О незначительном влиянии Вольфа как толкователя Лейбница на натурфилософские дискуссии во Франции см. [Shank 2008: 427–429, 437–447]. Стремление Вольтера дискредитировать Лейбница, которого он изобразил как заблудшего врага идеальной вселенной Ньютона, объясняет его язвительный и неблагоприятный отказ принять Вольфа, самозваного преемника Лейбница.

После возвращения в Россию Ломоносов сохранил большое уважение к Вольфу и в 1746 году перевел и опубликовал первую часть «*Institutiones philosophiae Wolfianae*» Л. Ф. Туммига [Ломоносов 1950–1983, 1: 421–530, 577–592]. «Вольфианская экспериментальная физика» в переводе Ломоносова, переизданная им с дополнением в 1760 году, стала одним из его наиболее часто публикуемых произведений⁴⁷. Однако к нему долгое время относились не столько как к примеру продолжающегося влияния Вольфа на Ломоносова, сколько как к исключительному вкладу в раннюю русскую научную терминологию⁴⁸. Ломоносов часто отзывался о тех, чьи труды он использовал с большим неодобрением; но имя Вольфа во многих научных работах упоминается им комплиментарно. Переосмысленные лейбницевские понятия «противоречия» и «достаточного основания»⁴⁹, которые характеризовали подход Вольфа к натурфилософии, были приняты Ломоносовым в его научных исследованиях и никогда не остава-

⁴⁷ Дополнение Ломоносова к изданию 1760 года можно найти в [Ломоносов 1950–1983, 3: 434–439]. Об относительно больших тиражах «Вольфианской экспериментальной физики» см. [Сводный каталог 1962–1975, 1: 186–187].

⁴⁸ По этому поводу см. очень хорошо аргументированную работу [Замкова 1965: 87–115]. См. также [Тропп 2011].

⁴⁹ Методология Вольфа в значительной степени основывалась на следующих принципах: «I. Философия есть наука обо всех возможных вещах, а также о манере и причине их возможности... II. Под Наукой я понимаю ту привычку понимания, посредством которой способом, который не подлежит опровержению, мы основываем наши утверждения на неопровержимых основаниях или принципах... III. Я называю возможным все, что может быть, или все, что не подразумевает противоречия, независимо от того, существует оно на самом деле или нет... IV. Как ни о чем мы не можем составить никакого представления, так и о действительном существовании какой-либо вещи мы не можем составить представления без достаточного основания или причины... V. Следовательно, философ должен не только знать о возможности вещи, но и определить причину этого существования». Цитата взята из работы Вольфа «*Vernunftige Gedanken von den Krafte des menschlichen Verstandes und ihrem richtigen Gebrauche in Erkenntniss der Wahrheit*» (1713), цитируемой в [Lomonosov 1970: 12]. Вольф требовал, чтобы явления в природе не «просто» описывались, а чтобы им присваивалась соответствующая причина.

лись без внимания. По существу дедуктивный поиск окончательных, или первых, доктрин в изучении природных явлений сделал невозможным для Вольфа и Ломоносова принять теории Ньютона, в частности его принцип действия на расстоянии, свойственный гравитации и рассматриваемый ими как повторное введение «оккультных качеств» в науку⁵⁰.

Трактаты Ломоносова по физике и химии демонстрируют полностью механическое изложение строения твердого тела, которое имело мало общего с метафизикой Вольфа. Его методологические предпосылки, однако, оставались в большой степени вольфианскими, поэтому он был плохо подготовлен для борьбы с «новой философией». Как заключает В. Босс, именно непримиримая враждебность к ньютонианству была «худшим наследством» Вольфа для своего русского ученика, от которого Ломоносов так и не смог освободиться⁵¹.

Для более поздних исследователей ключом к ассоциированию Ломоносова с Вольфом было либо игнорирование, либо отрицание какой-либо прямой научной связи между натурфилософией Вольфа и более поздними научными работами Ломоносова.

⁵⁰ Ломоносов отверг идею о том, что гравитация может быть природным свойством, присущим телам; он считал это возвращением к дискредитированным оккультным представлениям. В письме Эйлеру, написанном в 1748 году, он высказал свое несогласие с теорией тяготения Ньютона и предложил, в ограниченных обстоятельствах, существование «тяготительной жидкости», которая воздействовала на частицы и направляла их к «центру земли». Корпускулярная точка зрения Ломоносова, от которой он очень редко отклонялся, не допускала возможности воздействия материальных тел друг на друга без промежуточной среды [Ломоносов 1891–1948, 8: 72–91, 18–22; Ломоносов 1950–1983, 10: 439–457, 801]. Позже, в 1758 году, он предложил это письмо в качестве документа, по существу не претерпевшего изменений и озаглавленного «Об отношении количества материи и веса», направленного в Академию наук [Ломоносов 1950–1983, 3: 349, 556–558].

⁵¹ Безоговорочная неспособность Ломоносова оценить революционную природу философских и научных концепций Ньютона «имела печальные последствия для его научной работы в целом» [Boss 1972: 164]. В монографии Босса довольно подробно рассматриваются взгляды Ломоносова на ньютоновскую науку.

Вместо этого акцент был сделан на освещении несколько фрагментарных оценок Вольфом общего прогресса и потенциала Ломоносова. Эти весьма расплывчатые сообщения были разбросаны по различным письмам, отправленным Вольфом барону Корфу (президенту Академии наук) в Санкт-Петербург⁵². Они касались главным образом его повседневной жизни в Марбурге. Никакой информации о первых научных трактатах Ломоносова в них не содержится⁵³. Сообщения Вольфа о том, что три студента (Ломоносов, Г. У. Райзер и Д. И. Виноградов), отправленные в Марбург, с достаточным прилежанием изучали математику и языки, посещали его курсы по механике и естественной истории и вскоре будут изучать с ним экспериментальную физику [Куник 1865, 2: 258–259; Пекарский 1870–1873, 2: 291], касались только общих положений, которые можно было бы значительно развить в дальнейшем.

Вольф возлагал больше надежд на прогресс Ломоносова, чем Райзера или Виноградова, у которых, похоже, было больше проблем с учебой. Он отмечал Корфу в 1738 году: «у г[осподина] Ломоносова, по-видимому, самая светлая голова меж ними; при хорошем прилежании он мог бы и научиться многому, выказывая

⁵² Вольф написал несколько писем президенту Академии Корфу с подробным описанием деятельности Ломоносова, Райзера и Виноградова. Эти письма были впервые опубликованы в издании [Куник 1865, 2: 253–342, passim].

⁵³ Ломоносов завершил два научных трактата под руководством Вольфа: «Работа по физике о превращении твердого тела в жидкое в зависимости от движения существующей жидкости» (1738); и «Физическая диссертация о различии смешанных тел, состоящем в сцеплении корпускул» (1739). См. [Ломоносов 1950–1983, 1: 7–63, 539–545]. Обе работы были направлены на рецензирование в Академию наук. Его второе, гораздо более содержательное эссе, касалось структуры и природы материи; это был ранний образец его корпускулярной работы. Метафизика Вольфа, или, более конкретно, его версия монадологии Лейбница, не повлияла на трактат Ломоносова; скорее, он предвосхитил строго механистическую точку зрения, которой придерживался на протяжении всей своей трудовой жизни. Нет никаких свидетельств того, что какая-либо из этих работ была когда-либо официально представлена в Академии, и до нас не дошло никаких критических замечаний по ним того времени. Меншуткин перевел эти статьи с латыни и опубликовал их в 1936 году.

большую охоту и желание учиться» [Куник 1865, 2: 271–272; Пекарский 1870–1873, 2: 291–292]. Это прекрасно сочетается с героическими рассказами о юношеской целеустремленности Ломоносова, которые развивали его биографы в XVIII веке.

Даже двойственные оценки Вольфа (он неоднократно жаловался властям Академии в Санкт-Петербурге на откровенно распутный образ жизни Ломоносова, Райзера и Виноградова) могли быть представлены в выгодном свете. Вскоре после того, как в июле 1739 года студенты уехали во Фрайберг для продолжения учебы, Вольф написал Корфу о чувстве облегчения, испытываемом им вследствие их отъезда и того, что забота о них больше не лежит на его плечах. К своему большому ужасу, он был вынужден время от времени брать на себя их долги. Причиной многих трудностей студентов, особенно их хронической задолженности местным торговцам, было то, что «они через меру предавались разгульной жизни и были пристрастны к женскому полу» [Куник 1865, 2: 305; Пекарский 1870–1873, 2: 294–295]. Их шумные выходы, по-видимому, бесконечно расстраивали профессора и, похоже, в том числе горожан. Вольф был ошеломлен поведением студентов, но все же добавил, хотя и почти в качестве постскриптума, что Ломоносов «с особенною любовью старался приобретать основательные познания». Ухарские манеры Ломоносова позже будут восприниматься более позитивно как человеческое дополнение к его научной биографии. Несдержанность, которая, как известно, определяла общественное и частное поведение Ломоносова, часто являлась следствием бегства от кропотливой учебы, а затем и от напряженной работы в Санкт-Петербурге.

Пытаясь продвинуть свое избрание в почетные члены Болонской академии в 1764 году, Ломоносов написал письмо графу М. И. Воронцову (бывшему русскому канцлеру, в то время проживающему в Италии), который время от времени оказывал ему значительную поддержку. В нем он систематически изложил некоторые из своих научных трудов и обрисовал свой вклад в российское образование. Он включил в него пространное приложение с избранными комментариями и рекомендациями,

касающимися его работы, озаглавленное «Свидетельства о науках советника Ломоносова» [Пекарский 1865: 93–98; Ломоносов 1891–1948, 8: 270–288; Ломоносов 1950–1983, 10: 396–404, 569–580, 787–790, 871–874]⁵⁴. Переведенный самим Ломоносовым и возглавляющий список текст представлял собой оценку его прогресса Вольфом. По-видимому, документ был передан ему примерно в то время, когда он покидал Марбург в июле 1739 года, и резко отличается, по крайней мере, по тону от отчета, который Вольф отправил Корфу в том же месяце. Вольф сообщал, что:

Молодой человек с прекрасными способностями, Михайло Ломоносов со времени прибытия в Марбург прилежно посещал мои лекции математики и философии, а преимущественно физики, и с особенной любовью старался приобретать основательные знания. Нисколько не сомневаюсь, что если он с таким же прилежанием станет продолжать свои занятия, то он со временем, по возвращении в отечество, может принести пользу государству, чего от души и желаю [Пекарский 1865: 93–94; Ломоносов 1950–1983, 10: 571, 872]⁵⁵.

⁵⁴ Эти три сборника отличают резкие редакторские различия. В посылке Ломоносова было 15 рецензий или фрагментов рецензий. См.: СПбФ АРАН. Ф. 20. Оп. 3. № 134. Л. 30–31, 49–52 об., 60–63; Оп. 1. № 5. Л. 153–158, — по поводу различных копий, сделанных Ломоносовым и переписчиками того времени с оригиналов. Относительно краткого описания состава документа и его отправки Воронцову в Италию см. [Ченакал и др. 1961: 400–403]. Полная переписка Ломоносова с Воронцовым доступна в [Ломоносов 1950–1983, 10: 477–583, *passim*] и [Мартынов 2010].

⁵⁵ Первоначальный отзыв, написанный рукой Вольфа, очевидно, не сохранился. Одна из копий, хранившаяся у Ломоносова, датированная им 10 октября 1760 года, находится в: СПбФ АРАН. Ф. 20. Оп. 3. № 71. Л. 1–2. К письму Вольфа в архиве прилагается общая рекомендация, говорящая об усердии и потенциале Ломоносова, от его учителя математики в Марбурге Ю. Дуйзинга (которая, по-видимому, также была получена Ломоносовым в июле 1739 года). Датированная 10 октября 1760 года, она не была включена в число отзывов, направленных Воронцову. Репутация Дуйзинга, возможно, была недостаточно звездной, чтобы Ломоносов мог использовать ее в меценатской деятельности более высокого уровня. Оригинальная оценка Дуйзинга находится в архиве Марбургского университета ([Сухомлинов 1861: 158; Андреев 2005: 152]).

Это письмо послужило ценнейшим источником для более поздних ученых. А «прилежание», проявленное Ломоносовым в изучении наук, не омраченное точными деталями, послужило прекрасным материалом для работы более поздних биографов и останется ключевым источником для изучения того, какую науку он увез с собой из Марбурга. Ценность слов Вольфа о продолжении занятий во благо родины (как для Ломоносова, так и для двух столетий последующих исследований) настолько очевидна, что не нуждается в объяснении.

Ломоносов полагал, что этот документ подкрепит его кандидатуру на членство в Болонской академии. Однако в данном случае в нем не было необходимости, поскольку он был избран в академию незадолго до получения письма, в конце апреля 1764 года. Однако даже в этом году перевод и использование Ломоносовым письма Вольфа с одобрением его усилий по овладению знаниями не только свидетельствует о его желании ассоциироваться со все еще сильной репутацией Вольфа⁵⁶, но и удивительно хорошо отражает его самоощущение и ту роль, на которую он настойчиво пытался претендовать в то время. Акцент на его успехах в науке в относительно молодом возрасте дополнял научные статьи, которые он цитировал, «личными» историями, свидетельствующими о его способностях. Хотя из-за сомнительной истории этого отзыва может возникнуть вопрос о том,

⁵⁶ Несколькими годами ранее, в 1754 году, Ломоносов написал Эйлеру в Берлин, что, хотя его нынешнее теоретизирование подорвет «мистическое учение», все еще существующее в натурфилософии (результат, который он бы только приветствовал), он не хотел публиковать свои «доказательства», опасаясь, что они могут «омрачить старость мужу» (Вольфу), которому он многим обязан. В конце концов, монады Лейбница/Вольфа были одним из «мистических» течений в науке, которое, как он считал, его работа разоблачила как ошибочное. См. [Ломоносов 1950–1983, 10: 503, 827–828]. Кстати, хотя в студенческие годы Эйлер был поклонником Вольфа, довольно скоро после этого он стал ярким противником вольфовской метафизики. Эйлер относился с подозрением не только к научным основам монадологии. Кажущийся деизм (или даже «атеизм»), которым монадические концепции Вольфа (и Лейбница), казалось, обеспечивали интеллектуальную поддержку, вызывал у него беспокойство. Р. Кэлинджер говорит о разочаровании Эйлера в доктринах Вольфа в [Calinger 1971: 147–149, 167–191, 250–266; Calinger 1966: 153–154]. См. также [Грай 1988].

действительно ли Вольф написал его⁵⁷, он долгое время считался подлинным и использовался как Ломоносовым, так и его биографами, что более существенно для этой монографии, чем его фактическое происхождение.

В единственном известном письме к Ломоносову, приписываемом Вольфу, немецкий философ выразил свое «великое удовольствие» от чтения его статей в «Комментариях», научном журнале Санкт-Петербургской академии наук («*Novi Commentarii Academiae scientiarum imperialis Petropolitanae*», преемнике «*Commentarii Academiae scientiarum imperialis Petropolitanae*»), указав Ломоносову, что они «великую честь, принесли... народу», и желая, чтобы его «примеру многие последовали»⁵⁸. То, что Ломоносов принес честь своему народу, этот намек на то, родиной какого человека может быть Россия, станет клише в более поздних исследованиях; конечно, такого рода вещи занимают центральное место в презентации любого легендарного ученого. В поисках самых ранних возможных истоков этой идеи краткие замечания Вольфа оказались бесценными. Вольф, дискредитированный враг ньютоновской системы, превратился в уважаемого персонажа XVIII века, который придал большое значение научному потенциалу Ломоносова. То, что имя Вольфа могло только дополнить

⁵⁷ Поскольку Вольф умер в 1754 году, он был бы неспособен оспорить его подлинность.

⁵⁸ Вольф не указал в этом сообщении какую-либо конкретную научную статью. Первые два тома «*Novi Commentarii*», выпущенные в 1750 и 1751 годах соответственно, включали несколько диссертаций Ломоносова, среди которых, возможно, был его самый известный в то время исключительно теоретический трактат, написанный в 1744 году, «*Meditationes de caloris et frigoris causa* / Размышления о причинах тепла и холода». См. [Ломоносов 1950–1983, 2: 7–55, 647–652]. Ломоносов включил письмо Вольфа в серию из 15 отзывов, которые он приложил к своему посланию Воронцову в Италию в 1764 году. Опять же, оригинал письма Вольфа не был найден; у нас есть только частичный перевод Ломоносова (в котором письмо датировано 26 июля 1753 года). См. [Пекарский 1865: 94; Ломоносов 1891–1948, 8: 131–132, 69–70; Ломоносов 1950–1983, 10: 571–572, 872]. То, что ни это письмо, ни упомянутый ранее отзыв Вольфа о студенческих годах Ломоносова (оба очень полезные для его «самооценки»), по-видимому, не сохранились, может вызвать вопросы об их происхождении; на данный момент никаких выводов с уверенностью сделать нельзя.

образ Ломоносова, считалось само собой разумеющимся в отчетах о его жизни, составленных в XVIII веке. Однако в XIX веке, когда научные биографии строились больше вокруг экспериментов и открытий, а не вокруг юного гения и «жизненного пути» [Outram 1996: 98], связи Вольфа с Ломоносовым стали чем-то, что нужно было передать более искусно и тонко.

Несмотря на его несогласие с отдельными аспектами теории Ньютона, научное положение Эйлера никогда не подвергалось серьезному сомнению, и с его именем не связывалось никаких негативных коннотаций. Его математическая репутация была безупречна, и публикация в 1736 году его «Механика» принесла огромную пользу ему и Санкт-Петербургской академии, членом которой он был. В значительной степени Эйлер заложил основы долгой и почетной математической традиции в России⁵⁹. Как натурфилософу ему не было равных в Академии, и то, что такая выдающаяся личность была так тесно связана с ранними годами российской науки, сделало его имя священным в ее истории. Однако, будучи иностранцем, Эйлер никогда не мог стать объектом того мифотворчества, которое характеризовало эволюцию научной репутации Ломоносова.

Эйлер покинул Санкт-Петербург 8 июня 1741 года и вернулся только в 1766 году, через год после смерти Ломоносова. Таким образом, если только Ломоносов не встретился с Эйлером во время своего краткого пребывания в Академии в 1736 году перед отъездом в Марбург, чему нет никаких доказательств, они никогда не были знакомы лично⁶⁰. Однако в течение примерно 15 лет

⁵⁹ Работа А. П. Юшкевича по ранней русской математике остается наиболее исчерпывающей. Для ознакомления с огромным вкладом Эйлера в то, что воспринимается как русская математическая традиция, см. его работу «Эйлер и русская математика в XVIII веке» [Эйлар 1949] и «История математики в России до 1917 года» [Эйлер 1968].

⁶⁰ Одним из наиболее подробных исследований, посвященных отношениям Ломоносова с Эйлером, является работа [Ченакал 1958]. Ченакал уверенно утверждает, что Эйлер оценивал научные способности Ломоносова почти абсолютно благожелательно. Автор, однако, преувеличивает, утверждая, что между ними двумя существовало истинное научное сотрудничество. См. также [Павлова 1986: 62–64].

они вели переписку, прерываемую долгими паузами⁶¹. Письма Ломоносова в основном касались сути его научных трудов. Он часто описывал Эйлеру свою деятельность, выдвигал новые идеи, над которыми работал, и ждал его суждения. Его более позднее и весьма знаменитое письмо Эйлеру от 5 июля 1748 года, в котором он, как принято считать, впервые представил свой закон сохранения вещества при химических реакциях⁶² — и, следовательно, предвосхитил открытие А. Лавуазье, — является, пожалуй, самым выдающимся примером их переписки. В то же время содержание этих писем не представляло большого интереса для ранних биографов⁶³. В своих самых ранних проявлениях мифо-

⁶¹ Ломоносов написал шесть известных писем Эйлеру между 1748 и 1765 годами. Тексты этих писем см. в [Ломоносов 1950–1983, 10: 436–598, 799–866, *passim*]. Ломоносов получил по меньшей мере четыре письма от Эйлера в период с 1748 по 1754 год. Они были опубликованы в [Ломоносов 1891–1948, 8: 69–185, 15–124, *passim*]. См. также [Ченакал 1951]. Статья Ченакала сосредоточена на событиях, предшествовавших началу их переписки и относящихся к нему. Он также воспроизводит тексты их первых писем. Даже учитывая графоманию, которой были отмечены работы многих натурфилософов его времени, Эйлер был необычайно активным корреспондентом. Выписки из его объемистых сохранившихся писем приведены в [Кладо и др. 1967]. Этот сборник свидетельствует о широком покровительстве Эйлера, а также о том, как мало, по сравнению с его письмами другим светилам того времени и в отличие от мнения российской и советской историографии, Ломоносов испытал его влияния на свою научную жизнь. Издание [Iushkevich, Winter 1959–1976] охватывает почти всю переписку Эйлера с членами Санкт-Петербургской академии. Переписку Эйлера с Ломоносовым можно найти в т. 3. Если его деятельность будет успешной, Общество Эйлера со временем разместит обширные труды Эйлера в Интернете (см. The Euler Archive, UPL: <http://www.eulerarchive.org/>).

⁶² Хотя это письмо не было опубликовано полностью до 1948 года, когда к нему был приложен русский перевод с латинского оригинала, оно было прокомментировано или процитировано в работах, опубликованных еще в 1865 году. Полный текст письма см. в [Ломоносов 1891–1948, 8: 72–91, 18–22; Ломоносов 1950–1983, 10: 439–457, 801]. Крайне скептический обзор утверждений о том, что исследования Ломоносова предвосхитили открытия Лавуазье или повлияли на них, см. в [Pomper 1962: 119–127]. См. также [Leicester 1967: 240–44; Lomonosov 1970: 44–47].

⁶³ Переписка Ломоносова с Эйлером, а также отзывы Эйлера о нем другим людям, в отличие от многих писем Ломоносова к Шувалову, совершенно без каких-либо существенных комментариев начали публиковаться только

логия Ломоносова как первопроходца-естествоиспытателя легче усваивала свидетельства Вольфа о потенциале Ломоносова достичь высот познания, чем более запутанные подробности повседневной научной работы, представленные в переписке Эйлера. Затем, в XIX веке, когда научные биографии стали уделять гораздо больше внимания сути научной деятельности их субъекта, давно дискредитированные ассоциации Вольфа с Ломоносовым, как уже указывалось, постепенно стали почти неуместными, в то время как специфика взглядов Эйлера становилась все более фундаментальной для идеализированного портрета Ломоносова.

Это не означает, что отзывы Эйлера о Ломоносове были известны только двум вовлеченным сторонам, поскольку Ломоносов решительно использовал его отзывы для повышения своего статуса. Мнение Эйлера о его научной ценности было незаменимо для Ломоносова в профессиональной и личной борьбе внутри Академии; даже несмотря на то, что Эйлер жил за границей, его мнение имело большой вес в российских научных кругах. Семь из 15 вышеупомянутых отзывов о его научной деятельности и потенциале, которые Ломоносов отправил Воронцову в 1764 году, были написаны Эйлером [Пекарский 1865: 94–98; Ломоносов 1891–1948, 8: 282–286; Ломоносов 1950–1983, 10: 572–578, 872].

в 1840-х годах. Хотя верно, что к середине XVIII века переписка нескольких ученых времен Ньютона уже была опубликована (в частности, переписка Бойля и переписка между Лейбницем и Дж. Бернулли), Р. Холл приходит к выводу, что, хотя они «пролили свежий свет на Ньютона и его время», это «было задолго до того, как биографы обнаружили полезность такого материала» [Hall 1999: 6]. Природа научных биографий была такова, что содержащиеся в письмах технические аспекты могли лишь с некоторым трудом быть ассимилированы в жизнь субъекта. Исключением были попытки У. Уоттона включить часть переписки Бойля в запланированную им биографию этого ученого. Его так и не завершенная биография, над которой он работал более десяти лет, начиная с 1696 года, и в которой опирался на анализ неопубликованных статей Бойля, была очевидной попыткой двинуться дальше написания «панегирика». Ее автор сумел подойти к исследованию интеллектуальной жизни своего субъекта, о чем говорится в тщательном исследовании [Hunter 1994: XXXVI–LIV].

За двумя исключениями, они, как и фрагменты, приписываемые Вольфу, были переведены или скопированы Ломоносовым и больше не существуют в их первоначальном, предположительно более полном, виде. В них присутствует определенная шаблонность, чего и следовало ожидать от таких материалов, носящих характер рекомендации, в основном являющихся выдержками из писем. Однако один из отзывов Эйлера в наибольшей степени характеризует его как сторонника Ломоносова и заслуживает повторения.

Делясь результатами изучения двух работ Ломоносова, «Диссертации о действии химических растворителей вообще» 1743 года и «Физических размышлений о причине теплоты и холода» 1744 года⁶⁴, в связи с их возможной публикацией в «*Commentarii*» (они в конечном итоге будут опубликованы в «*Novi Commentarii*» в 1750 году), Эйлер написал 10 ноября 1747 года президенту Академии К. Г. Разумовскому, что:

Все сии сочинения не токмо хороши, но и превосходны, ибо он изъясняет физические и химические материи, самые нужные и трудные, кои совсем неизвестны и невозможны были к истолкованию самым остроумным ученым людям, с таким основательством, что я совсем уверен о точности его доказательств. При сем случае я должен отдать справедливость господину Ломоносову, что он одарован самым счастливым остроумием для объяснения явлений физических и химических. Желать надобно, чтобы все протчие Академии [члены Академии] были в состоянии показать такие изобретения, которые показал господин Ломоносов [Вельтман 1840: 6–7]⁶⁵.

⁶⁴ Когда «Физические размышления о причине теплоты и холода» («*De causis caloris et frigoris meditationes physicae*») были опубликованы, с некоторыми исправлениями, в «*Novi Commentarii*», они вышли под названием «Размышления о причине теплоты и холода» («*Meditationes de caloris et frigoris causa*»). Как оригинальную, так и исправленную версии см. в [Ломоносов 1950–1983, 2: 7–55, 63, 103, 647–653].

⁶⁵ См. также [Пекарский 1865: 94–95; Ломоносов 1891–1948, 8: 282; Ломоносов 1950–1983, 10: 572–573, 872–873]. Сохранилась только копия оригинала на французском языке, скорее всего, сделанная Ломоносовым или, во всяком

Ломоносов, должно быть, счел весьма полезным в особенности последний пункт. Вскоре Эйлер получил записку от Ломоносова, в которой тот благодарил его за рецензию и пытался наладить с ним постоянную переписку по поводу своих исследований [Ломоносов 1950–1983, 10: 436–438, 799–800]⁶⁶. Легко понять, почему Ломоносов счел отзыв Эйлера достаточно привлекательным, чтобы его сохранить, а затем отправить Воронцову. Заявления Эйлера в поддержку работ Ломоносова (гораздо меньше посвященные оценке деталей работ Ломоносова, содержащейся в многих письмах, которыми они обменивались и которые в любом случае были благоприятными), косвенно выставляющие его как авторитетного натурфилософа, действительно достойного подражания, хорошо согласуются с собственным образом, который неустанно пропагандировал Ломоносов.

И. Д. Шумахер, директор канцелярии Академии наук (хотя Шумахер долгое время занимал лишь безобидно звучащую должность библиотекаря Академии, фактически он руководил ее деятельностью с конца 1720-х годов при череде часто незаинтересованных президентов)⁶⁷, в 1753 году запросил мнение Эйлера о статье Ломоносова об электричестве «Слово о явлениях воздушных, от электрической силы происходящих» [Ломоносов 1950–1983, 3: 15–99, 512–522]. Выводы Ломоносова были оспорены на собрании Академии, во время которого он их впервые представил. Профессор астрономии А. Н. Гришов вы-

случае, под его руководством, и ее можно найти в: СПбФ АРАН. Ф. 136. Оп. 2. № 43. Л. 1. Это может еще раз вызвать сомнения относительно редакторских вольностей, которые он мог или не мог допустить в своей копии. Однако более важным аспектом использования Ломоносовым этого отрывка является то, что он недвусмысленно отражает как его веру в собственные широкие возможности, так и его желание, чтобы и другие в равной степени были осведомлены о его интеллектуальных способностях.

⁶⁶ Письмо датировано 16 февраля 1748 года.

⁶⁷ Резко противоположные взгляды на Шумахера см. во влиятельном негативном описании Пекарского в [Пекарский 1870–1873, 1: 15–65] и ревизионистской интерпретации С. Уэрретта [Werrett 20106].

ступил с основным опровержением⁶⁸. Подвергая сомнению некоторые аспекты диссертации, Гришов нашел особенно любопытным, что некоторые из теорий Ломоносова (о том, что электричество коррелирует с северным сиянием, и что восходящие и нисходящие воздушные потоки приводят или, скорее, создают электричество в атмосфере) были, по крайней мере частично, предложены ранее Франклином. Хотя Гришов допускал, что Ломоносов мог и не знать о находках Франклина, он подразумевал, что Ломоносов должен был о них знать.

Не склонный принимать любую критику⁶⁹, Ломоносов вскоре оказался втянутым в ожесточенные споры с Гришовым и другими академиками (особенно с Н. И. Поповым и И. А. Брауном). Шумахер обратился к авторитету Эйлера, чтобы урегулировать спор. Вынося решение по спору, Эйлер едва коснулся доклада Гришова, хотя и отклонил его; скорее, он сосредоточился на

⁶⁸ Критику Гришовым работы Ломоносова об электричестве можно найти в статье [Идельсон 1940]. Отчеты и переписку XVIII века, связанные с работой Ломоносова по электричеству и ее публичной презентацией в Академии наук, можно найти в книге [Павлова 1962: 114–125].

⁶⁹ Несмотря на знакомство с электрическими экспериментами Франклина (Ломоносов косвенно цитировал «Experiments and Observations on Electricity, Made at Philadelphia in America», 1751), он опроверг любое представление о том, что обязан работе американского ученого, написав: «я в моей теории о причине электрической силы в воздухе ему ничего не должен», и признался, что «Франклиновы письма увидел впервые, когда уже моя речь была почти готова». После перечисления того, что он считал пробелами в исследованиях Франклина, которые, как утверждал Ломоносов, в значительной степени были результатом наблюдений ученого в Филадельфии, то есть сделанных в совершенно ином климате, чем в Санкт-Петербурге, он заключил: «истолкованы мною многие явления, с громовую силою [и связанными с ней атмосферными изменениями] бывающие, которых у Франклина нет и следу». См. статью Ломоносова 1753 года, «Изъяснения, надлежащие к слову о электрических воздушных явлениях», в [Ломоносов 1950–1983, 3: 103 (101–133 для всего трактата)]. Эта статья была дополнением к его «Слову о явлениях воздушных, от электрической силы происходящих» [там же: 15–99, 512–522]. Также опубликованная в 1753 году, она была переиздана в Собрании сочинений Ломоносова 1784–1787 годов, которое читал Радищев. О нескольких вариантах этих двух диссертаций в XVIII веке см. [Сводный каталог 1962–1975, 2: 163–166, 175–176].

общем значении трактата Ломоносова и на его роли в российской науке:

Сочинения господина Ломоносова об этом предмете я прочел с величайшим удовольствием. Данные им относительно столь внезапного возникновения стужи и происхождения последней от верхних слоев воздуха в атмосфере объяснения я считаю совершенно основательными. Недавно я сделал подобные же выводы из учения о равновесии атмосферы. Прочие предложения столь же остроумны, сколько и правдоподобны, и свидетельствуют о счастливом даровании господина автора к распространению истинного познания естествознания, чему образцы, впрочем, он и прежде представил в своих сочинениях⁷⁰.

Одобрение Эйлера было жизненно важным для укрепления позиций Ломоносова в Академии. Делая вид, что он непосредственно связан с научной деятельностью Ломоносова (с гипотезами которого, по крайней мере в области электричества, он соглашался и в конце концов сам пришел к аналогичным выводам), Эйлер обеспечивал поддержку Ломоносову во внутриакадемических спорах.

Это не означает, что благодаря его поддержке теоретические открытия Ломоносова восторжествовали (во всяком случае, в России) над альтернативными объяснениями. Действительно, в изучении электричества работа Ф. У. Т. Эпинуса, написанная в это же время в Санкт-Петербурге, быстро превзошла работу Ломоносова. Однако Эйлер пользовался таким большим уважением, что Ломоносов мог частично игнорировать многих своих критиков во внутриакадемических спорах из-за положения и статуса — хотя его характер, казалось, приводил к тому, что он этого не делал. В свете явно гневной реакции Ломоносова на упреки в отношении его диссертации по электричеству, вызвавшей большое возмущение в Академии, Шумахер настойчиво

⁷⁰ СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 3. № 44. Л. 80–81 (письмо Эйлера к Шумахеру датировано 29 декабря 1753 года). См. также [Биллярский 1865: 248–249; Пекарский 1870–1873, 2: 526–527].

просил Эйлера пересмотреть свою позицию по отношению к Ломоносову, но этот призыв был мягко отклонен [Билиарский 1865: 251–252; Пекарский 1870–1873, 2: 528; Ченакал 1958: 438–440]⁷¹. В целом Эйлер мало что не одобрял в теориях Ломоносова, но в то же время продолжал получать финансовую поддержку от Академии, главой которой был Шумахер. Эйлер явно надеялся избежать вовлечения в ссоры между Ломоносовым и растущей группой других ученых.

Эпистолярная связь Эйлера с Ломоносовым сошла на нет в 1754–1755 годах и, по-видимому, так и не была полностью

⁷¹ Письмо Шумахера было отправлено в начале января 1754 года; ответ Эйлера пришел примерно через месяц. Сражения, которые Ломоносов вел в течение своей академической карьеры с руководством Академии, особенно с Шумахером и его зятем И. И. Таубертом, были ожесточенными и исторически окутаны идеями, с небольшим количеством подтверждающих ее доказательств, что Ломоносов боролся за продвижение интересов русской науки против происков иностранцев (читай, немцев) в Академии. Его борьба с укоренившимися, часто нерусскими, элементами в администрации Академии является центральной темой книги [Радовский 1961]. Замечания о Ломоносове, содержащиеся в переписке Г. Ф. Миллера и Эйлера, см. в [Винтер, Юшкевич 1958: 471–483]. Миллер, историк и редактор, долгое время был членом Академии наук. Он хорошо знал и Эйлера, и Ломоносова, хотя общение с последним со временем стало носить бурный характер. Миллера часто называют одним из иностранных академиков, которые много сделали для того, чтобы помешать отечественной науке. Книга Дж. Л. Блэка [Black 1986] пытается опровергнуть эту точку зрения. К 300-летию со дня рождения Миллера была опубликована его большая биография [Hoffmann 2005]. Работа Хоффманна, а также книга «Г. Ф. Миллер и русская культура» [Дальман, Смагина 2007] (Хоффманн входит в число более чем 40 авторов, представивших для нее свои работы), не имеет себе равных в документировании вклада Миллера в русскую культуру XVIII века. Отношения Миллера с Ломоносовым подробно рассматриваются в монографиях Хоффманна и Блэка; оба возлагают большую часть вины за ухудшение некогда сердечных, даже дружеских отношений Миллера и Ломоносова. Сборник Дальмана и Смагиной был выпущен в рамках серии, подготовленной по итогам ежегодного семинара по немецко-российским научным и культурным связям / *Die Deutschen in Russland: Russisch-deutsche wissenschaftliche und kulturelle Beziehungen*. Эта серия конференций и семинаров является своего рода достойным внимания интеллектуальным продолжением работы, начатой Э. Винтером и его школой в 1950-х годах.

восстановлена⁷². Последнее, крайне неприятное письмо Ломоносова к Эйлеру (написанное в конце февраля 1765 года) существует только в незаконченном виде и, похоже, так и не было отправлено в Берлин. Ломоносов резко отзывается о тех, кого он считал врагами в Академии — к самому Эйлеру он обращается довольно неуважительно, в то время как С. Я. Румовского (бывшего ученика Ломоносова в Петербурге, а позже математика и профессора астрономии в Академии наук) [Бобынин 1962; Павлова 1979]⁷³ называет «комнатной собачкой» И. И. Тауберта, друга Шумахера, его преемника на посту фактического главы Академии и человека, способности которого Ломоносов с горечью оспаривал⁷⁴.

⁷² В попытке ответить критикам его работы на Западе Ломоносов без разрешения Эйлера опубликовал часть его письма со словами поддержки (датированного 31 декабря 1754 года) в «*Le Caméléon Littéraire*» (Санкт-Петербург, № 20, 18 мая 1755 года, с. 453–456). См. также [Ломоносов 1891–1948, 8: 181–185, 121–123]. Гневный ответ Эйлера, направленный Миллеру, можно найти [там же: 124]. Эйлер и Ломоносов также были по разные стороны баррикад в споре по поводу выбора нового профессора математики, экспериментальной физики и механики в Академии. Эйлер выдвинул кандидатуру своего ученика С. К. Котельникова, в то время как Ломоносов поддержал Я. К. Шпангенберга из Марбурга. Это несколько опровергает представление о том, что Ломоносов поощрял отечественных ученых. Ранее Ломоносов отправил Миллеру письмо (7 мая 1754 года), в котором довольно пренебрежительно отзывался об Эйлере и Котельникове. Чтобы его «дружба» с Эйлером «не нарушилась», Ломоносов предупредил Миллера, чтобы тот не доводил до его сведения содержание данного письма. См. [Ломоносов 1950–1983, 10: 506–508].

⁷³ Долгое время Румовский был директором астрономической обсерватории Академии наук (1763–1803) и ее географического департамента (1766–1803). Его научная карьера была поразительно разнообразной. Хотя он писал оригинальные статьи по математике, астрономии и географии, он, вероятно, больше всего известен тем, что перевел на русский язык знаменитые «Письма к немецкой принцессе» Эйлера (1-е изд. 1768–1774).

⁷⁴ Черновик незаконченного письма на немецком языке находится в: СПбФ АРАН. Ф. 20. Оп. 1. № 2. Л. 336–337. Записка Ломоносова была опубликована Вельтманом в [Вельтман 1840: 69–72]. В конце концов она была переведена на русский язык и напечатана в «Записках Императорской академии наук» (Т. 5. Кн. 1. 1864. С. 105–106). Наряду с оскорбительными комментариями о Румовском и Тауберте, Ломоносов пишет о Миллере и покойном Шумахере (который умер в 1761 году) с едкими, язвительными замечаниями.

Румовский учился и работал с Эйлером в Берлине и был зачислен в число его приверженцев. Какими бы ни были его первоначальные мысли о научных способностях Ломоносова, которые невозможно определить, к концу 1750-х годов он стал довольно презрительно относиться к его набегам в самые разные области⁷⁵. Возможно, именно по чисто покровительственным и/или личным причинам Румовский встал на сторону Эйлера в его очевидном споре с Ломоносовым, или, возможно, что было вполне вероятно, он пришел к выводу, что работа Ломоносова была несостоятельной. В любом случае Румовский и математик С. К. Котельников были протеже Эйлера и стали представлять в российской науке его наследие, а не Ломоносова. Они также вытеснили Ломоносова с занимаемого им места основного корреспондента Эйлера среди русских ученых в Академии. Несмотря на это, Ломоносов понимал ценность связи с Эйлером и не устал использовать ее, поэтому еще в 1764 году он употребил в дело уже довольно устаревшие оценки Эйлера, хотя отношения ученых были восстановлены с трудом.

Самопрезентация Ломоносова, представленная в его автобиографических посланиях к Шувалову, строилась вокруг неясного происхождения, за которым следовали путь к храму знаний, путешествие, на каждом шагу осложняемое различными препятствиями и врагами, и, наконец, благословение, полученное по прибытии, научное возвышение. Если ему не было даровано полное признание в сообществе ученых, это было сделано историей. Его успешное соединение своей репутации с репутацией

⁷⁵ Румовский написал два письма Эйлеру в 1756 и 1757 годах, в которых отрицательно отзывался о некоторых недавних идеях Ломоносова. Новый телескоп Ломоносова (который предназначался для использования ночью или в других далеко не идеальных условиях), его обсуждение пропорциональности материала и веса, или, скорее, его неспособность обсуждать это, и его неуверенные попытки противостоять концепциям Ньютона о гравитации вызвали немало насмешек. См. [Пекарский 1865: 74–79] и [Пекарский 1870–1873, 2: 599–602]. Будучи учеником Эйлера, Румовский также скептически относился к идеям Ньютона относительно гравитации, но он, казалось, еще более косо смотрел на альтернативное теоретизирование Ломоносова.

Вольфа и Эйлера стало прекрасным средством для прочного утверждения его личного статуса и чести (и в несколько меньшей степени — статуса натурфилософа) в российском обществе. Это также укрепило его имидж как российского ученого-первопроходца. Оставляя основы этого образа, будущие поколения перестраивали его наиболее подходящим для своего времени способом. Мифология Ломоносова, возникшая в результате этого процесса, стала все чаще занимать центральное место в российских культурных и научных притязаниях.

Глава 2

Российские «собственные Платоны и быстрые разумом Невтоны»¹: изобретение ученого

Лотман в своем анализе «бытового поведения» в XVIII столетии [Лотман 2002: 243] утверждал, что стремление к стилизованному идеалу, «самооценка», принятая субъектом, в определенной степени определяли его будущие действия и то, как они будут «восприняты». Его первый пункт кажется трюизмом, тогда как восприятие образа — интригующим элементом. Лотман считал, что этот отбор идеализированных фигур «стимулировал возникновение анекдотических эпосов, которые строились по кумулятивному принципу». Такой текст поведения «в принципе был открытым — он мог увеличиваться до бесконечности, обогащаясь все новыми и новыми “случаями”». Биографии Ломоносова, написанные его младшими современниками в последние три десятилетия XVIII века, убедительно свидетельствуют о понятии «кумулятивности». Эти биографические отчеты также раскрывают инструментальную ценность самоформирования Ломоносова, поскольку оно определяло то, как жизнь Ломоносова будет записана почтительными наблюдателями.

Его ранние биографы работали в рамках жанра героических историй. Однако, осуществляя резкую критику места Ломоносо-

¹ М. В. Ломоносов, 1747 [Ломоносов 1950–1983, 8: 206].

ва в истории науки, сопровождаемую вдумчивым чтением его научных работ и знанием современных тенденций в натурфилософии, они также положили начало жанру научной биографии в России, который, надо сказать, долго находился в зачаточном состоянии. Богатая смесь анализа, «факта» и анекдота, которые всегда трудно разделить, предоставила достаточно возможностей для развития мифологии, связанной с жизнью Ломоносова.

Накопление публикаций, если считать только количество исследований, посвященных Ломоносову, началось быстрыми темпами уже в первые несколько лет после его смерти. Однако ценность этих первоначальных работ в создании легенды о Ломоносове была незначительной: те, что были написаны в России, в основном игнорировались, а те, что были опубликованы за рубежом, в то время особого впечатления на родине не произвели, хотя позже и стали предметом большого внимания. То, что Ломоносов, по-видимому, окруженный врагами в Академии наук, не получил должной похвалы после своей смерти 4 апреля 1765 года, стало частью легенды, окутавшей его имя.

Хотя он и не удостоился хвалебных речей, сравнимых с наиболее прославленными речами Фонтенеля, а позже Кондорсе в Парижской академии, которые адресовались избранным знаменитостям², о Ломоносове вряд ли можно было сказать, что он пропал из поля зрения. Николя Леклерк, французский врач, недавно избранный в почетные члены Академии наук, выступил с речью, посвященной принятию в ее члены 15 апреля 1765 года, которая включала значительный отрывок, восхваляющий заслуги Ломоносова перед Россией в области литературы. Однако он не упомянул о работе Ломоносова в области естественных наук. Речь Леклерка была встречена членами Академии без энтузиазма [Протоколы 1899: 536–537], не стала доступна для распростране-

² Адекватного исследования хвалебных речей, произнесенных в Санкт-Петербургской академии наук, не существует, но для ограниченного сравнительного анализа см. [Paul 1980: 1–27, 133–155] (работа содержит три примера хвалебных речей), [Outram 1978]. Хвалебные речи, произнесенные в Парижской академии, получили широкое распространение в европейских научных кругах.

ния и была отправлена в архив³. Я. Я. фон Штелин, давний коллега Ломоносова по Академии наук, подготовил для него хвалебную речь, но не стал произносить ее или публиковать⁴. Была ли она отозвана из-за вражды членов Академии, которые не хотели чтить Ломоносова, или из-за какой-то неприязни к Штелину, или по ряду других причин, неизвестно. Хвалебная речь Штелина послужила основой для гораздо более содержательного эссе о Ломоносове, написанного им в 1780-х годах, о котором мы вскоре поговорим.

Вскоре после смерти Ломоносова два кратких трактата о нем были написаны и за границей. То, что эти «зарубежные» исследования были опубликованы, послужило до некоторой степени в поддержку воззрений тех, кто принимает мнение о том, что Ломоносова в Академии окружали враги, которые препятствовали присуждению ему его законных наград. В 1765 году А. П. Шувалов (1743–1789), мелкий поэт, родственник И. И. Шувалова и дальний знакомый Ломоносова, живший тогда в Париже, написал «Ode sur la mort de Monsieur Lomonosov de l'Académie des sciences de St. Petersburg» («Ода на смерть господина Ломоносова, члена Академии наук в Санкт-Петербурге»)⁵. Именно

³ Столетие спустя она была обнаружена Пекарским, который впоследствии опубликовал раздел о Ломоносове в работе [Пекарский 1867]. Рассмотрение речи Леклерка и вопроса об оскорблении памяти Ломоносова, которого не только не почтили надлежащей хвалебной речью, но и не опубликовали ту, что имелась под рукой, см. в [Павлова 1962: 5, 21; Радовский 1961: 222–223; Сомов 1983: 97–105]. Сомов считает, что опрометчивые слова Леклерка о Петре I и прошлом России, в дополнение к общей враждебности по отношению к Ломоносову со стороны некоторых академиков, привели к тому, что в целом речь не получила одобрения.

⁴ М. П. Погодин первым опубликовал «Конспект похвального слова Ломоносову» Штелина, напечатав его в «Москвитянин» (1853, № 3, с. 22–25). В начале своей речи Штелин написал, что именно те, кто презирует наследие Ломоносова, помешали ее произнесению в Академии. Нет никаких доказательств, убедительно подтверждающих это утверждение Штелина.

⁵ В эту публикацию Шувалов также включил свой французский перевод «Утреннего размышления о божием величестве» Ломоносова. Эти работы были впервые опубликованы в России, хотя и только на французском языке, в 1865 году. См. [Куник 1865, 1: 201–210]. Шувалов отправил публикацию

вступление Шувалова к его оде является особенно актуальным для данного исследования⁶. Хотя его бо́льшая часть посвящена восхвалению литературных и лингвистических достижений Ломоносова, с которыми Шувалов был хорошо знаком, он впервые в печати рассказывает об эпическом путешествии Ломоносова с Крайнего Севера России, где «в раннем возрасте проявилась его любовь к науке», в Москву, затем в Марбург и, наконец, во Фрайберг. Упоминание Шуваловым Фрайберга, где Ломоносов «изучал горное дело», было, с его намеком на необходимость овладения практическими науками, предзнаменованием будущей темы в исследованиях Ломоносова: акцент на реальных, а не просто теоретических преимуществах, которые наука и ученые могут принести России. Для Шувалова это была также гораздо более доступная область наук, чем химия и физика.

На протяжении всего предисловия Шувалова «энергия», «талант» и неопределенное стремление Ломоносова к «науке» и «новым идеям» появляются на заднем плане. Шувалов считал, что Ломоносову особенно повезло, что он смог уехать за границу, где «имел возможность изучить много нового, а также счастье слушать знаменитого Вольфа». Воздерживаясь от какого-либо тщательного рассмотрения работ или деятельности Ломоносова в области «науки», за исключением цитаты из «Письма о пользе стекла», Шувалов заметил, что Елизавета I назначила его профессором химии в Академии наук и он был «первым ученым в России». Сухое перечисление отдельных общественных достижений и опубликованных работ, а также занимаемых постов и званий было обязательной нормой в биографиях XIX века. Попытки обратиться к содержанию профессиональной или интеллектуальной жизни субъекта усилились к концу столетия [Jones 1989:

Вольтеру, который ответил письмом А. Воронцову, отметив, что он «всегда будет помнить прекрасные стихи [Ломоносова], которые он [Шувалов] перевел на наш язык» [Бартенев 1872: 455]. См. также [Кобеко 1881: 250, 252, 257–258].

⁶ Предисловие Шувалова было переведено на русский язык только в 1936 году. См. [Берков 1936: 277–279].

58; Korshin 1974]. Краткая биография Шувалова лучше изучается как часть мифа о Ломоносове как о русском Малербе или Пиндаре, чем как неотъемлемая часть представлений о нем как об отце российской науки⁷. Он интересовался Ломоносовым как натурфилософом исключительно потому, что этот образ взаимодействовал с замечательной историей о юноше с периферии, достигшем высокого положения в Академии наук.

В 1768 году в Лейпцигском журнале «*Neue Bibliothek der schönen Wissenschaften und der freyen Künste*» появился биографический обзор русских писателей «*Nachricht von einigen russischen Schriftstellern, nebst einem kurzen Berichte vom russischen Theater*» с краткой статьей о Ломоносове⁸. Эта статья, по определению отражающая интерес к литературной деятельности Ломоносова,

⁷ В своей «Эпистоле о стихотворстве» (1747) Александр Сумароков писал о Ломоносове: «Он наших стран Мальгерб, он Пиндару подобен» [Сумароков 1957: 125]. Сумароков не предлагал эстетического тождества между поэзией Ломоносова и поэзией Пиндара или Малерба; скорее, он приписывал Ломоносову соответствующий статус первопроходца в создании русской литературы. Эпиграмма Сумарокова быстро стала клише в исследованиях, посвященных Ломоносову и русской литературе XVIII века. В свете более поздней вражды, с которой Сумароков относился к Ломоносову, эта строка, вошедшая в его поэтическое наследие, звучит иронично, чего он, вероятно, не подразумевал. См. также [Гуковский 1927: 32–33; Пекарский 1870–1873, 2: 133–134; Reyfman 1990: 59–61, 91].

⁸ Впервые она была переведена на русский язык и опубликована в 1867 году. См. [Ефремов 1867: 131–133]. У. Гарет Джонс утверждает, что эта статья появилась по указанию российских властей в качестве конкретного ответа на «*Voyage en Sibérie*» Ш. д'Отроша (1768), произведение, которое он довольно точно охарактеризовал как «ядовитую клевету» на очевидную политическую, социальную и культурную отсталость России [Jones 1990: 63–64]. М. К. Левитт в работе [Levitt 1998: 56, 62] оспаривает точку зрения Джонса на вдохновение для немецкой статьи, хотя и не предлагает альтернативного объяснения. Ш. д'Отрош, французский астроном, составил свой трехтомник (сборник, который, скорее всего, спонсировался антироссийскими кругами во французском правительстве) после поездки в Россию, которую он совершил в 1761 году, чтобы наблюдать за прохождением Венеры перед Солнцем. В 1770 году Екатерина Великая написала на французском языке подробное опровержение работы Ш. д'Отроша. Озаглавленное «*Antidote*», оно было явно нацелено на тех, кто хотел опорочить Россию в Западной Европе.

переведенная на французский язык в 1771 году, долгое время служила, наряду с работой Шувалова, основным источником о жизни Ломоносова для иностранной аудитории. В немецком эссе значительное место уделено попытке конкретизировать отношения между Ломоносовым и поэтом и драматургом А. П. Сумароковым. Хотя их отношения друг с другом и с В. К. Тредиаковским имели основополагающее значение для формирования репутации русской литературы, они не оказали заметного влияния на восприятие научного наследия Ломоносова⁹. Анонимный автор немецкой статьи, упоминаемый в работе просто как «русский путешественник», считает оду Шувалова важным источником для своего исследования. Однако путь Ломоносова к знаниям с соответствующим акцентом на его раннее усердие и природные способности, которые только росли с возрастом и были тематически важны для рассказа Шувалова, отсутствовали в статье «*Neue Bibliothek*». Рассказы о гомеровских странствиях молодого русского, возможно, имели меньший резонанс среди иностранной аудитории.

Наиболее вдумчивыми ранними исследованиями жизни Ломоносова, в которых подробно рассматривается его научная деятельность, являются «Заслуги Ломоносова в учености» М. Н. Муравьева и «Слово о Ломоносове» Радищева. Работы Радищева и Муравьева, эти увлекательные попытки оценить общий статус Ломоносова как натурфилософа, представляются не только уникальным вкладом в жанр научных биографий сами по себе, но и резко расходящимися ответами на образ Ломоносова как первопроходца русской науки, которые прочно вошли в культурный диалог эпохи. Эти представления о Ломоносове были привиты не только в ходе уже обсуждавшихся процессов.

⁹ Среди лучших путеводителей по обширной теме часто горьких литературных отношений Ломоносова с Сумароковым и Тредиаковским см. [Берков 1936: 92–272; Reyfman 1990: 49–69; Serman 1988: 188–208; Успенский 2008; Живов 1996; Живов 1997]. Рейфман и Живов подходят к посмертному созданию «культа» (термин Живова) Ломоносова и последующей нисходящей траектории авторского рейтинга Тредиаковского и Сумарокова освежающе провокационным образом.

На них также повлияли биографии, написанные известными деятелями, добавившими важные детали, необходимые для дальнейшего роста славы Ломоносова как первого в России «человека науки»¹⁰.

«Ломоносов, Михайло Васильевич», статья Н. И. Новикова, опубликованная в рамках его попытки составить «Опыт исторического словаря о российских писателях» в 1772 году, и «Черты и анекдоты биографии Ломоносова, взятые с его собственных слов Штелином», написанные в 1783 году фон Штелином (самая полная из его нескольких статей о Ломоносове), являлись наиболее влиятельными из исследований XVIII века и вместе с «Жизнью покойного Михаила Васильевича Ломоносова» 1784 года М. И. Веревкина служили до середины следующего столетия важнейшими источниками о жизни Ломоносова¹¹. Учитывая слабое развитие биографической литературы в XVIII веке, причем не только в России, такое внимание к Ломоносову было примечательным¹². Чтобы избежать ненужных повторений, а также

¹⁰ Читайте в связи с этим книгу С. Шейпина [Shapin 1994], представляющую собой реконструкцию того, как натурфилософы стали «людьми науки», а позже учеными.

¹¹ Д. С. Бабкин, Павлова и особенно Рейфман изучили эти биографии. Бабкина больше всего интересовали тонкости их композиции, в то время как работа Рейфман посвящена тому, как они создавали и преувеличивали литературную репутацию Ломоносова. Павлова предположила их потенциальную ценность с точки зрения критики научных работ Ломоносова, но не стала развивать эту линию исследования. См. [Бабкин 1946; Павлова 1962: 3–13; Reyfman 1990: 8–10, 260, 273]. [Мартынов 2011: 320–343] и [Смагина 2011: 227–334] содержат полезные сведения о биографиях Ломоносова, написанных в его эпоху. В. П. Лысцов дает широкий обзор ранней литературы, посвященной Ломоносову, в [Лысцов 1983: 3–69]. Недостатком книги Лысцова, однако, являются ужасно грубые социально-политические категоризации и анализы автора.

¹² Стандартным справочником по опубликованным материалам для России XVIII века и неоценимым источником разрозненной биографической информации остается [Сводный каталог 1962–1975]. Однако следует отметить, что его система классификации не содержит отдельной категории «биографии», возможно, отражая, как отмечал Джонс, «отсутствие биографии как отдельного жанра» в России XVIII века. Это также показывает, что

проиллюстрировать, как эти эссе работали в рамках существующего повествования о жизни Ломоносова и расширили его, тексты Штелина и Веревкина будут обсуждаться вместе. Поскольку биография Ломоносова, написанная Новиковым, скромней, чем две другие, по размеру и не только по нему, она будет рассмотрена отдельно.

В рамках своих долгих усилий по распространению представления о том, что Россия обладает собственными богатыми литературными традициями, в 1772 году издатель и писатель Новиков (1744–1818) опубликовал «Опыт исторического словаря о российских писателях» [Новиков 1987: 119–130]¹³. Статья Новикова о Ломоносове из «Словаря» была перепечатана в трехтомном издании трудов Ломоносова 1778 года, изданном Московским университетом [Ломоносов 1778, 1]¹⁴. Благодаря огромному авторитету в истории русской культуры как ее предмета, так и автора, она неоднократно переиздавалась за два столетия, прошед-

редакторы «Сводного каталога» не восприняли появление биографического жанра в XVIII веке. Статья Джонса завершается, казалось бы, полным перечнем биографий, опубликованных в России в XVIII веке. См. [Jones 1989: 58, 71–79]. Подборку неопубликованных русских мемуаров XVIII века см. в работе [Тартаковский 1991: 244–270].

¹³ Новиков заявил в предисловии к своему словарю, что «поощрением» к его составлению стало то, что он воспринимал лейпцигский материал о русских писателях как «известие... не весьма справедливо, а в других местах пристрасно написанное». Новиков приветствовал появление статьи (в конце концов, это была первая в своем роде статья, посвященная русской литературе), но он также подразумевал, что анонимный «российский путешественник», составивший ее, продемонстрировал неадекватное понимание широкого дыхания русской культуры. И. Ф. Мартынов убедительно утверждал, что Новикова заставили написать свой словарь не только недостатки в немецкой статье, но и необходимость дать русский ответ на творение д'Отроша. См. [Мартынов 1968: 187]. Интересно, что Ломоносов, по мнению д'Отроша, служил исключением из мрачных достижений России в области искусств и наук. Интересующимся «Словарем» Новикова в контексте Просвещения в России будет особенно полезна работа [Leskey 2010].

¹⁴ Практика включения краткой биографии автора в многотомные издания его произведений была установлена, скорее всего, впервые в Англии, в XVII веке. См. [Hall 1999: 3].

шие с момента ее первого выхода в свет. Наше рассмотрение этого эссе будет сосредоточено на анализе научного наследия Ломоносова. У Новикова не было специального образования в области натурфилософии, и маловероятно, что он когда-либо встречался с Ломоносовым. Было высказано предположение, однако, что Новиков был по крайней мере знаком с часто цитируемыми Ломоносовым «Первыми основами металлургии или рудных дел» 1763 года [Островитянов 1958–1964, 1: 232]¹⁵. Кроме того, он был знаком с лицами, близкими к Ломоносову, и хорошо чувствовал интеллектуальную и культурную жизнь того времени.

Большая часть статьи «Ломоносов» Новикова посвящена перечислению «титолов» (адъюнкт, а затем профессор химии в Академии наук) и званий (коллежский, а затем статский советник), которыми обладал его герой. Важным событиям в его жизни соответствуют различные даты (Новиков редко пропускает больше одного года), а также в статью включен неполный список его работ, опубликованных на родине и переведенных за рубежом.

Новиков также включил в нее русскую и латинскую надписи, которые Штелин сочинил для памятника, установленного покровителем Ломоносова Воронцовым над могилой Ломоносова [Новиков 1987: 123–126]. Эта надпись параллельна перечислению Новиковым «титолов» и званий.

Статья Новикова о Ломоносове соответствует общепринятому в то время образцу. Перечислению великих деяний в дальнейшей жизни обязательно предшествовали раннее детство и юность. Хотя Ломоносов был родом из далекой провинции, он, сын рыбака, уже в юности умел читать и писать. Действительно, он рано «прилежал... по врожденной склонности к чтению книг». Новиков отметил, что Ломоносов в подростковом возрасте влюбился в поэзию: «И как по случаю попалася ему псалтир, преложенная в стихи Симеоном Полоцким, то, читав оную многократно, так

¹⁵ По словам авторов, среди читателей ломоносовского руководства по горному делу были Радищев и Дидро. Данные о его публикации в XVIII веке см. в [Сводный каталог 1962–1975, 2: 172].

пристрастился к стихам, что получил желание обучаться стихотворству»¹⁶. Однако в трудах Ломоносова отсутствуют какие-либо упоминания об этом знаменитом просодическом руководстве. Знание Ломоносовым Псалтири в таком месте и в таком относительно раннем возрасте, по-видимому, сигнализировало читателю, как и Новикову, что Ломоносов был необыкновенным ребенком. Новиков продолжил рассказ о том, как Ломоносов узнал, что искусству стихосложения можно овладеть в Славяно-греко-латинской академии в Москве, отправился туда и «с великим прилежанием обучался латинскому и греческому языкам, риторике и стихотворству».

Текст Новикова рассказывает о путешествиях Ломоносова из Москвы в Академию наук в Санкт-Петербурге, а оттуда в Марбург для занятий со «славным бароном Вольфом». В Марбурге «пробыл он четыре года, упражняясь в химии и в принадлежащих к ней науках». Год, проведенный Ломоносовым во Фрайбурге у химика И. Генкеля, был посвящен изучению минералогии и горного дела: «[он] осмотрел все горные и рудопромышленные работы, в горном округе производимые» [Новиков 1987: 119–121]. Новиков не приводит никаких подробностей о науках, которые Ломоносов изучал на этом пути, но образ молодого Ломоносова, происходящего родом из такого негостеприимного места, как Крайний Север России, отправляющегося за границу для учебы у преподавателя такого уровня, как Вольф, и все ради стремления к наукам, передан как поражающий воображение.

Оценивая 25-летнюю службу Ломоносова в Академии наук, Новиков пишет, что «отменна была его охота к наукам и ко всем человечеству полезным знаниям». Он всегда работал, и «стремление преодолевать все случавшиеся ему в том препятствия награждено было благополучным успехом». Новиков был впечатлен владением Ломоносовым языками, столь важными для наук, что

¹⁶ Псалтирь Полоцкого, составленная в 1680 году, долгое время была главным пособием по просодии в России. В своей обширной реконструкции библиотеки Ломоносова Г. М. Коровин предполагает, но не может подтвердить, что Ломоносов, должно быть, был знаком с руководством Полоцкого [Коровин 1961: 6–7, 310–311].

он, с преувеличением, описал как его способность с разными степенями свободы владеть немецким, латинским, французским и греческим (Ломоносов действительно начал изучать греческий язык, но быстро бросил). Кроме того, он подчеркнул, что понижение Ломоносовым сущности русского языка, наряду с обогащением его и, предположительно, его научной лексики, было для того времени совершенно непревзойденным.

Он упражнялся во всех философических и словесных науках, в химии, с ее разными частями; а особливо прилежал к физике экспериментальной, которую и перевел на российский язык [Новиков ссылается на «Вольфианскую экспериментальную физику»]; в механике и в истории нашего отечества [там же].

Хотя Новиков не интересовался теоретической работой Ломоносова в Академии наук или, возможно, даже не знал о ней, он упомянул его работу в минералогическом кабинете Кунсткамеры и подчеркнул его работу над мозаиками. По поводу мозаики в честь Петра Великого (скорее всего, Полтавской битвы), «какой... по сие время в целом свете еще не бывало», он писал, что Ломоносов «окончал сей труд российскими материалами и мастерами, без всякой помощи от иностранных» [там же: 122]¹⁷. Что еще более интересно для наших целей, в последнем абзаце он указал, что Ломоносов «имел переписку со многими учеными людьми в Европе» [Новиков 1987: 130].

¹⁷ Ломоносов более десяти лет эпизодически работал над созданием мозаичного искусства, это было одно из его занятий, о котором наиболее широко отзывались в XVIII веке. Действительно, когда Екатерина II посетила его в 1764 году, в отчете современников подчеркивалось, что она осматривала мозаики Ломоносова для планируемого памятника Петру I. См. «Санкт-Петербургские ведомости», № 48 (15 июня 1764 года). Авторитетное обсуждение мозаик Ломоносова см. в [Макаров 1950: 7–126]. Фон Штелин оставил интересное описание мозаичного искусства в России и роли Ломоносова в его развитии. Заметки Штелина не были обнаружены и опубликованы до тех пор, пока Макаров не поработал над ними в 1950 году [там же: 279–298].

Более ранняя ссылка Новикова на связи Вольфа с Ломоносовым, в дополнение к статусу Ломоносова как «коллеги» Эйлера, о котором знали его читатели, продемонстрировала, что Ломоносов был фигурой, сравнимой с известными западными учеными. Для Новикова он был единственным ученым такого высокого ранга, которого когда-либо производила Россия. Новиков приложил к своей биографии Ломоносова короткое стихотворение (шесть стихотворных строк), написанное Н. Н. Поповским, бывшим учеником Ломоносова, наиболее известным своим переводом «Эссе о человеке» А. Поупа, созданным в честь покойного ученого. Последние две строки гласят: «Открыл натуры храм богатым словом Россов; Пример их остроты в науках Ломоносов» [там же: 129]¹⁸.

Новиков никогда не делает различия между интересом Ломоносова к наукам и его увлечением литературой. На этом раннем этапе развития жанра биографии в России содержание (научное или литературное) работы субъекта не было представлено таким образом, чтобы привязать его к течению жизни, описанной в биографии. Однако без попытки вдумчиво рассмотреть ход жизни Ломоносова за пределами его детских лет мы остаемся с его путешествием к просвещению без реального изучения его интеллектуальной эволюции в процессе пути или после «прибытия». В биографии Новикова отсутствовало множество деталей

¹⁸ Полная стихотворная «Надпись к портрету М. В. Ломоносова» первоначально была напечатана под портретом Ломоносова в первом томе двухтомного издания его собрания сочинений 1757–1759 годов (несмотря на датировку, первый том фактически вышел в 1758 году, а второй в 1765 году). Возникла некоторая путаница относительно ее авторства. В своей биографии Ломоносова Новиков назвал ее создателем Поповского. Однако в конце своего раздела об И. И. Шувалове в том же Словаре он назвал ее автором Шувалова [там же: 249]. Для эрудированного рассмотрения этого вопроса, которое тем не менее все еще оставляет происхождение «Надписи» неоднозначным, см. [Кобеко 1881: 257–258; Пекарский 1870–1873, 2: 625–626]. Письмо Сумарокова Шувалову от 7 ноября 1758 года, приведенное в [Макогоненко 1980: 84, 191], в котором Сумароков указывает, хотя и несколько косвенно, что это стихотворение написал Поповский, по-видимому, еще больше подтверждает его авторство. Пекарский приводит это же письмо, он не делает никаких окончательных выводов.

и забавных историй, которые оживляли образ Ломоносова в очерках Штелина и Веревкина. В «Ломоносове» Новикова образ ученого составили именно поиск знаний и «станции», посещенные им на пути, где была получена большая часть этих знаний. Псалтирь, Вольф, химия и Академия наук были важными символами для аудитории Новикова.

В литературе стало прописной истиной, что со времен так называемой научной революции и до недавнего времени воспоминания о натурфилософах и собранные о них анекдоты во многом определяли то, как заинтересованная публика воспринимала их и научное сообщество, которое они представляли¹⁹. Впечатляющие научные достижения были тесно связаны с тем, что натурфилософ обладал уровнем добродетели и/или героизма, измеряемым в эпических пропорциях. Это имело основополагающее значение для усилий зарождающегося научного сообщества по установлению определенной степени легитимации в обществе. Образ Бойля долгое время зависел от крайне идеализированных описаний его жизни, составленных вскоре после его смерти, которые по сей день остаются влиятельными источниками. Исследуя ранние представления о Бойле (возможно, наиболее влиятельной была проповедь Г. Бернета), М. Хантер и С. Шейпин убедительно описали, как его внешне безупречная жизнь была представлена в качестве модели того, что значило быть ученым в Англии XVII века [Hunter 1996: 115–117, 133–134; Hunter 1994: XI–C; Shapin 1994: 130–192]²⁰.

Если требование подчеркивать достоинства Бойля оказало довольно нездоровое влияние на попытки составить более «объективный» отчет о его жизни, в случае Ньютона, который вытеснил Бойля в качестве идеального типа в XVIII веке, ранние возвышенные портреты Ньютона (анекдоты Дж. Кондуитта, хвалеб-

¹⁹ См. предисловие к [Shortland, Yeo 1996].

²⁰ В сборник [Hunter 1994] включены тексты нескольких автобиографических работ, а также биографических работ, написанных современниками. Интересный пример построения репрезентативного образа ученого в более современную эпоху см. в [Cantor 1996: 171–191].

ная речь Фонтенеля и статья Т. Берча были одними из самых важных) объединились с непоколебимостью его научной работы, чтобы создать почти недостижимый героический образ. Исследования Р. Холла и Р. Хиггитт, посвященные основополагающим биографиям Ньютона, убедительно свидетельствуют о том, что предпринятые в XIX веке попытки представить более сбалансированный взгляд на жизнь Ньютона рассматривались как жестокое нападение на национальный символ [Hall 1999: 180–192; Higgitt 2007: 19–127]²¹. В России Ломоносов стал изображаться как символ, столь же важный для своего народа, если не для всего мира (этому заявлению предстояло прозвучать в советскую эпоху), каким Ньютон был для народа Англии. Самопрезентация Ломоносова послужила исходным нарративом. Основываясь на биографии Новикова, Веревкин и Штелин послужили Ломоносову своего рода Кондуиттом, Фонтенелем и Берчем.

Переводчик и драматург, связанный с Московским университетом, Веревкин (1732–1795), директор гимназии в Казани, член-корреспондент Академии наук и член Императорской Российской академии (основанной в 1783 году и посвященной изучению русского языка и литературы), написал свою биографию Ломоносова, «Жизнь покойного Михаила Васильевича Ломоносова», для издания собрания сочинений Ломоносова 1784–1787 годов [Ломоносов 1784–1787, 1: III–XVIII]²². Встречались ли когда-либо Ломоносов и Веревкин, точно не установлено. Однако Веревкин какое-то время был тесно связан с первым куратором Московского университета Шуваловым, который, как можно предположить, был ценным источником информации о Ломоносове. «Жизнь Ломоносова» Веревкина была, наряду с сочинением Новикова, главной опубликованной биографической работой о Ломоносове в России вплоть до следующего столетия.

²¹ См. также [Haynes 1994: 50–65; Yeо 1998: 270–279].

²² Эту биографию, которая много раз переиздавалась, также можно найти в [Павлова 1962: 42–51]. Биографических сведений о Веревкине очень мало. Наиболее полным остается то, что опубликовано в статье [Кореакова 1916] (хотя она все еще недостаточна). См. также [Стенник 1988].

Фон Штелин (1709–1785), который пришел в Санкт-Петербургскую академию наук в 1735 году из Лейпцигского университета «адъюнктом немецкого стиля красноречия и стихотворства, а также для изобретения иллюминаций, фейерверков и прочего, и для дальнейшего упражнения в науках и художествах» [Штелин 1990: 8], провел следующие полвека в России (в 1737 году он был назначен профессором красноречия и поэзии и действительным членом Академии наук) и сделал замечательную разностороннюю карьеру²³. Автор од, переводчик, редактор академических изданий (в частности, «Санкт-Петербургских ведомостей»), наставник будущего императора Петра III, в течение длительного времени директор художественных отделов Академии наук и постановщик многих спектаклей, которые были неотъемлемой частью придворных церемоний, Штелин пребывал в центре российской интеллектуальной жизни в течение пяти десятилетий. Кроме того, в течение примерно 25 лет он был близким коллегой и иногда сотрудником Ломоносова в Академии наук²⁴.

²³ Деятельность Штелина еще не получила того внимания, которого заслуживает, но исследование Пекарского о Штелине может привлечь внимание к этой личности [Пекарский 1870–1873, 1: 538–567]. См. также биографический очерк, приложенный к [Штелин 1990: 7–32], и [Харера 2011]. Кракрафт исследует взгляды Штелина на русское изобразительное искусство в своей работе [Cracraft 1997: 204–208, 216–217]. Кракрафт также добавил в нее краткий очерк жизни Штелина [Там же: 203–204]. Ф. Д. Лиштенан [Lichtenhan 2002] подчеркивает часто пренебрежительное отношение Штелина к своим коллегам по Академии, а также его усилия по обеспечению себе все более высокого статуса в официальном Санкт-Петербурге.

²⁴ Много времени было посвящено расследованию того, был ли Штелин «другом» или «врагом» Ломоносова. Кажется очевидным, что необходимость назначить Штелину роль одного из «гонителей» Ломоносова удобно вписывается в лейтмотив литературы, которая поддерживает убеждения в том, что враги помешали Ломоносову завершить свою работу и служить народу. Пекарский представил скудные доказательства в виде письма Ломоносова в Канцелярию Академии наук, документа, интерпретируемого очень вольно в более поздних отчетах, который указывает на то, что в 1750-х годах Ломоносов и Штелин поссорились из-за организации фейерверков [Пекарский 1870–1873, 1: 547–548]. См. также [Ломоносов 1950–1983, 10: 350]. Макаров, ссылаясь на записи, использованные потомком Штелина К. Штелином в публикации 1926 года, показал, что в 1763 году Штелин и некоторые из его коллег в администрации Академии наук, возможно, пытались вытеснить

Хотя связи Штелина с Ломоносовым, возможно, были наиболее близкими в области проектирования пиротехнических шоу и написания церемониальных од²⁵, они также оба были очень сильно вовлечены в административные дела Академии наук²⁶. Написанная с позиции куда более выигрышной, чем любая другая биография Ломоносова, работа Штелина «Черты и анекдоты биографии Ломоносова, взятые с его собственных слов Штелином»²⁷ представляет собой богатую комбинацию личных

Ломоносова из Академии [Макаров 1950: 282]. Ввиду их резко отличающихся аргументов и целей, Павлова и Рейфман считали необходимым, чтобы Штелина не называли «другом» Ломоносова [Павлова 1962: 8–9; Reyfman 1990: 260]. Для тщательного рассмотрения этого вопроса, которое может опровергнуть объяснение Макаровым отношений Штелина и Ломоносова, пожалуйста, обратитесь к [Штелин 1990: 111–116].

²⁵ О широком участии Ломоносова с 1747 по 1755 год в производстве фейерверков, иллюминаций и написании сопутствующего литературного сопровождения (в основном в виде стихотворных надписей для пиротехники) свидетельствует его пространное творчество в этой области. См. [Ломоносов 1950–1983, 8: 194–579, 933–1043]. Большая часть работы Ломоносова над придворными зрелищами была выполнена либо в тесном сотрудничестве со Штелином, либо под его руководством. См. также [Павлова 1960; Maggs 1976: 28–29, 34; Röhling 1983: 95–96; Зелов 2010: 239–251]. Г. С. Смит убедительно доказывает, что раннее поэтическое творчество Ломоносова находилось под опекой немецких ученых, главным образом Штелина, в Академии наук. См. его статью [Smith 1988: 366–367]. С другой стороны, в работе [Пумпянский 1983: 3–44] делается попытка продемонстрировать, что фундаментальные поэтические предпосылки творчества Ломоносова были сформулированы совершенно независимо от каких-либо немецких влияний.

²⁶ Из-за усиливающихся недугов Шумахера администрация Академии наук была реорганизована в начале 1757 года. Ломоносов и Тауберт, а вскоре за ними и Штелин, были назначены в руководящую ею канцелярию. В течение следующих нескольких лет, как показано в [Ломоносов 1950–1983, 10: 194–316, 649–737, passim], Ломоносов и Штелин были погружены в управление Академией (эти документы относятся к их работе в канцелярии и являются лишь частичным описанием этого). См. также [Радовский 1961: 179–221]. Радовский, что, возможно, неудивительно в монографии, столь решительно восхваляющей роль Ломоносова как выдающегося организатора российской науки XVIII века, уделяет меньше внимания ценности заслуг Штелина.

²⁷ Воспоминания Штелина о Ломоносове были впервые опубликованы в «Москвитянине» (1850. № 1. С. 1–14). До этого они широко распространялись в рукописном виде.

воспоминаний, которые резко контрастируют с сухим перечислением дат и работ, характерным для новиковского «Ломоносова». Это также всеобъемлющее введение в раннюю жизнь Ломоносова и его путешествия в Москву, Петербург, Марбург и по различным немецким землям за знаниями.

В биографиях Веревкина и Штелина основное внимание уделяется годам, предшествовавшим времени, когда Ломоносов стал профессором Академии наук. Эти биографы были полны решимости объяснить читателям, как человек столь скромного происхождения оказался в числе выдающихся личностей своего времени. Стоит повторить, что это было характерно для биографий ученых XVIII века. По существу, анализ работы Ломоносова в Академии наук Веревкиным и Штелином едва ли полнее, чем анализ Новикова. Однако дополнительная информация о его раннем интеллектуальном развитии (имеется в виду время пребывания за границей) и забавные истории (в основном связанные с тем, как ему удавалось успешно выходить из трудных положений), вокруг которых строилась структура их эссе, эмоционально связывали жизнь Ломоносова и обстановку, в которой она протекала, с результатами его работы и с его аудиторией.

Долгое время предполагалось, что «Черты и анекдоты» Штелина были той биографией, которая украсила издание собрания сочинений Ломоносова 1784 года. Авторство Веревкина оставалось неизвестным; действительно, некоторые считали, что он был только переводчиком произведения Штелина. Эта очевидная ошибка была исправлена, и в последние десятилетия заслуги Веревкина были признаны²⁸. Однако ясно, что биография Ште-

²⁸ Тот факт, что в начале своих записок Штелин указал, что они были заказаны княгиней Дашковой для Собрания сочинений Ломоносова, которое должно было выйти в 1784 году, естественно, и породил путаницу. Пекарский, опытный ученик Ломоносова, считал, что это эссе действительно было работой Штелина и что оно было переведено Веревкиным с немецкого [Пекарский 1870–1873, 2: 259]. М. П. Погодин, который впервые опубликовал рукопись Штелина 1783 года о Ломоносове в «Москвитянине», пребывал в убеждении, что ее автором на самом деле был епископ Дамаскин (до пострижения Д. Е. Семенов-Руднев), ректор Славяно-греко-латинской академии

лина 1783 года, которая началась с его непроизнесенной хвалебной речи в честь Ломоносова 1765 года, оказала заметное влияние на эссе Веревкина. Веревкин не только ссылался в своей работе на Штелина, но и позаимствовал у него целые отрывки²⁹. Веревкин, однако, привел определенные «факты», отсутствующие у Штелина, которые оказали значительное влияние на представления о поразительно раннем развитии Ломоносова — подростка, живущего на Севере. На что Веревкин больше всего опирался в биографии Штелина, так это на личные воспоминания, которые сыграли столь важную роль в формировании образа Ломоносова³⁰. Эти «воспоминания» придали некоторую плоть хронологическим очертаниям официальной жизни Ломоносова.

Штелин и Веревкин оба отмечают плебейское происхождение Ломоносова как сына рыбака из северных районов страны. Скромное детство (его отец на самом деле был довольно зажиточным государственным крестьянином) будет сильно преувеличено в более поздней историографии. Сопровождая своего отца в рыболовных экспедициях в Белое море и к берегам Кольского полуострова, Ломоносов продемонстрировал обоим авторам ранний пример трудолюбия, которое стало ассоцииро-

и редактор сочинений Ломоносова, изданных Московским университетом в 1778 году. См. [Штелин 1850: 1]. На основании архивных свидетельств, указывающих на авторство Веревкина, дополненных текстологическими сравнениями работ Штелина и Веревкина, Д. С. Бабкин в 1946 году недвусмысленно заявил о правах на «Жизнь Ломоносова» от имени Веревкина [Бабкин 1946: 12–27]. К. Харер и Г. И. Смагина недавно вернулись к этому вопросу. Харер считает, что Веревкин служил главным образом в качестве (неблагодарного) переводчика эссе Штелина [Харер 2011: 188–190]. Смагина [Смагина 2011: 289–334], опираясь на Харера, довольно двусмысленно постулирует, что биография Штелина в значительной степени представляет собой биографию Веревкина, хотя и с существенными дополнениями и изменениями Веревкина. Доказательства Бабкина, подтверждающие в основном ответственность Веревкина за композицию, остаются авторитетными.

²⁹ «Деривативные свойства», характерные для биографии XVIII века, следует ожидать от все еще зарождающегося жанра [Korshin 1974: 517].

³⁰ Штелин также был автором или собирателем многочисленных рассказов о Петре Великом [Staehtlin 1785].

ваться с его именем [Штелин 1850: 1; Веревкин 1784: III]. В своих более поздних работах Ломоносов смутно упоминал о достопримечательностях, увиденных во время путешествий на Север. Это часто выдвигалось в качестве доказательства раннего увлечения Ломоносова природой как первого шага на его пути к наукам.

Согласно рассказу Штелина, повторенному Веревкиным, Ломоносов в возрасте десяти лет «учился... читать и писать у священника своего села», который, «не зная латинского языка», ограничивался обучением юного Ломоносова по «церковным книгам». Но Ломоносов хотел учиться больше, и ему сообщили, что для «приобретения большого знания и учености требуется знать язык латинской», который в то время он мог изучать в Москве, Киеве или Петербурге. Также было заявлено, что «простой арифметике [или вычислениям] выучился он сам собою». Эта ранняя ссылка на математику, предложенная в различных формах как Штелином, так и Веревкиным, стала еще одним источником значительных спекуляций о происхождении научных пристрастий Ломоносова.

Все это может показаться просто признаком любознательного подростка, но для человека, вышедшего из таких крайне скромных условий, подразумевается, что любопытство такой степени должно было быть однозначным исключением из нормы. Штелин не предоставил никакой дополнительной информации о жизни Ломоносова до его поездки в Москву. Веревкин, однако, пишет, что Ломоносов в доме соседа (Христофора Дудина)

увидел... в первый в жизни своей раз недуховные книги. То были старинная славенская грамматика [составленная М. Смотрицким в начале XVII века] и арифметика [учебник математики, в котором большое внимание уделяется навигационным вопросам, автором которого был Л. Магницкий в 1703 году].

В конечном счете Ломоносов унаследовал их после смерти Дудина, и «от сего самого времени не расставался он с ними никогда, носил везде с собою и, непрестанно читая, вытвердил

наизусть». Позже он будет называть их «вратами своей учености» [там же: IV]³¹.

«Славянская грамматика» была, вплоть до издания «Российской грамматики» Ломоносова в 1757 году, основным руководством по языку и риторике в России. Помещенная рядом с «Арифметикой» Магницкого, которая долгое время считалась главным опубликованным введением в математику в России XVIII века³², и «Псалтирю» Симеона Полоцкого, которую, по

³¹ Вережкин также пишет, что Ломоносов в течение двух лет, с 13-летнего возраста, был связан с религиозными диссидентами (раскольниками), которые обитали в его регионе (на Крайнем Севере проживало большое количество раскольников). Для любознательного молодого человека, да еще при наличии таких активных диссидентов, действующих в той области, где он вырос, подобный интерес вряд ли был неожиданным. Позже, в основном советские историки, стремясь выставить Ломоносова почти пожизненным материалистом, пытались опровергнуть это утверждение Вережкина. О тщательной попытке преуменьшить кратковременное увлечение Ломоносова см. [Морозов 1962: 77–84].

³² Действительно, Магницкий долгое время пользовался уважением в истории российской науки и культуры. Соответственно, попытки представить его биографию в менее агиографическом свете были редки. Однако недавно Т. Г. Киприянова оспорила его статус единственного автора «Арифметики» в [Киприянова 1988]. Она утверждает, что текст был скорее результатом коллективного труда и Магницкий играл в нем относительно незначительную роль. Потенциально более пагубным для репутации Магницкого является исследование У. Ф. Райана [Ryan 1990], где автор убедительно, хотя и не до конца обоснованно, пытается подтвердить, что именно неопубликованная математическая рукопись Г. Фаркухарсона (шотландца, который прослужил 40 лет в России, начиная с 1699 года), а не «Арифметика», была основным пособием в России XVIII века. Кроме того, Райан утверждает, что Фаркухарсон, благодаря своей организационной и педагогической деятельности сначала в Московской школе математики и навигации, а затем в Военно-морской академии в Санкт-Петербурге, сыграл куда большую роль в создании основы российского научного образования, чем Магницкий. Возможно, доказывая все еще тотемическую природу имени Магницкого, вышеупомянутые утверждения Райана и Киприяновой либо игнорируются, либо неадекватно рассматриваются в недавнем, но в остальном очень подробном исследовании «Арифметики» Магницкого в работе [Лаврентьев 1997: 78–80]. Ревизионистские позиции Райана и Киприяновой не рассматриваются в книге [Okenfuss 1995: 75–76], в которой по-прежнему подчеркиваются важность «Арифметики» в истории российской науки, а также ключевая роль Магницкого в распространении математических знаний.

утверждению Новикова, Ломоносов читал в юности, она рисует перед нами впечатляющее начало овладения знаниями молодым Ломоносовым. То, что Ломоносов никогда не упоминал «Псалтирь» в своих трудах, уже установлено. Имя Магницкого также не встречается среди многочисленных работ Ломоносова³³. Ломоносов действительно использовал «Грамматику» Смотрицкого в дальнейшей жизни³⁴, однако невозможно подтвердить, что он знал ее в юности. Был Ломоносов знаком с этими материалами в подростковом возрасте или нет (а это кажется маловероятным), не имеет первостепенного значения. Прочтение им трех текстов, жизненно важных для эволюции русской культуры XVII и XVIII веков, было основополагающим компонентом биографии Ломоносова на протяжении 200 лет. Чего ожидали от фигур мифологического или почти мифологического уровня, так это ранних признаков величия, и это были его первые примеры.

Значительное количество усилий было потрачено на попытки доказать, что при жизни Ломоносова Крайний Север России был наводнен всевозможными вольнодумцами и иностранцами и, следовательно, богат зарождающимися научными идеями³⁵. Казалось бы, Ломоносов, выросший в области явного интеллектуального брожения, в процессе впитывания в себя знаний усвоил элементы натурфилософии. Этот тезис в значительной степени зависит от представлений, выдвинутых Новиковым, Штелином и Веревкиным. Однако все, что можно с уверенностью утверждать, это лишь то, что, учитывая его поступление в Славяно-греко-латинскую академию, он был в определенной степени

³³ Коровин считал, что знакомство Ломоносова с Магницким можно просто предположить, хотя он и не привел никаких доказательств своего предположения [Коровин 1961: 6–7, 65].

³⁴ Ломоносов цитировал Смотрицкого в таких лингвистических работах, как «Письмо о правилах российского стихотворства» и «Российская грамматика». См. [Ломоносов 1950–1983, 7: 10–11, 412, 416, 597, 691].

³⁵ К значительным исследованиям о Ломоносове и Севере относятся [Голубцов 1911; Морозов 1962: 1–99; Морозов 1975: 331–383]. См. также [Меншуткин 1911б: 1–9; Шубинский 2006: 13–62].

грамотен³⁶. Ломоносов начал свое четырехлетнее (1731–1735) обучение в Славяно-греко-латинской академии в Москве после «тайного» отъезда, который с тех пор принял форму эпического бегства из дома и деревни его отца. Веревкин и Штелин утверждают, что единственной целью в этой смелой поездке в город, где он «не имел ни одного знакомого человека», было желание получить образование [Штелин 1850: 2; Веревкин 1784: IV–V]. Как представитель населения, платящего подушный налог, Ломоносов не мог уехать без паспорта и разрешения своих деревенских властей. Хотя уже давно было подтверждено, что они у него имелись³⁷, этот факт едва ли вызвал хотя бы тень сомнения в мифологии, в которой до сих пор царит легенда о тайном побеге Ломоносова.

Сын крестьянина, как рассказывает Веревкин (и это давно установленный факт), чтобы поступить в Славяно-греко-латинскую академию, должен был солгать о своем происхождении; так, Ломоносов утверждал, что приходится сыном провинциальному дворянину. Когда примерно через три года обман Ломоносова был раскрыт, пишет Веревкин, Феофан Прокопович (влиятельный священнослужитель и бывший близкий советник Петра Великого), который знал и ценил способности Ломоносова, защитил его от последствий, сказав: «Не бойся ничего... я твой защитник» [Веревкин 1784: V–VI]³⁸. Как показывают Штелин и Веревкин, Ломоносов в своем рвении преумножать свои знания был готов рискнуть всем. Социальные и юридические препят-

³⁶ Существует также фрагментарный документ, своего рода юридический договор, написанный рукой Ломоносова, датированный 4 февраля 1726 года. См. [Голубцов 1911: 9; Ломоносов 1950–1983, 10: 479].

³⁷ «Известие Гурьева, Земскаго в Куростровской волости, человека разумнаго и престарелаго» [Лепехин 1805: 302]. Гурьев был из того же района, что и Ломоносов, и, по-видимому, помнил его. В 1788 году он предоставил фрагментарную информацию как о семье Ломоносовых, так и о законном выезде Ломоносова с Курострова натуралисту Н. И. Озерецковскому, который затем опубликовал ее в вышеупомянутом томе.

³⁸ Несмотря на многочисленные исследования по этому вопросу, не было доказано, что Ломоносов и Прокопович когда-либо встречались.

ствия были преодолены, и могущественный покровитель, который признал качества и потенциал молодого человека, помог ему в его начинаниях. «В монастыре [Славяно-греко-латинская академия располагалась в Заиконоспасском монастыре] обучался Ломоносов с великою охотою и оказал примерные успехи», — настолько, комментируют Штелин и Веревкин, что «по прошествии первого полугодия перевели его из нижнего класса во второй, в том же году из второго в третий класс [первые классы были сосредоточены на латыни, немного церковнославянского и немного истории, как церковной, так и общей]» [там же: VI; Штелин 1850: 3].

Веревкин, проводивший исследования в Славяно-греко-латинской академии, представил относительно полный список курсов и преподавателей Ломоносова в Академии. В «свободные часы, вместо того, что другие семинаристы проводили их в резвости», Ломоносова можно было найти в библиотеке Академии, где, по словам Веревкина, «попалось в руки ему малое число философских, физических и математических книг» [названия не указаны]. Не найдя в библиотеке достаточно, чтобы «насытить жадности его к наукам», Ломоносов попросил разрешения поступить в Киевскую академию «учиться философии, физике и математике» [Веревкин 1784: VI–VII; Штелин 1850: 3]³⁹. К сожалению, заявляет Штелин, он нашел в Киеве лишь «одни сухие бредни вместо философии, но совершенно никаких материалов для физики и математики». Не найдя в курсах Киевской академии ничего интересного, Ломоносов часто посещал ее библиотеку, где «за недостатком других книг прилежно перечитывал... летописи и творения святых отцов», а затем быстро вернулся в Москву. Вскоре после возвращения Ломоносова в Москву Славяно-греко-латинская академия, отвечая на просьбу Академии наук о студентах, «которые бы уже разумели по-латыни, для учения физи-

³⁹ Долгое время о достоверности визита Ломоносова в Киев существовал спор. Основываясь на надежных архивных документах, Г. Н. Моисеева убедительно доказала, что он действительно посещал Киевскую академию во время учебы в Славяно-греко-латинской академии [Моисеева 1971: 75–77].

ки и математики у тамошних профессоров», отправила 12 своих учеников, включая Ломоносова, в Санкт-Петербург. Веревкин и Штелин рассказывают нам, что в 1734 году (фактически в 1735 году) Ломоносов, услышав о возможности продолжения учебы в Академии наук, настойчиво просил включить его в эту группу.

Биографии Веревкина и Штелина убедительно выражают идею о том, что энергия и врожденные способности Ломоносова, которые, конечно, проявились уже в раннем детстве, расцвели настолько, насколько это было возможно в интеллектуально замкнутых стенах Славяно-греко-латинской академии. Несомненно, что в Москве Ломоносов приобрел знания латыни, которые были жизненно важны для научной карьеры, наряду с овладением церковнославянским языком, а также получил некоторое знакомство с церковной литературой и находящимся на излете своего влияния аристотелизмом⁴⁰. Что касается увлечения Ломо-

⁴⁰ Мало что известно о содержании курса натурфилософии, преподаваемого в Славяно-греко-латинской академии во время пребывания там Ломоносова. В. П. Зубов, лучше всех изучивший эту тему, утверждал, что он не содержал ничего благоприятного с точки зрения современных представлений о физике или экспериментальной науке [Зубов 1954: 5–9, 46–52]. См. также [Смирнов 1855: 110–184, *passim*]. Мои собственные исследования научных трудов и библиотеки Ломоносова не выявили ничего, что указывало бы на его интеллектуальный долг в области натурфилософии перед Славяно-греко-латинской академией. Первое десятилетие существования Академии (с конца 1680-х до 1694 года ею руководили братья Лихуды, Иоанникий и Софроний) является предметом диссертации Н. А. Хриссидиса [Chrissidis 2000]. Хриссидис утверждает, что в то время, когда братья Лихуды руководили Академией, ее учебная программа «знакомила студентов как с теоретическими основами натурфилософии, ее вокабуляром и терминологией, так и со многими последними достижениями в астрономии, хотя и в беглом виде, и с очень элементарными понятиями математики», и, следовательно, Академия «может считаться первой попыткой институционального и официального образования в области науки в России» [там же: 267]. Но то, что могло быть правдой в отношении курсов, предлагаемых Академией в конце XVII века, — а выводы Хриссидиса сформулированы весьма условно, — явно не имело места в 1730-х годах. Образовательные изменения, или реформы, проведенные во время правления Петра Великого, резко изменили и уменьшили роль Славяно-греко-латинской академии в воспитании элиты.

носова часто упоминаемыми «физикой и математикой», его происхождение невозможно точно определить. Он не получил никакого представления об этих предметах ни в Московской, ни в Киевской академиях.

Даже интересы Ломоносова в области чтения, которые занимают центральное место в работах Штелина и Веревкина, не могут быть восстановлены из-за пожара 1737 года, уничтожившего необходимые записи в Славяно-греко-латинской академии. При написании своих воспоминаний о Ломоносове Штелин и Веревкин, наряду с их в целом правильным «скелетным» описанием его жизни, также сигнализировали своим читателям, что впоследствии великое значение Ломоносова как ученого выросло из этих ранних семян. Он с легкостью преодолевал препятствия, мешавшие ему добиться успеха. Идея преодоления интеллектуальных препятствий чудесно работала в мифологии в сочетании с экономическими и личными трудностями в отрочестве и в Славяно-греко-латинской академии, которые Ломоносов описывал в своих письмах Шувалову.

Тот Ломоносов, которого Штелин и Веревкин изобразили путешествующим в Москву, Киев и Санкт-Петербург в надежде получить больше знаний, полностью соответствует образцу, которому следовали жизнеописания многих ранних натурфилософов. Самые замечательные интеллектуальные путешествия Ломоносова происходили в Германии. Однако до этого он был прикреплен на несколько месяцев к гимназии, существовавшей при Академии наук. Штелин и Веревкин ошиблись, написав, что Ломоносов пробыл в Академии два года, причем Штелин сообщал, что «занимался он с большим старанием физикою и математикою, также и поэзиею» и «в особенности любил заниматься минералогиею и физическими экспериментами» [Штелин 1850: 3]⁴¹, хотя ни

⁴¹ Штелин прибыл в Академию раньше Ломоносова, в 1735 году. Его ошибка, вероятно, связана с тем, что в то время он не обратил внимания на присутствие молодого русского ученика. Ломоносов, возможно, также дезинформировал Штелина. За исключением дополнительной ссылки на изучение Ломоносовым химии, отчет Веревкина о пребывании Ломоносова в гимназии по существу такой же, как у Штелина [Веревкин 1784: VII–VIII].

одна из его ученических работ не сохранилась. Ломоносов очень короткое время учился физике у Г. В. Крафта и математике у В. Е. Адодурова, который был первым русским адъюнктом в Академии [Ченакал и др. 1961: 31]. То, что Ломоносов усвоил в качестве основ натурфилософии за эти месяцы, невозможно определить, и, скорее всего, усвоил он очень мало. Не было обнаружено никакой информации, даже самого косвенного характера, которая помогла бы пролить свет на этот вопрос.

Остро нуждаясь в специалистах в области металлургии и горного дела, Академия решила отправить трех студентов (Ломоносова, Виноградова и Райзера) на стажировку к химику И. Генкелю во Фрайберг. Однако сначала им нужно было овладеть основами наук, и было решено, что некоторое время они будут учиться у хорошего друга Академии, «славного философа и математика Христиана Вольфа» [Штелин 1850: 3; Веревкин 1784: VIII].

Хотя Штелин и приводит несколько экзегез литературных произведений Ломоносова, созданных за пять лет его пребывания за границей, Штелин, а через него и Веревкин, поместили годы учебы Ломоносова в более широкие рамки повествования о молодом русском, странствующем по чужим землям, часто направляющемся просто туда, куда его ведут любопытство или обстоятельства. Во время путешествия врожденные способности и личные интеллектуальные интересы Ломоносова позволили ему овладеть множеством научных знаний, которые так хорошо послужили ему в дальнейшей жизни. Особенности обучения Ломоносова у Вольфа не были жизненно важными и не рассматривались: решающим фактором было то, что Ломоносов стал его учеником. Тонкости науки редко затрагивались в ранних биографиях натурфилософов — вопрос о том, разделял Ломоносов взгляды Вольфа или нет, не был предметом споров среди биографов XVIII века.

По сути, теоретическое образование Ломоносова в значительной степени подошло к концу после того, как он покинул Марбург. Только много позже, когда имя Вольфа стало несколько запятнанным в России, научная подготовка Ломоносова в Мар-

бурге стала внушать подозрения. После трех лет обучения у Вольфа и «по совету сего славного мужа» Ломоносов переехал во Фрайберг, чтобы «учиться практической металлургии и горному делу» [Штелин 1850: 3; Веревкин 1784: VIII–IX]. Ему также было поручено наблюдать за горнодобывающей промышленностью в Саксонии. Веревкин и Штелин утверждают, что Ломоносов вернулся в Марбург через год (или около того) чтобы продолжить изучение естественных наук. На самом деле он, в разгар серьезных ссор с Генкелем и без разрешения Академии наук, покинул Фрайберг весной 1740 года, еще до окончания учебы. Несмотря на их конфликты, Генкель направил в Академию наук положительную оценку успехов Ломоносова, отметив, что Ломоносов хорошо усвоил «теоретически и практически химию, преимущественно металлургическую... и способен основательно преподавать механику, в которой он, по отзыву знатоков, очень сведущ»⁴².

С отъездом Ломоносова от Генкеля начался год авантюрных путешествий по немецким землям и Голландии, когда он, опасаясь, что Академия будет разгневана его действиями, искал денег и поддержки для своего возвращения в Петербург. Этот период жизни Ломоносова был отмечен крайними материальными лишениями и тайным браком [Штелин 1850: 4–5, 8–10; Веревкин 1784: IX–X, XII–XV].

Несколько месяцев, по-видимому, было потрачено на то, чтобы «побывать на Гессенских рудниках», где он «познакомился со славным горным советником и металлургом г. [Йоханом] Крамером» и «много успел в практической металлургии» [Штелин 1850: 4–5; Веревкин 1784: IX]. Оттуда Ломоносов отправился в Голландию, к российскому императорскому послу, желая облегчить свое положение. В пути, после того как он слишком много

⁴² Штелин и Веревкин не ссылаются на это письмо, которое перепечатано в [Ломоносов 1950–1983, 10: 797]. Вполне вероятно, что, желая обеспечить постоянный приток российских студентов, Генкель, возможно, не хотел огорчать администрацию Академии наук, отрицательно отзываясь о способностях Ломоносова, и тем самым прерывать финансовую поддержку с ее стороны.

выпил в гостинице, он был зачислен в прусскую армию [Штелин 1850: 5–7]⁴³.

Штелин уделяет значительное внимание этой истории и с волнением рассказывает о побеге Ломоносова. Сначала Ломоносов отправился в Утрехт, а затем в Амстердам, где не нашел никого, кто захотел бы ему помочь. Его путешествия, наконец, подошли к концу, когда, проведя еще какое-то время в Марбурге, он летом 1741 года сел на корабль, отправлявшийся в Санкт-Петербург. Штелин упоминает яркую деталь, пересказанную Веревкиным, о том, как во время этого путешествия домой Ломоносову приснился сон, в котором он увидел своего отца мертвым на острове в Белом море. Затем нам сообщается, что вскоре после прибытия Ломоносова тело его отца действительно было найдено на упомянутом острове [Штелин 1850: 8–9; Веревкин 1784: XIII].

Эти истории о приключениях, опасностях и вещих снах, которые ни в коем случае нельзя рассматривать как истории, пережитые обычным смертным, идеально изображают молодого студента в пору его возмужания и становления как героя. Даже столкнувшись с большим давлением, которое могло сбить с пути менее достойного человека, Ломоносов, как подчеркивается в рассказах Штелина и Веревкина, не отказался от своего призвания, которое видел в науке. В этих мемуарах есть приятное сочетание метафор паломничества и любопытства, сосуществующих не в оппозиции друг к другу, а, скорее, дополняющих друг друга в их мифическом описании взросления молодого ученого. Происхождение написанных Штелином и Веревкиным биографий Ломоносова от духовных рассказов о путешествиях очевидно; однако они явно светские по своему содержанию и представляют собой самые ранние письменные жизнеописания натурфилософа, появившиеся в России. И в отличие от таких оценок современников, какие мы находим у Новикова, в этих работах интересы Ломоносова в области химии, физики и металлургии, среди прочего, перепле-

⁴³ Веревкин воспроизвел эту историю в [Веревкин 1784: X–XII]. Сам Ломоносов никогда не писал о своей военной «службе». Однако он заявлял, что во время путешествий ему довелось пережить очень тяжелые инциденты.

таются с личными деталями таким образом, что читатель может начать ощущать связь между его интеллектуальной жизнью и его биографией.

Ломоносов также намекал на эту связь в отчете, отправленном им за несколько месяцев до отъезда из Голландии И. Д. Шумахеру в Академию наук. К местам, через которые он прошел во время своих скитаний, добавились Кассель, Лейпциг, Франкфурт, Гаага и Роттердам⁴⁴. Его отчаянное финансовое положение и различные обстоятельства, такие как враждебность Генкеля по отношению к нему, которые, казалось, объединились, чтобы помешать ему получить образование, описаны очень подробно. Ломоносов объяснил Академии, которая была в недоумении относительно его местонахождения в последние несколько месяцев, сколько «опасностей и нужды» он претерпел, о которых «страшно даже вспомнить». Он писал, что в то время жил «инкогнито» в Марбурге и даже, несмотря на все эти трудности, упражнялся в алгебре, «намереваясь применить ее к химии и теоретической физике» [Ломоносов 1950–1983, 10: 430]. Две биографии становятся несколько поверхностными, когда речь заходит о последних 25 годах жизни Ломоносова в Академии наук. Они скорее повторяют ранги и названия работ, чем рассказывают о его яркой жизни. Штелин отметил, что в 1746 году (на самом деле это был 1745 год) Ломоносов был назначен профессором химии и экспериментальной физики (на самом деле Ломоносов занимал только кафедру химии). Он «вовсе перестроил академическую лабораторию [первую в России в 1748 году] по новейшему и лучшему расположению; ...многие делал эксперименты и новые открытия; также... академические сочинения писал и читал в собраниях академических» [Штелин 1850: 10; Веревкин 1784: XV]. Далее оба автора подчеркивали удивитель-

⁴⁴ Письмо датировано 5 ноября 1740 года. См. [Ломоносов 1950–1983, 10: 421–431]. Рассказы Штелина и Веревкина немного отличаются от изложенного в письме самим Ломоносовым касательно времени его деятельности, хотя в целом они дополняют друг друга. Подробную хронологию страданий Ломоносова, которые он претерпел с момента отъезда от Генкеля до того дня, когда сел на корабль, отходящий из Любека, см. в [Ченакал и др. 1961: 53–58].

ную широту опубликованного творчества Ломоносова, охватывающего панегирические речи, поэзию, российскую грамматику, риторику, драматические произведения, исследования по русской истории и руководство по горному делу и металлургии. Хотя природа открытий, экспериментов и опубликованных научных работ Ломоносова не очерчена, оба биографа не совсем точно указывают, что «видеть их можно по порядку в печатных его сочинениях и в протоколах академических канцелярии и конференции».

Штелин и Веревкин отмечают, что большое уважение, которым пользовался Ломоносов, можно увидеть в той поддержке, которую ему оказывали признанные светила из семей Воронцовых и Шуваловых, а также, пишет Штелин, в уважении «многих славных ученых Европы и целых [научных] обществ, как, например, королевской Шведской Академии наук и знаменитой Болонской Академии, которая сделала его своим членом» (в 1760 и 1764 годах соответственно Ломоносов был избран почетным членом указанных академий) [Штелин 1850: 10–11; Веревкин 1784: XV–XVI]. Решительно подчеркивая многогранный характер усилий Ломоносова, Штелин настаивает на том, что «все это не анекдоты, но всем известные дела, и, следовательно, легко можно собрать подробнейшие о том известия» [Штелин 1850: 11]⁴⁵.

Усилия Ломоносова, приложенные к развитию мозаичного искусства, впечатляют обоих авторов [Штелин 1850: 11; Веревкин 1784: XVI], которые довольно подробно описывают соответствующий «анекдот», акцентирующий внимание на кажущемся фантастическим масштабе работы Ломоносова над такими произведениями, как «Петр I» и «Полтавская битва». Наука, лежащая в основе мозаик, их мало волнует. Но то, что это был продукт невероятной энергии и знаний, было самоочевидно и для них, и, как предполагается, для их аудитории.

⁴⁵ Рассматривая масштаб многих деяний Ломоносова, Веревкин, который снова использовал текст Штелина почти дословно, также утверждает, что это были «не суть анекдоты, а труды [или достижения], повсюду известные» [Веревкин 1784: XV].

Повествуя о последних годах жизни Ломоносова, которым Штелин был лично свидетелем, Штелин и Веревкин были заинтересованы в продвижении такого образа ломоносовских жизни и наследия, который в то время не имел себе равных. Хотя Веревкин подходил к его правдивости несколько осторожно, Штелин представил анекдот, который сочетает в себе его высокую оценку места Ломоносова в российской науке и культуре в целом с еще более высокой самооценкой Ломоносова. Штелин, по-видимому, посетил Ломоносова незадолго до его смерти. Обеспокоенный тем, в какое печальное состояние придут без него науки и образование в России, Ломоносов сказал Штелину:

Друг, я вижу, что должен умереть, и спокойно и равнодушно смотрю на смерть; жалею только о том, что не мог я совершить всего того, что предпринял я для пользы Отечества, для приращения наук и для славы Академии, и теперь при конце жизни моей должен видеть [как] все мои полезные намерения исчезнут вместе со мной [Штелин 1850: 12]⁴⁶.

Это щемящее заявление Ломоносова — возможно, самое пересказываемое в связанной с ним историографии — занимает центральное место в мифах о Ломоносове как об отце русской науки. То, как Ломоносов мужественно встретил смерть, заботясь только о своем наследии, Академии наук, которой он посвятил всю сознательную жизнь, и стране, которую он любил, станет лейтмотивом всех попыток нарисовать его образ до сегодняшнего дня.

Труд сентименталистского прозаика и поэта М. Н. Муравьева «Заслуги Ломоносова в учености», написанный в середине 1770-х годов⁴⁷, является самой научно обоснованной биографией Ломо-

⁴⁶ Пересказывая Штелина, Веревкин заменил слово «друг» словом «приятель» [Веревкин 1784: XVII]. Дружба означает куда более тесную связь, чем приятельство.

⁴⁷ Датировка этого фрагмента, как и большинства работ Муравьева, может быть только приблизительной. (Архив Муравьева в Российской национальной библиотеке в Санкт-Петербурге содержит более 40 томов рукописей, подавляющее большинство из которых остались в незавершенном состоянии

носова XVIII века и может считаться работой, органично отражающей масштаб репутации и имиджа Ломоносова как натурфилософа в годы, непосредственно следующие за смертью «первого российского ученого». «Заслуги Ломоносова» сыграли существенную, хотя и в значительной степени неисследованную роль в создании мифологии Ломоносова в истории российской науки⁴⁸. Муравьев был, по словам В. Д. Рака, связующим звеном между такими маститыми литераторами, как Сумароков и Н. М. Карамзин. После смерти Муравьева Карамзин (который очень уважал его и был обязан своим назначением императорским историком заступничеству Муравьева перед Александром I) отредактировал его собрание сочинений. Муравьев также был заметным членом Санкт-Петербургского культурного общества — в такой степени, в какой, например, им никогда не был Радищев, с которым нам вскоре предстоит встретиться⁴⁹.

Муравьев имел неослабевающий, хотя и слабо документированный интерес к натурфилософии своего времени. Во время военной службы в Санкт-Петербурге в середине 1770-х годов он посещал лекции по механике, математике (читаемые Эйлером) и физике, устраиваемые в Академии наук. Позже он служил на-

и остаются неопубликованными.) Исследование его (рукопись находится в: ОР РНБ. Ф. 499. Ед. хр. 74. Л. 1–9) и имеющейся биографической информации о Муравьеве, а также вопросы, изученные учеными, которых интересовало творчество Муравьева, приводят к выводу, что он написал его в середине 1770-х годов. «Заслуги Ломоносова в учености» были впервые опубликованы в [Муравьев 1796: 132–139], а затем переизданы в [Муравьев 1810: 180–190]. Они также были включены в собрание сочинений Муравьева, изданное в 1819–1820 годах (три тома) и переизданное в 1847 году (два тома). Последующие ссылки будут даны на издание 1796 года.

⁴⁸ Работа истолковывалась, обычно довольно поверхностно, просто как часть канона благоговейных биографий. О двух попытках ее тщательного изучения см. [Соловьев, Ушакова 1961: 16–17; Зубов 1956: 138–139].

⁴⁹ Л. И. Кулакова много лет собирала, анализировала и публиковала поэзию Муравьева, [Кулакова 1967] представляет собой превосходный очерк жизни Муравьева. В то время как поэзия и жизнь Муравьева были предметом значительного освещения, его «научным» интересам уделялось скудное внимание. Подробнее о Муравьеве см. также [Брокгауз, Ефрон 1897; Фоменко 1981; Murav'ev 1995: XXII–XXXI; Петухов 1894; Топоров 2001–2007].

ставником великих князей Александра и Константина. Он был особенно близок с будущим царем Александром I, а в 1802 году был назначен заместителем министра просвещения. Проявляя особенную активность в ранний «реформаторский» период правления Александра I, он оживил Московский университет, попечителем которого был в течение нескольких лет⁵⁰. В 1805 году, подчеркивая свое внимание к наукам, он спонсировал создание в Московском университете таких научных объединений, как Московское общество естествоиспытателей и Общество медицинских и физических наук. Что лучше всего свидетельствует о научном любопытстве и знаниях Муравьева, особенно в отношении «первого» русского ученого, так это его труды о Ломоносове.

В дополнение к «Заслугам Ломоносова в учености» Муравьев опубликовал пространный панегирик Ломоносову («Похвальное слово Михайле Васильевичу Ломоносову», 1774) [Муравьев 1774]. В этом эссе проявляется энтузиазм Муравьева по отношению к Петру I и его реформам⁵¹. Он представил Ломоносова воплощением духа петровских преобразований в русском обществе. В своем хвалебном отчете Муравьев придал большое значение трудам Ломоносова в литературе и науках, а также его героическому примеру в целом, что неудивительно, учитывая характер подобных произведений. Он был безоговорочно признателен Ломоносову, хотя избегал каких-либо подробностей или анализа его деятельности в качестве натуралиста.

Муравьев также пишет о жизни Ломоносова в нескольких коротких сочинениях, наиболее интересными из которых являются «Три письма». Это была ранняя версия любимого им жанра — записок путешественника. В 1770–1771 годах Муравьев, навещая своего отца, находившегося по правительственному заданию в Архангельске, отправился в «паломничество» на родину Ломоносова, в район Холмогор. В «Трех письмах» есть по-

⁵⁰ См. [Андреев 2000].

⁵¹ Исследование подхода Муравьева к влиянию Петра Великого на ход российской истории можно найти в [Фоменко 1981: 181–183].

дробное, почти религиозное по своему тону описание его впечатлений от местности, породившей такого вундеркинда. Наблюдая за отдаленной деревней «Керостров» (Ломоносов родился в деревне Мишанинская на острове Куростров в Куростровской волости), он пишет следующее: «Наполнен чтением Ломоносова, я [обнаружил, что] не могу без пристрастия и уважения взирать на родину сего блестящего разума» [Муравьев 1847: 326]⁵². Неземная природа, ожидаемая от родины святого, хоть и светского, передается Муравьевым с соответствующим восторгом.

Сентиментализм в русской литературе, возможно, был частично мотивирован стремлением ниспровергнуть сложные неоклассические модели, сформулированные Ломоносовым и его подражателями. Муравьев действительно отошел от примера Ломоносова в литературе⁵³, хотя никогда не терял своего безграничного уважения к нему как к мощному культурному символу и как к ученому поистине гениальному. Апофеозом интереса к Ломоносову и горячей защиты его, по-видимому, выдающегося наследия стала работа «Заслуги Ломоносова в учености». «Преимущество, данное немногим умам, — пишет Муравьев, представляя Ломоносова и его разносторонний интеллектуальный кругозор, — соединять склонность и способность к прекрасным наукам с обширными сведениями в точных науках: сие преимущество имел в высокой степени наш славный соотечественник Ломоно-

⁵² Рейфман считает, что родная деревня Ломоносова к концу XVIII века превратилась в «место поклонения» [Reyfan 1990: 96]. П. И. Челищев, близкий друг Радищева, посетил Куростров в 1791 году, не только оставив информативную хронику своих путешествий, но и установив в этом районе памятник Ломоносову. См. [Челищев 1886: 119–127]. Как и Муравьев, Челищев чувствовал связь между действиями Петра Великого и возвышением Ломоносова, человека, столь явно являющегося их продуктом. Таким образом, обожаеству Ломоносова способствовало обращение к более резонансным воспоминаниям о Петре Великом (об отождествлении Ломоносова с Петром Великим в XVIII веке см. [Живов 1997: 41]). Сведения, относящиеся к путешествиям Челищева на Север, см. в [Белявский 1956: 40–47].

⁵³ См. введение Э. Кана к [Murav'ev 1995: XXV–XXVI]. Н. Д. Кочеткова, напротив, гораздо менее убедительна, не признавая заметной эволюции в отношении Муравьева к Ломоносову [Кочеткова 1987: 269–271].

сов» [Муравьев 1796: 132]⁵⁴. Он подчеркнул, что Ломоносов получал удовольствие от усвоения всех аспектов науки, его кругозор не ограничивался какой-либо одной областью исследований. В такой оценке Ломоносова сосредоточившим внимание на разнообразном характере его гения Муравьевым нет ничего неожиданного. Она была типична как для биографий XVIII века, так и почти для всех более поздних. Будучи хорошо осведомленным о литературной и научной жизни Ломоносова (и понимавшим невозможность их четкого разделения), в «Заслугах Ломоносова в учености» он сосредоточился на том, чтобы представить Ломоносова как отца русской науки. Привлекая внимание читателя к химии, области, которую Муравьев назвал «главной наукою Ломоносова», он высоко оценил труды Ломоносова в мозаике и научную проницательность, необходимую для создания необходимых цветов, особенно при работе над Полтавской битвой, и утверждал, что «кроме сего приложения к живописи, химия обязана ему многими наблюдениями» [там же: 136–137]. Впечатленный как содержанием, так и стилем сочинений Ломоносова по химии, он убедительно высказался о таких трактатах, как «Первые основания металлургии или рудных дел», «Слово о пользе химии» (1751) и «Слово о рождении металлов от трясения земли» (1757) [там же: 137]; все они были опубликованы при жизни Ломоносова и на русском языке (в отличие от гораздо менее доступной латыни в его более абстрактных, часто неопубликованных сочинениях) и были, как уже нами показано, одними из самых известных его работ.

Муравьев, как и впоследствии Радищев, находил исключительно примечательными геологические процессы, описанные Ломоносовым, которые привели к образованию островов, гор и «в недостигаемой глубине к сие сокровище злата и серебра». Они также были, в той или иной степени, довольно прагматичным исследовательским продуктом, получившим куда больший резонанс

⁵⁴ «Точные науки», о которых говорит Муравьев в первом издании «Заслуг Ломоносова в учености», во всех последующих редакциях представлены как «физические и математические».

в России, чем корпускулярные теории, которые с помощью латинских научных журналов Академии дошли до Западной Европы и подверглись там критике. Муравьев восхвалял Ломоносова, который в «своем рвении к благу и славе своей родины предлагал полезные проекты» [там же: 135], как выдающегося представителя практического научного прогресса в России. Он не пренебрегал теоретическими экскурсами Ломоносова, но в социальном климате, не склонном к восприятию неортодоксальных идей, очерчивание областей, в которых работа Ломоносова принесла или может принести в будущем поддающиеся количественной оценке результаты, возможно, было для него разумным способом превознести общее научное наследие Ломоносова.

Потенциальными непосредственными выгодами, особенно для страны с проблемным выходом к океанам, были достижения в области географии, геодезии и смежных наук. Попытки Ломоносова проложить северный морской путь на Восток или в Индию, к которым он обращался несколько раз в 1750-х и начале 1760-х годов⁵⁵, были предметом широкого освещения последующими поколениями ученых, которые часто довольно творчески утверждали, что Ломоносов предвосхитил более поздние навигационные и картографические открытия. Хотя казалось, что поиски Ломо-

⁵⁵ «Рассуждение о большей точности морского пути», прочитанное Ломоносовым на публичном собрании Академии наук 8 мая 1759 года, было самой известной из его навигационно-географических работ. См. [Ломоносов 1950–1983, 4: 123–186, 740–759]. Опубликовано в 1759 году на русском и латинском языках, оно было включено в издания собраний сочинений Ломоносова 1778 и 1784–1787 годов. См. [Сводный каталог 1962–1975, 2: 165–166, 173]. В дополнение к этой опубликованной навигационной статье работа Муравьева указывает на его знакомство с «Кратким описанием различных путешествий по северным морям» Ломоносова и предложением возможного маршрута через Сибирский океан в Восточную Индию («Краткое описание различных путешествий по северным морям и показание возможного прохода Сибирским океаном в Восточную Индию»). Впервые опубликованный в 1847 году географом А. П. Соколовым, этот труд был переиздан им в 1854 году вместе с несколькими другими документами, относящимися к так называемой экспедиции Чичагова [Соколов 1854]. За несколько месяцев до своей смерти Ломоносов был глубоко вовлечен в подготовку к плаванью Чичагова.

носовым северного морского пути ни к чему не привели, Муравьев не хотел признавать, что то, на что Ломоносов потратил много времени, может быть лишено какого-либо положительного результата. Он заявлял, что догадки Ломоносова опередили свое время, утверждая, например, что проекты Ломоносова, по-видимому, «располагали Америку ближе к Российскому владению, нежели изображали тогдашние чертежи Света» [Муравьев 1796: 135]. Муравьев также утверждал, что более поздние навигационные исследования подтвердили предвидение Ломоносова. Его решение присудить это своего рода открытие Ломоносову свидетельствует о ранних корнях того, что стало постоянной темой в российских трактовках научных достижений Ломоносова — борьбы за приоритет над открытиями. Многим приверженцам русского превосходства во множестве научных областей слишком часто казалось, что соответствующие заслуги приписываются нероссийским ученым в ущерб их законному обладателю, Ломоносову.

Расширяя параметры ломоносовской научной легенды, Муравьев предложил два тезиса, в которых еще больше продвинул идею о Ломоносове как независимом мыслителе с недюжинной изобретательностью; к ним регулярно возвращались последующие исследователи научной деятельности Ломоносова. Во-первых, он без колебаний признал эквивалентность Ломоносова Франклину, которую позже язвительно оспаривал Радищев (действительно, его аргументы настойчиво свидетельствуют об их общем происхождении по части экспериментов и открытий, связанных с электричеством). Во-вторых, он постулировал, что в некоторых своих гипотезах, относящихся к физике, Ломоносов был столь же оригинален, как и Ньютон.

Памятя о славе, приобретенной покойным коллегой Ломоносова Рихманом, Муравьев ассоциировал Ломоносова с ним и, следовательно, с широко разрекламированными экспериментами с электричеством, которые «привлекли внимание мыслящих людей от одного конца Европы до другого» [там же: 133], хотя и привели к смерти Рихмана. Ломоносов действительно тесно сотрудничал с Рихманом, но Муравьев знал, как повысить авторитет Ломоносова лучшим образом. Муравьев понимал жела-

тельность приравнивания Ломоносова к Франклину и, давая отпор потенциальным скептикам, надеялся убедить своих читателей в том, что:

В то же время, как славный американец Вениамин Франклин... множеством любопытных наблюдений пролагал себе дорогу к остроумному решению задачи: каким образом обращение невидимой силы, везде разливаемой, привлекает или отражает тела? Ломоносов силою своего собственного размышления доходил до тех же заключений и разделял с ним славу изобретения [там же].

Муравьев не ставил под сомнение значимость усилий Франклина, но рассматривал работу Ломоносова, которая проводилась почти одновременно с работой Франклина, как совершенно автономную и равную по результату.

Затем Муравьев упоминает аналогичный пример параллельной работы в начале века, проведенной Лейбницем и Ньютоном по дифференциальным исчислениям. Хотя сравнение и не сделано прямо, подтекст ясен: гигантский и постоянно растущий авторитет Ньютона угрожал заблокировать признание основополагающей роли Лейбница⁵⁶. Ссылаясь на статьи Ломоносова об электричестве, он прокомментировал, что «подобно Лейбницу, Ломоносов был чувствителен к утверждению за собой сей части откровения и доказывал в особливом сочинении, что он не обязан мыслями своими Франклину» [Муравьев 1796: 134]. Муравьев оценил это как имеющее глубокие последствия как для наследия Ломоносова, так и для его страны, ибо «сие честолюбие относилось к его отечеству, уверяя другие страны, ранее просвещенные, что Россия созрела уже соревновать с ними в распространении знаний».

⁵⁶ Памятью об ожесточенном споре о заслугах в изобретении дифференциального исчисления, разгоревшемся в начале XVIII века между Ньютоном и Лейбницем, который в сочетании с общей оппозицией Лейбница тому, что впоследствии стало доминирующим научным мировоззрением, то есть ньютонианству, серьезно подорвал научную репутацию Лейбница, Муравьев стремился не допустить, чтобы подобная участь постигла и Ломоносова.

Муравьев считал, что Ломоносов выполнил более важную работу в области физики, а не химии. В конце концов, именно физика, а не химия, в основном выиграла от достижений математики XVIII века, благодаря достижениям Ньютона, Лейбница, Эйлера и других. Именно там имели место самые захватывающие достижения. Физика, отмечает Муравьев, «неоднократно обращала на себя внимание Ломоносова и в тех частях своих, где она заимствует помощь исчисления [или, точнее, дифференциальных исчислений]» [там же: 138]. Трактаты Ломоносова, подпадающие под рубрики либо физики, либо химии, а это подавляющее большинство его работ, раскрывают уровень его владения математикой, а именно неспособность использовать ее в своей работе за пределами самого элементарного уровня.

В конце XIX века появление в научных дисциплинах подготовленных специалистов, посвятивших себя изучению истории своей профессии (что означало определенное созревание жанра научной биографии), привело к тому, что мелочи научной деятельности Ломоносова стали объектом пристального внимания. При таком более тщательном рассмотрении заметные пробелы в знаниях Ломоносова превратились в проблемы, требующие более тщательного изучения. До этого времени именно образцовая жизнь ученого, а не хитросплетения экспериментов и открытий, считалась наиболее значимой для его жизнеописания.

В любом случае, хотя Муравьеву, вероятно, не хватало научной зрелости, чтобы заниматься более сложными вопросами, которые в конце XVIII века означали применение передовой математики к физическим явлениям, он понимал, что математика стала необходимой частью научной брони любого «современного» натурфилософа, и он доказывал ее важность для научной деятельности Ломоносова. Вопрос о том, было ли утверждение Муравьева результатом неправильного понимания научных способностей Ломоносова, непонимания математического анализа или, наоборот, следствием того, что он писал в рамках уже мощной мифической традиции, которая не допускала отклонений, является спорным. Бесспорно то, что представление о Ломоносове как о натурфилософе, хорошо разбирающемся в математике, стало

важным, хотя и не совсем безоговорочным элементом в представлениях о Ломоносове в течение следующих двух столетий.

То, что он поставил Ломоносова рядом с Ньютоном в пантеоне известных ученых, было самым смелым аспектом повествования Муравьева. Он высоко ценил творческие усилия Ломоносова по созданию механической теории света и цвета и пытался убедить других в том, что:

Привнеся во все науки смелый дух экспериментирования, он имел смелость расходиться с Ньютоном во мнениях о происхождении света и свойствах цветов. Он сделал вывод, что появление света и тепла определяется вращательным движением и быстрым вращением неосязаемых частей тел, которые он назвал эфиром, и предположил, что цвета образуются в результате взаимодействия различных частей эфира с частями ртути, серы и соли [там же].

Муравьев был знаком с оптическим трактатом Ломоносова, представляющим новую теорию цветов («Слово о происхождении света, новую теорию о цветах представляющее» [Ломоносов 1950–1983, 3: 315–344, 550–555]⁵⁷), в котором ученый резко отличал свои выводы, которые, проще говоря, можно классифицировать как придерживающиеся волновых теорий, от того, что он воспринимал как строго корпускулярные основы ньютоновской теории излучения света. Хотя диссертация Ломоносова не была основана на «смелых» экспериментах, восхваляемых риторикой Муравьева, определенная степень напряженности экспериментов для поддержания предположений в физике и химии в более поздних исследованиях Ломоносова присутствовала; в этом случае он, по крайней мере, проявил оригинальность. В любом случае Муравьева, казалось, меньше интересовала сама ценность исследований Ломоносова, чем тот факт, что он предлагал гипотезы, которые оспаривали идеи Ньютона.

⁵⁷ Версия на русском языке была впервые опубликована в 1758 году, а в следующем году последовал латинский перевод. О различных переизданиях XVIII века см. [Сводный каталог 1962–1975, 2: 163–166].

На первый взгляд его оценка может привести к необоснованному предположению, что в России ньютоnianство, по крайней мере в области оптики и по мнению такого ученого наблюдателя, как Муравьев, еще не восторжествовало над конкурирующими взглядами, подобными тем, которые высказал Ломоносов⁵⁸.

Но каково бы ни было обоснование теоретизирования Ломоносова, Муравьев не предполагает точной эквивалентности между Ньютоном и Ломоносовым, и, несмотря на неопровержимые доказательства, почерпнутые им из трудов Ломоносова, он не изображает его упрямым врагом идей Ньютона; действительно, в другой статье («Красноречие») Муравьев, ссылаясь на работу Ломоносова, посвященную исследованию света, недвусмысленно считает его, совершенно ошибочно, «последователем Ньютона» [Муравьев 1847, 2: 246]⁵⁹. Очевидно, он хотел, чтобы Ломоносов считался достойным быть связанным в истории с таким уважаемым ученым, как Ньютон⁶⁰.

Тем не менее, предвосхищая мнение Радищева о том, что образ Ломоносова стал самым ценным подарком своей стране, он за-

⁵⁸ Хотя к концу XVIII века имя Ньютона стало почти неприкосновенным в европейских научных кругах, в прогрессировании ньютоновских влияний не было ничего неизбежного, и их развитие сильно варьировалось по времени и месту. О противоречиях между ньютоновской, или эмиссионной, и, за неимением лучшего термина, эйлеровой, или волновой, теориями, а также о разнообразной судьбе этих теорий в России см. [Boss 1972: 156–159, 185–198; Номе 1988]. В силу большого влияния Эйлера на русскую научную мысль также следует принимать во внимание его критику Ньютона во время пребывания в Берлине (в частности, в 1744–1746 годах).

⁵⁹ В том же отрывке Муравьев продолжал утверждать, что в раскрытии законов электричества Ломоносов был «соперником Франклина».

⁶⁰ Писавший примерно в то же время, что и Муравьев, поэт С. С. Бобров (знакомый Радищева и поклонник Ломоносова как поэта и ученого) в попытке поднять престиж Ломоносова заменил имя Ломоносова именем Ньютона в отрывке из своего стихотворения «Таврида» (1798), в котором упоминалось об открытии солнечного спектра и, следовательно, об «Оптике» Ньютона. Сочинение Боброва было частично смоделировано по мотивам «Времен года» Джеймса Томсона. Данная информация заимствована из [Левин 1990: 199].

вершил «Заслуги Ломоносова в учености», заявив, что «Ломоносов принадлежит к небольшому числу изобретательных умов и своим собственным примером подтверждает истину, что русские наделены большими интеллектуальными способностями» [Муравьев 1796: 139]⁶¹.

Тот героический образ себя самого, который Ломоносов нарисовал в письмах к Шувалову, обнаруживает, как указывалось ранее, тесное сходство с автобиографическими записками других ученых раннего Нового времени. То, что они были первыми подобными произведениями, написанными на русском языке, придает им основополагающий ореол не только в историографии, посвященной Ломоносову, но и в российской науке. Агиографические ранние биографии Ломоносова в сочетании с мифогенными тенденциями послепетровской России превратили его в русского Ньютона, Галилея, Коперника или Франклина. Это был образ, с которым боролся Радищев, писатель, к которому многие позднейшие российские и советские ученые относились с благоговением как к первому в России «интеллигенту» и даже «революционеру». Авторитет Радищева в русской культуре, который при его жизни был явно скромным, в конечном итоге поднялся до уровня, уступающего только Пушкину и Ломоносову. Стоит отметить, что он не согласился с канонизацией Ломоносова. Тот факт, что его оценка достижений Ломоносова настолько расходится с тем, что было раньше, делает случай Радищева уникальным.

Несмотря на обильную литературу о Радищеве, оказалось очень трудно четко определить истоки его интеллектуальной

⁶¹ Оригинальный отрывок гласит: «Ломоносов принадлежит к малому числу духов сотворителей и довольно одного его, чтоб основать преимущество великой способности российского духа». Довольно неуклюжая церковно-славяно-русская конструкция Муравьева была модернизирована Карамзиным, приобретая следующий вид: «Ломоносов принадлежит к малому числу умов изобретательных и одним примером своим утверждает истину, что россияне одарены великими способностями разума». Последний вариант появляется также во всех последующих переизданиях «Заслуг Ломоносова в учености».

биографии⁶². Можно продемонстрировать интерес Радищева к наукам своего времени: он был знаком с научными работами Ломоносова (по крайней мере, с теми, которые были опубликованы в издании собрания сочинений Ломоносова 1784–1787 годов) и, как показывает его обращение с ними, красноречиво оценил их достоинства, но точные истоки его любознательности остаются неясными [Радищев П. 1858: 58, 399–401; Лукьянов 1954: 158–167; Раскин 1962: 211, 279; Зубов 1956: 91–103; Boss 1972: 227–228, 236]⁶³. Хотя он скептически относился к некоторым аспектам нового доминирующего ньютоновского мировоззрения и являлся сторонником флогистона (не лучшая позиция для того времени), его оценка наследия Ломоносова в науке остается интуитивной.

«Слово о Ломоносове» Радищева, последняя глава его знаменитого «Путешествия из Петербурга в Москву» (1790)⁶⁴, служит не только содержательной ранней оценкой научной деятельности

⁶² Исследование Г. П. Макогоненко демонстрирует поразительно многогранное интеллектуальное развитие Радищева, но оно слишком умозрительно, чтобы быть принятым некритически. См. [Макогоненко 1956: 3–121]. Для справок см. [McConnell 1964: 1–40].

⁶³ В одном из своих эссе Радищев действительно указал на некоторую осведомленность об экспериментах, проводимых Д. Пристли. См. его «О человеке, о его смертности и бессмертии» [Радищев 1938–1952, 2: 78–79, 81, 92].

⁶⁴ «Путешествие из Петербурга в Москву» — одно из самых известных литературных произведений в России. Хотя источники, на которых основывался Радищев, а также его политические и социальные идеи были предметом серьезных споров, «Путешествие», написанное в определенной степени в манере «Сентиментального путешествия» Л. Стерна, может быть истолковано в качестве нападок на крепостное право и как призыв к немедленным внутренним реформам. Испуганная событиями в революционной Франции, Екатерина II была возмущена публикацией книги, особенно ее обеспокоил тот факт, что цензоры дали разрешение на первоначальное издание «Путешествия» до его публикации. Первоначально российское правительство приговорило Радищева к смертной казни, позже наказание было заменено ссылкой. Самую последнюю, «окончательную» версию «Слова о Ломоносове» см. в [Радищев 1992: 115–123, 463–472]. О сложной истории составления и редактирования Радищевым его «Путешествия», которая лишь эпизодически затрагивает «Слово», см. [Западов 1992].

Ломоносова, но и попыткой ввести растущее представление о Ломоносове как об отце русской науки, стоящем наравне с самыми знаменитыми экспериментаторами своего времени, в менее возвышенные рамки. По мнению Радищева, мифология, сложившаяся вокруг Ломоносова, грозила стать совершенно непропорциональной его реальным достижениям.

«Слово о Ломоносове» Радищева, над которым он с перерывами работал между 1780 и 1788 годами, хотя и было включено в его «Путешествие», было задумано как самостоятельное произведение и стоит особняком. Те, кто изучал жизнь и творчество Ломоносова, ссылались на эссе Радищева, сопоставляли его имя с именем Ломоносова, по-видимому, в каждом крупном исследовании. Однако редко встречаются те, кто устремляет пристальный взгляд на критику Радищевым научной деятельности Ломоносова⁶⁵. Из-за предполагаемого негативного характера воззрений Радищева они обычно отвергаются либо как результат незнания писателем масштабов научных достижений Ломоносова, либо как необъяснимый недостаток «Слова». Павлова разделяет преобладающее мнение российских, советских и западных ученых, изучавших Ломоносова и Радищева, утверждая, что, поскольку большинство, если не все работы Ломоносова не были опубликованы или иным образом забыты, Радищев не мог должным

⁶⁵ Единственные «недавние» российские исследования, которые рассматривают исключительно «Слово о Ломоносове», представляют собой тенденциозный анализ, фокусирующий внимание главным образом на мнениях Радищева о литературных и лингвистических трудах Ломоносова, и рассматривают его эссе как почти недвусмысленное восхищение Ломоносовым. См. [Кулакова 1962; Моряков 1986; Серман 2001: 222–232; Татаринцев 1974]. П. М. Лукьянов предпринял попытку создания наиболее подробной работы о Радищеве как о натурфилософе, однако, помимо некоторых поверхностных цитат из «Слова», он уклонился от объяснения оценки Радищевым научной деятельности Ломоносова. См. [Лукьянов 1954: 165]. Бахтинский анализ «Путешествия» Э. Кана кратко затрагивает «Слово». Хотя попытки Кана дать более многозначную интерпретацию текста и вставить предполагаемые диалогические отношения между рассказчиком Радищевым и Ломоносовым часто убедительны, его вывод о том, что Радищев рассматривал Ломоносова как «светское божество», даже если в качестве литератора, преувеличен. См. [Kahn 1997: 65].

образом оценить его теоретические исследования [Павлова 1962: 10–11; Павлова 1986: 68–69]⁶⁶. Таким образом, «Слово о Ломоносове» является одной из основных составных частей ломоносовского канона, но к нему из-за его очевидной двусмысленности в оценке талантов Ломоносова как натурфилософа подходили совершенно неадекватно.

В «Слове» Радищев описал ранние годы и учебу Ломоносова в Москве и Западной Европе как паломничество к знаниям со многими существенными препятствиями на этом пути. Вооруженный основами биографии Ломоносова и хорошо знакомый с работами Штелина, Веревкина и Новикова, Радищев с удивлением отнесся к предположительно удивительному появлению Ломоносова из далеких Холмогор и к интеллектуальным лишениям, которые он преодолел. Он видел в Ломоносове сверхъестественное любопытство как его самую поразительную черту, любопытство, которое «стремится к познанию вещей... Ревет оно, клокочет, стонет и, махом прерывая узы, летит стремглав (нет преткновения) к предлогу своему». Перед лицом этого «забыто все, один предлог в уме; им дышим, им живем». Помимо всех прочих соображений, его стремлением было «познание вещей» [Радищев 2011: 234]. Это стремление Ломоносова не могло быть удовлетворено в России, поэтому он отправился в Марбург:

Он ученик стал славного Вольфа. Отрясая правила схоластики или паче заблуждения, преподанные ему в монастырских училищах, он твердые и ясные полагал степени к восхождению во храм любомудрия. Логика научила его рассуждать; математика — верные делать заключения и убеждаться единою очевидностью; метафизика преподавала ему гадательные истины, ведущие часто к заблуждению;

⁶⁶ См. также [Бабкин 1946: 46–47; Кулакова 1962: 235]. А. Вучинич утверждал, что «то, что Радищев думал о Ломоносове как об ученом, сегодня не имеет большого значения, и мы должны помнить, что у него не было доступа к научным работам Ломоносова». Я полагаю, что Вучинич сформулировал это довольно точно, также заявив, что в общих чертах «мнение Радищева в то время помогло прояснить истинное место Ломоносова в истории российской науки» [Vucinich 1963: 115].

физика и химия, к коим, может быть, ради изящности силы воображения прилежал отлично, ввели его в жертвенник природы и открыли ему ее таинства; металлургия и минералогия, яко последственницы предыдущих, привлекли на себя его внимание; и деятельно хотел Ломоносов познать правила, в оных науках руководствующие [там же: 265].

На протяжении всего «Путешествия» Радищев выступает против злоупотреблений, которым долгое время подвергалось русское крестьянство. Истинный философ, восхищающийся последними научными достижениями на Западе, хотя и не всегда полностью знакомый с ними (о чем ясно свидетельствует его неприятие ньютонианства), Радищев понимал, что приход современной натурфилософии в Россию может предвещать всеобщие культурные реформы. Образ этого сына крестьянина, путешествующего по экзотическим местам в попытке овладеть чем-то еще более диковинным для русского человека XVIII века, то есть науками, был высоко оценен Радищевым. Репутация Вольфа не померкла в глазах Радищева, он отмечал его связь с молодым Ломоносовым. Среди всех, кто писал о Ломоносове, Радищев отличался тем, что избегал анекдотов, которые Штелин внедрил в историографию⁶⁷. Он не повторял все известные героические истории, связанные с жизнью Ломоносова, Радищев был вдохновлен самим мифом о нем: он попытался его исследовать и понять, какое наследие наукам оставил Ломоносов. При этом Радищев настаивал на том, что «мы, отдавая справедливость великому мужу, не возмним быть ему богом всезидущим, не посвятим его истуканом на поклонение обществу и не будем пособниками в укоренении какого-либо предрассуждения или ложного заключения» [Радищев 2011: 272].

⁶⁷ Кулакова считала исключение Радищевым анекдотов Штелина одним из аспектов «Слова», который сделал его главной «современной» биографией Ломоносова. Это, по-видимому, больше мотивировано ее враждебным отношением к влиянию Штелина на ломоносововедение, чем хорошо продуманным анализом формирующей роли Штелина в создании мифологии Ломоносова [Кулакова 1962: 225–228].

В одном из самых длинных пассажей в «Слове» Радищев описывает как ужасы, так и пользу горного дела [там же: 267]. Используя знания, почерпнутые из труда Ломоносова «О слоях земных»⁶⁸, который был одним из дополнений к «Первым основам металлургии или рудных дел», он дает яркое геологическое описание экскурсии по подземному миру. Радищев считал, что Ломоносова следует увековечить именно за эти более «практические» труды в области горного дела, металлургии и геологии. Хотя данный акцент Радищева на самом деле может зависеть как от вопроса доступности реальных текстов работ Ломоносова по химии и физике, так и от понимания Радищевым их содержания, он не пренебрегал более абстрактными работами Ломоносова; он просто оценил их как менее новаторские.

Возражая против слишком поспешного сравнения Ломоносова с признанными королями науки, Радищев писал:

Не поставим его на степени Маркграфа или Ридигера [А. С. Маргграф и И. А. Рюдигер были выдающимися немецкими химиками XVIII века], зане упражнялся в химии. Если сия наука была ему любезна, если многие дни жития своего провел он в исследовании истин естественности, но шест[в]ие его было шествие последователя. Он скитался путями проложенными, и в нечисленном богатстве природы не нашел он ни малейшия былинки, которой бы не зрели лучшие его очи, не согладал он ниже грубейшия пружины в вещественности, которую бы не обнаружили его предшественники [Радищев 2011: 272–273].

Маргграф и Рюдигер имели престижную общеевропейскую репутацию, которой Ломоносов никогда не пользовался. Радищев считал Ломоносова менее оригинальным в теоретических выводах, что было резкой оценкой в глазах многих последующих исследователей ранней русской науки, которые приписывали Ломоносову приоритет над множеством открытий. И в сравнении,

⁶⁸ Работа «О слоях земных», изданная в 1763 году, также была включена в [Ломоносов 1784–1787, 4: 168–294].

которое вызывало большой ужас у более поздних авторов, Радищев спрашивает своих читателей:

Уже ли поставим его близ удостоившегося наилестнейшая надписи, которую человек низ изображения своего зреть может? Надпись, начертанная не ласкательством, но истинною дерзающею на силу: «Се исторгнувший гром с небеси и скиптр из руки царей» [эпиграмма Тюрго (1778) на Б. Франклина]. За то ли Ломоносова близ его поставим, что преследовал электрической силе в ее действиях; что неотвращен был от исследования о ней, видя силою ее учителя своего пораженного смертно. Ломоносов умел производить электрическую силу, умел отвращать удары грома, но Франклин в сей науке есть зодчий, а Ломоносов рукодел. Но если Ломоносов недостиг великости в испытаниях природы, он действия ее великолепныя описал нам слогом чистым и внятным. И хотя мы не находим в творениях его, до естественныя науки касающихся, изящнаго учителя естественности, найдем однакоже учителя в слове, и всегда достойный пример на последование [там же: 273].

Радищев был раздражен очевидной лестью Ломоносова в адрес высокопоставленных особ и стремлением заручиться их покровительством. Хотя это и не было решающим компонентом его оценки, в связи с этим Радищев поставил Ломоносова среди бессмертных ниже Франклина, в том числе из-за его качеств как натурфилософа. Как уже отмечалось ранее, исследования Ломоносова в области электричества и последующая публикация их результатов получили, пожалуй, самый широкий современный отклик из всех его работ. Принадлежит ли приоритет в этих электрических экспериментах Франклину или Ломоносову, менее важно, чем тот факт, что утверждение Радищева полностью противоречит тому, что стало почти аксиомой в литературе. Он полагал, что Ломоносов либо предвосхитил результаты Франклина, либо пришел к ним независимо от Франклина, так что они были равны по значению.

Радищев считал литературные и лингвистические работы Ломоносова более значительными, чем его научные достижения,

которые рассматривались им как новаторские скорее по стилю, чем по существу. Возможно, он слишком охотно сравнивал труды Ломоносова с работами натурфилософов, находящихся в более благоприятном для науки климате. Уместно отметить, что, в то время как Ломоносов знал о работе Франклина, Франклин также знал об исследованиях Ломоносова. В начале 1765 года после предложения Э. Стайлза (в то время священника в Род-Айленде и натуралиста, а позже президента Йельского университета) Франклин согласился отправить Ломоносову из Лондона письмо с просьбой предоставить информацию о российских метеорологических условиях. Стайлз также поинтересовался, что именно знал или мог узнать Франклин об организации Ломоносовым полярной экспедиции в поисках северного морского пути, и приложил письмо, которое он попросил Франкина переслать в Санкт-Петербург. К сожалению, Ломоносов умер прежде, чем письмо успело дойти до него⁶⁹.

В 1789 году Радищев опубликовал биографию своего друга, умершего в то время, когда они вместе учились в Лейпцигском университете. Вводя новый элемент в русскую биографическую литературу, в этой работе («Житие Федора Васильевича Ушако-

⁶⁹ Письмо Стайлза Франклину от 20 февраля 1765 года и ответ Франклина Стайлзу от 5 июля 1765 года, в котором он согласился выступить в качестве посредника, см. в [Franklin 1968: 71–77, 194–196]. Отвечая на вопрос Стайлза о том, что ему известно о попытках Ломоносова проложить северный морской путь, о которых Стайлз, по-видимому, прочитал в лондонской газете, Франклин сообщил о провале первого российского предприятия, но заверил Стайлза, что «Ломоносоу[в] исправит ситуацию». Ломоносов умер до того, как Франклин написал свое письмо. На самом деле он умер всего за месяц до начала первого из двух неудачных полярных путешествий под командованием адмирала Чичагова (вторая попытка была предпринята в начале 1766 года). Послание Стайлза Ломоносову, которое должно было быть передано Франклином, хотя оно так и не было отправлено, опубликовано в «American Philosophical Society, Franklin Papers» (т. 44, с. 19). Г. Лестер в статье [Лестер 1962], исследуя распространение «русской» науки в североамериканских колониях в XVIII веке, переводит с латыни и перепечатывает письмо Стайлза Ломоносову. См. также [Dvoichenko-Markov 1947: 250–251] для получения дополнительной информации о Стайлзе, Франклине и их тесной связи с Ломоносовым.

ва») проанализирована жизнь малоизвестного человека [Радищев 1938–1952, 1: 153–212]⁷⁰. Радищев предложил вниманию читателю жизнь своего однокашника, выведенного в качестве образца безупречной доблести, возвышенного примера человеческого поведения и обладателя большого потенциала. Лотман, чьи работы о Радищеве всегда наводят на размышления, подчеркнул, что Радищев «придавал огромное значение героическому поведению отдельного человека как воспитательному зрелищу для сограждан, поскольку неоднократно повторял, что человек есть животное подражательное» [Лотман 2002: 250]⁷¹.

Восхищенные современники Ломоносова в своих последовательных описаниях представляли соотечественникам его жизнь в качестве образца, хотя настолько героического, что подражать ему было почти невозможно. Радищев протестовал против слишком легковесного восхваления Ломоносова, убедительно заявляя в «Слове», что потомству будет лучше, если не пытаться, позволяя слепому восхищению или предубеждению привести нас к необоснованной похвале, возносить ученого за то, чего он не делал. «Мы не ищем здесь вменить ему и то в достоинство, чего он не сделал или на что не действовал; или только распложая неистовое слово, вождаемся изступлением и пристрастием», —

⁷⁰ Публикация «Жития» Федора Васильевича Ушакова вызвала некоторое смятение в литературном истеблишменте. Княгиня Дашкова, президент Российской академии и сестра друга и покровителя Радищева А. Воронцова, считала, что сосредоточение внимания на жизни малоизвестного человека и кое-какие намеки «в ту пору могли показаться опасными». Но ее брат нашел, что автор «слишком превознес своего героя, ничего замечательного не сделавшего и не сказавшего за всю свою жизнь, что вместе с тем нельзя обвинить книгу ни в чем дурном» [Дашкова 2003: 236]. Слово «житие» обычно употребляют для жизнеописаний святых, однако оно также использовалось в названиях многих биографий в XVIII веке. См. [Jones 1989: 71–79], а также [Сводный каталог 1962–1975, 1–6]. Как утверждает Кан в [Kahn 2000: 46], его использование может просто отражать тот факт, что для биографии еще не выработалось фиксированного термина.

⁷¹ Для анализа «Ушакова» Радищева, который до некоторой степени подтвердил бы опасения Дашковой по поводу его неприятных последствий, см. [Лотман 1997: 223–226].

писал Радищев [Радищев 2011: 273]. Но общая его оценка, выраженная в вопросе «Бакон Веруламский не достоин разве напоминения, что мог токмо сказать, как можно размножать науки?», вряд ли является презрением к Ломоносову. Тем не менее его мнение было плохо интегрировано в историографию, столь враждебную к разнообразию точек зрения. В XIX веке концепция научного гения, заменяющего метод, наносила все более чувствительный удар по сравнениям с Бэконом [Уео 1998: 257–261; Higgitt 2007: 47–49, 64–67], но в то время, когда писалось «Слово», упоминание его Радищевым, безусловно, могло быть истолковано как лестное. Даже если бы Ломоносов не заслуживал упоминания наряду с величайшими учеными, он послужил бы плодотворным примером для тех представителей последующих поколений россиян, которые смогли бы добиться подлинного признания. Мнение о том, что преувеличивать его достижения не было необходимости, привлекло мало сторонников.

Именно убежденность Муравьева в новаторском характере научных усилий Ломоносова не только прочно вписала его в растущий миф об «отце русской науки», но и значительно усилила его, оказавшись решающей в историографии, в отличие от более осмотнительного вердикта Радищева. Более поздние критические взгляды Радищева, работавшего, как мы видели, исключительно в оппозиции к развивающейся агиографии, не смогли поколебать воззрений Муравьева и его сторонников.

Что касается Ломоносова, то здесь вызывает интерес то, как его деятельность или маневрирование, конфликты, а также его предполагаемые деяния в Санкт-Петербургской академии наук способствовали его становлению как «человека науки»⁷² во времена Елизаветы Петровны⁷³. Учитывая его социальную ди-

⁷² С. Шейпин в [Shapin 2003] предостерегает от проблемной ситуации, очевидной в историографии науки: от необходимости придавать вид единства и последовательности жизни натурфилософов раннего Нового времени.

⁷³ К. А. Писаренко в [Писаренко 2003] представляет чрезвычайно подробный отчет о жизни русского двора середины XVIII века, который, однако, содержит мало систематического анализа того, как функционировал сам двор. О. Г. Агеева в [Агеева 2008] хотя и описывает елизаветинский двор лишь

станцию от двора, связь Ломоносова с ним была опосредована покровителями. Он воспользовался их патронажем, чтобы сформулировать для себя отличительную (учитывая время и место) идентичность. Стремясь к собственной славе, Ломоносов внес свой вклад в определение значения «новых наук» для монархии, рассматриваемых исключительно через статус Академии. На протяжении всей своей карьеры Ломоносов занимался «научными проблемами» и постоянно заботился о своей репутации.

Ломоносов был первым известным «народным» русским ученым, который стал действительным членом Академии наук. Этот факт, каким бы убедительным он ни был в качестве более позднего русско-националистического тропа в историографии, предложенного для разумного объяснения как непрекращающихся конфликтов Ломоносова в Академии наук, так и его почти полного отсутствия в «западных» отчетах о науке XVIII века, не столько определял его социальный статус в то время, сколько свидетельствовал о том обстоятельстве, что роль натурфилософа, а тем более химика, в России XVIII века пользовалась заметно низким престижем.

По мере того как в последующие десятилетия биография Ломоносова становилась все более грандиозной, его стали изображать не просто как ученого, сравнимого с Ньютоном, Коперником, Галилеем или Франклином, но и как человека, чей вклад в культурную жизнь его собственной страны был таким же новаторским, как и его вклад в науку. Сопротивление Ломоносова уже

вкратце (см. с. 127–151), дополняет книгу Писаренко исследованием двора в «бюрократическом» плане. Недавняя книга [Писаренко 2008], хотя и более описательная, чем аналитическая, весьма полезна и дополняет его вышеупомянутую работу о придворной жизни, она также содержит много материала (хотя и по большей части уже знакомого) о Ломоносове и Академии наук. Даже если отбросить квазимарксистский сленг, характерный для посвященных Ломоносову исследований, проведенных в советскую эпоху, обращает на себя внимание тот факт, что Писаренко не оспаривает господствующий образ Ломоносова как доблестного борца за «российскую науку», чьи глубокие гипотезы и открытия, которые повсеместно игнорировались за пределами России, предвосхитили работу, несправедливо приписываемую другим.

почти восторжествовавшей ньютоновской ортодоксии, которое было очевидно во всех его письменных и публичных заявлениях, было затушевано, переписано как нечто ньютоновское или полностью перестало рассматриваться. Как мы видели, формирование образа Ломоносова как выдающегося русского натур-философа началось с его собственных письменных документов, причем каждый из современных ему биографов внес свой вклад в конкретные биографические элементы, в основном относящиеся к его неизбежному восхождению на высшие ступени познания, и, конечно, к канонизации в качестве первого русского химика и физика.

Как видно из самых ранних биографий Ломоносова, сущность его научных достижений (в отличие от исключительно перечисления качеств, свидетельствующих о его «святости») начала изучаться еще в XVIII веке с написанием труда Муравьева, но впоследствии была переработана, чтобы не подорвать веру в силу его предвидения и успехи, ожидаемые от Ломоносова как мифической фигуры. Русские ученые, историки, писатели и литературоведы в течение XIX века начали все глубже вникать в детали научной деятельности Ломоносова. Это сочеталось, однако, с усилением героических представлений о нем как об отце российской науки, а не путем отказа от этого образа, что, в свою очередь, затрудняло любой анализ фактического наследия Ломоносова. С другой стороны, беспристрастное исследование, учитывая культовый статус, которого достигло имя Ломоносова, было практически невозможно.

Глава 3

Ломоносов в эпоху Пушкина

Тексты XIX века, описывающие Ломоносова, нельзя рассматривать иначе, как агиографические. Изображение Ломоносова в них как первого русского ученого, бесстрашного исследователя тайн природы и героического прародителя последующих поколений ученых, безусловно, напоминает биографии Штели-на, Веревкина и Муравьева, хотя в то же время становится более многослойным и представляет более сложный набор маркеров по сравнению с предшествующими трудами. Годы между зарождением мифологии Ломоносова в конце XVIII века и серединой XIX века (столетие Московского университета в 1855 году стало важным эпизодом в изучении Ломоносова, открывшим новые уровни интерпретации) с точки зрения как траектории развития мифа, так и культурных контекстов, определивших его силу, представляют собой довольно расплывчатый период. Мифология явно сохраняла свою власть над людьми, интересующимися местом науки в русской культуре, что в России XIX века означало почти всю зарождающуюся интеллигенцию и классы профессионалов. Более ясное осознание силы и, возможно, ограничений мифа также проявляется в литературных реакциях на него.

Раскрытие иконического образа Ломоносова как образца ученого в первые десятилетия XIX века требует довольно произвольного отбора того, что можно рассматривать как особенно

значимые репрезентации. Любые попытки проследить явную связь между работами русских ученых и работами Ломоносова были отвергнуты. Было предпринято бесчисленное множество тщетных попыток наметить контуры линейного развития, ведущего от научных достижений XVIII века в России (или, точнее, от основополагающей роли Ломоносова в закладке основ наук) к последующему существенному прогрессу многих отраслей науки, включая химию, физику, геологию, металлургию, географию и астрономию, в течение следующего столетия¹. Попытка выполнить эту задачу, очевидно, влекла за собой четкое признание влияния Ломоносова на исследования более поздних ученых. Это влияние должно было быть каким-то образом продемонстрировано, и поэтому труды русских ученых XIX века были тщательно изучены в поисках ссылок, даже неявных, на их предполагаемого «предка»². Результатом стала серия напряженных усилий навязать российской науке того времени грубо телеологическую и совершенно неубедительную модель.

¹ Попытки установить интеллектуальную связь между Ломоносовым и его преемниками имеют длинную историю, которая предшествует советской историографии. Действительно, не будет преувеличением сказать, что почти каждый источник, повествующий о Ломоносове, появившийся с конца XIX века, отличается этим методологическим подходом. Сухомлинов (см. введение) и особенно Меншуткин установили его в качестве центрального принципа в историографии. Следующие два институциональных и междисциплинарных обзора российской науки, оба из которых быстро зарекомендовали себя как «окончательные», можно считать более поздними репрезентативными исследованиями [Фигуровский 1957; Островитянов 1958–1964, 2]. См. также работу Ю. И. Соловьева по истории российской химии [Соловьев 1985: 3–70]. Соловьев — одна из самых плодovitых фигур в ломоносовской «индустрии», и неудивительно, что его в остальном прекрасный текст содержит аксиомы о Ломоносове, аналогичные тем, которые появляются у его предшественников.

² Имя Ломоносова то и дело встречается в [Васецкий, Микулинский 1959], однако обычно в контексте переиздания той или иной из уже широко цитируемых работ Ломоносова (его электрические исследования привлекли наибольшее внимание, как и у более ранних ученых) и страдает от недостатка свежего анализа. См. также [Соловьев, Ушакова 1961: 18–41; Зубов 1956]. Тщательно обоснованный отказ от сильно вводящей в заблуждение историографии см. в превосходной книге [Шептунова 1995].

Возможно, лучше говорить о том, что именно героический образ Ломоносова вдохновлял последующие поколения, а не о том, что он оказал на них ощутимое влияние как исследователь³. Но даже в этом случае вдохновение подтвердить не легче, чем влияние. Изучение сил, сформировавших миф, может, однако, дать некоторые ответы на вопрос о том, почему биография Ломоносова так сильно проникла в русский культурный дискурс о науках. Репрезентативные тексты и другие символы или знаки, которые поддерживали и расширяли образ Ломоносова как ученого-первопроходца, легко идентифицируются в этот период, но именно их скрытый или явный диалог друг с другом и с мифологией в том виде, в каком ее воспринимали, придавал истории его жизни дополнительный смысл.

Особенно показательна реакция на Ломоносова А. С. Пушкина. Образ Пушкина в русской культуре стал всеобъемлющим к концу XIX века и намного превзошел по прочности образ Ломоносова. Несмотря на это, ассоциация Пушкина с Ломоносовым придавала большую силу мифу о последнем как об ученом. Ибо каким бы блистательным ни стал культовый национальный статус Пушкина, и как бы сильно он ни затмевал авторитет Ломоносова в литературе, он не умалял и не мог умалять конкретных представлений о Ломоносове как о физике и химике. Вместо этого отраженное величие Пушкина только усиливало их. Ломоносов, которым так вдохновлялся Пушкин в 1820–1830-е годы, был охарактеризован как героическими рассказами XVIII века, так и несколькими увлекательными биографиями, опубликованными в первые десятилетия XIX века. Эти рассказы не только подкрепляли ранее существовавшие легенды, они также включали элементы, которые с большей уверенностью обеспечивали их продолжающийся резонанс для последующих поколений россиян.

³ Предложение, выдвинутое, но не рассмотренное в книге [Vucinich 1984: 27]. См. также [Райнов 1940]. Определение «вдохновения» Райновым неотличимо от определения «влияния».

В. М. Севергин (1765–1826), минералог, химик, металлург и педагог [Сухомлинов 1878: 6–185]⁴, был первым русским ученым, который дал всеохватывающую оценку Ломоносову как натурфилософу. Севергин был ведущим членом как Академии наук, так и Императорской Российской академии (учреждения, занимающегося изучением русской литературы и русского языка). Такая внешняя профессиональная широта не была беспрецедентной; на самом деле многие из выдающихся российских ученых и естествоиспытателей того времени (такие как Котельников, Румовский, Озерецковский, Протасов и Лепехин) были активны в обеих организациях. Конечно, это не означало, что они были людьми энциклопедических знаний и отличались выдающимися достижениями в различных областях искусств и наук, хотя области, в которых они работали, безусловно, были многочисленными и разнообразными, что подчеркивало все еще аморфные границы между профессиями.

Такая «всеядность» по части занятий была обычным явлением, характеризующим как российскую, так и западноевропейскую научную и культурную жизнь с XVII по начало XIX века, и способствовала разнообразной деятельности натурфилософов, которые умело играли множество, казалось бы, несопоставимых ролей в обществе⁵. Сохраняющееся отсутствие четкого разгра-

⁴ Более поздним и всесторонним исследованием, посвященным Севергину, является [Ушакова, Фигуровский 1981]. В то время как их работа в целом представляет собой разумную биографию, Ушакова и Фигуровский теряют сдержанность, когда сталкиваются с интерпретацией взглядов Севергина на Ломоносова, которые они представляют как чрезвычайно благоговейные. Они рассматривают тот факт, что Севергин родился в год смерти Ломоносова, как «символ» их общей решимости способствовать развитию «просвещения, культуры и науки в России» [там же: 5]. Эта связь Ломоносова и Севергина периодически прослеживается на протяжении всей работы.

⁵ Об автобиографических и биографических попытках представить, обычно в поразительно едином повествовании, сложную жизнь натурфилософов раннего Нового времени см. [Shortland, Yeo 1996; Haynes 1994: 1–65] (ее исследования, посвященные Бэкону и Ньютону, дают самый ценный материал); [Shapin 2003; Söderqvist 2007].

ничения между, например, наукой и литературой нашло глубокое отражение в различных типах произведений, благодаря которым наследие Ломоносова как отца русской науки было поддержано и передано будущим поколениям в течение первых десятилетий XIX века. Севергин был прежде всего ученым, но в своем подходе к Ломоносову он рассматривал все аспекты его профессиональной жизни. Проще говоря, он видел в нем и химика/физика, и поэта. Основное внимание здесь будет уделено отделению мифа об ученом от мифа о литераторе и попытке реконструировать представленный Севергиным образ Ломоносова как архетипического русского натурфилософа.

В ноябре 1805 года Севергин выступил перед почетным собранием в Императорской Российской академии (среди присутствующих были Муравьев и Г. Р. Державин) [Сухомлинов 1878: 161]⁶ и произнес посвященный памяти Ломоносова пространный панегирик (похвальное слово) [Севергин 1805]⁷. Он начал свою речь с тщательно сформулированной похвалы сверх меры превозносимым достоинствам Ломоносова:

Разпространить в науках новый свет, открыть пути, ведущие их к вящему совершенству и проложить к тому первые твердые стези: сии суть такие подвиги, кои предоставлены токмо мужам редким, великими способностями одаренным [там же: 1].

В его вступлении проявляется то, что станет посланием, к которому он снова и снова возвращается в своей речи: роль Ломоносова в прокладывании новых путей в русской культуре, и особенно в науке, области с безграничным потенциалом, стала его лучшим подарком своей стране.

Даже признавая тот факт, что риторические приемы необходимы в том, что, в конце концов, было мемориальным мероприя-

⁶ Державин был самым уважаемым русским поэтом того времени.

⁷ Печатная версия, которая, по-видимому, не отличается по существу от его речи, занимает 55 страниц.

тием⁸, нельзя сомневаться в том, что Севергин находился в плену образа Ломоносова. Его панегирик⁹, который для современных читателей лучше было бы классифицировать как биографию, отражает суть мифологии, созданной предшественниками, но в то же время Севергин придает мифу особый блеск. Публичные восхваления ученых в XVIII и начале XIX века служили основным методом «популяризации» науки¹⁰. Они также, безусловно, были главным средством распространения знаний о Ломоносове в России¹¹.

⁸ Почему надгробная речь, посвященная Ломоносову, была произнесена именно в этот момент, через 40 лет после его смерти, неясно: записи не дают никаких объяснений. Вучинич предполагает, что выступление Севергина представляло для докладчика и научного сообщества «триумф “русской” ориентации в Академии и позволило исправить серьезное упущение более ранней эпохи, когда панегирик Ломоносову так и не был зачитан». [Vucinich 1984: 38]. Автор, конечно, намекает на отсутствие того, что считалось бы надлежащим панегириком Ломоносову, после его смерти. Его более широкое утверждение о том, что речь Севергина означала какую-то организованную российскую национальную кампанию, является необоснованным. Временами Вучинич слишком прислушивается к мнению таких историков, как Сухоминов и Пекарский, которые, работая в то время, когда внешняя ориентация Академии была острой проблемой, к сожалению, хотя, возможно, и неизбежно, проецировали свои собственные заботы на более ранние события в российской науке.

⁹ Панегирики (хвалебные речи) представляют собой сложную литературную форму и не должны в случае восхвалений, произнесенных в различных научных академиях в обсуждаемый период, рассматриваться «просто как выставление в качестве образца для подражания фигуры некоего идеального натурфилософа; напротив, они представляют собой арену, на которой вступают в спор различные объяснения того рода власти, которая находится в распоряжении натурфилософа. Слабо связанные формы панегирика и агиографии имеют отношение к “химии” морального авторитета» [Outram 1978: 153].

¹⁰ См. [Paul 1980]. Данная работа посвящена Парижской академии наук, где традиция произнесения хвалебных речей была наиболее развита.

¹¹ Все биографии Ломоносова XVIII века, конечно, можно было бы с такой же легкостью назвать восхвалениями или панегириками. Более поздние российские представления Эйлера, который всегда вызывал всеобщее восхищение, по-видимому, также были в определенной степени структурированы соответствующим образом, как, например, хвалебная речь, произнесенная

Прежде чем дать оценку деятельности Ломоносова в качестве профессора Академии наук, Севергин предложил своим слушателям довольно волнующий, хотя и уже хорошо знакомый биографический очерк (вплоть до того момента, когда Ломоносов вернулся в 1741 году в Санкт-Петербург после пребывания за границей) [Севергин 1805: 2–14]. Научные биографии оставались зависимыми от идеи гениальности, а потому в них обязательно присутствовал впечатляюще высокий уровень одаренности, предвещающий возвышение ученого¹². В значительной степени опираясь на работы Штелина и Веревкина (как было продемонстрировано ранее, их довольно легко интерпретировать как единый рассказ), повествование Севергина о ранних годах жизни Ломоносова повторяет то, что эти биографии говорили об одаренном детстве молодого помора. Присутствуют и детали из эссе Новикова, хотя их гораздо меньше, чем из трактатов Штелина и Веревкина.

Борьба Ломоносова в подростковом и юношеском возрасте с множеством социальных и материальных препятствий на пути к знаниям освещается неоднократно и ярко. Особое внимание уделяется увлеченности мальчика «Арифметикой» Магницкого и «Грамматикой» Смотрицкого, знаменитыми воротами в науку и литературу. Его появление на свет на периферии российской цивилизации, как и всегда, воспринимается с оттенком удивления. Наиболее важные вехи, отмечающие знаменитое восхождение Ломоносова, Славяно-греко-латинская академия, Кристиан Вольф, первое знакомство с химией, физикой, математикой, металлургией и другими науками, преодоление трудностей и, самое главное, усердное и творческое стремление «возвыситься» — все это было красноречиво представлено аудитории.

в его память в Академии наук в 1783 году. Надгробную речь, посвященную памяти Эйлера, произнес Н. И. Фусс, постоянный секретарь Академии и его бывший помощник (Фусс женился на родственнице Эйлера). См. [Fuss 1783]. За несколько недель до Фусса фон Штелин произнес краткую речь в честь покойного Эйлера на собрании Академии.

¹² Для сравнения хвалебных речей см. главу «*Paolo Frisi's Elogio*» в [Hall 1999: 108–173].

Севергин при создании своей работы использовал как автобиографические письма Ломоносова Шувалову, так и воспоминания о жизни Ломоносова на Севере, собранные натуралистом Озерецковским (и опубликованные им в 1805 году)¹³. Севергин неоднократно ссыался на собрание сочинений Ломоносова, которое, учитывая характер используемых им свидетельств, совершенно очевидно относится к изданию 1784–1787 годов [Севергин 1805: 4]¹⁴. Героические образы, созданные Ломоносовым и тщательно культивируемые современными ему биографами, явно не утратили своей силы и способности производить впечатление.

Оценивая поразительный масштаб вклада Ломоносова в российскую науку, Севергин отчаялся в своей способности адекватно донести его масштаб до своих слушателей, заявив: «Но откуда начну я изчислять подвиги сего великого мужа!» [там же: 14]. Работы Ломоносова, в конце концов, охватывали различные науки (в частности, физические и химические наблюдения),

¹³ Это были воспоминания Гурьева и записка Василия Варфоломеева о М. В. Ломоносове, изданные в [Лепехин 1805: 298–302]. Озерецковский отправился в Холмогорский край в 1788 году и получил эти отчеты у С. М. Кочнева. В них очень кратко рассказывается о ранних годах жизни Ломоносова, а также подробно говорится о составе его семьи. Озерецковский также опубликовал короткое стихотворение «Стихи на туясок», автором которого, по-видимому, был Ломоносов в 1734 году (см. [Там же: 303], а также [Ломоносов 1950–1983, 8: 7, 864–866]). Если дата точна, то это первое известное сочинение Ломоносова. И. И. Лепехин, которого Озерецковский почтил составлением вышеупомянутого тома, много путешествовал по окрестностям места рождения Ломоносова в 1771–1772 годах (некоторое время его сопровождал Озерецковский, который тогда был студентом) и сделал описание местности. Подробнее о путешествиях Лепехина и Озерецковского по Крайнему Северу России см. [Лукина 1961: 336–345]. Озерецковский и Лепехин оба стали членами Академии наук, помогли составить собрание сочинений Ломоносова 1780-х годов, изданное Академией. Их интерес к Ломоносову, по-видимому, был давним.

¹⁴ Севергин знакомит слушателя/читателя с биографией, опубликованной вместе с собранием сочинений Ломоносова. Это была биография Веревкина, включенная в издание трудов Ломоносова 1784–1787 годов. Большая часть переписки Ломоносова с Шуваловым также была опубликована в этом собрании.

литературу во многих ее проявлениях, язык, русскую историю и так далее.

Севергин отделял научную деятельность Ломоносова от других его занятий и проявлял настойчивость, пытаясь донести до своих слушателей то, что считал энциклопедическими особенностями трудов Ломоносова, поскольку «свидетельствует о них польза, которую он ими принес отечеству». Так как же тогда вообще возможно воздать ему должное? «От похвал ли достойных его творений, рачения и дарований? Но хвалят его науки, прославляет отечество и благословляют все отличную от трудов его пользу приобретающие» [там же: 15].

После внушительного обзора достижений Ломоносова в области русской литературы [там же: 15–40], в ходе которого Севергин позаимствовал значительные куски из некоторых самых известных его работ в области поэзии (область, в которой Ломоносов оказал наибольшее влияние на литературу), Севергин переключил свое внимание на науку. Делая этот переход, он просит своего слушателя о дальнейшем снисхождении: «Обременил я уже внимание Ваше, почтенные слушатели; но долг велит мне перейти к показанию другого рода упражнений сего мужа» [там же: 41]. Он настойчиво намекает, что именно в науках Ломоносов добился самых значительных успехов. Читателям не нужно было напоминать, что Ломоносов изначально «отправлен был в чужие края для изучения опытной Физики и Химии. И в сих науках показал он не менее пользы отечеству, не менее знаний, не менее трудолюбия», чем во многих других своих занятиях. Особое внимание было уделено тому факту, что «Ломоносов исправил [фактически построил] и обогатил Лабораторию Академическую согласно тогдашним в Химии познаниям, и производил в оной сам многочисленные опыты Химические и Физические».

Из-за продолжающегося пренебрежения со стороны властей российские ученые лишь урывками могли заниматься лабораторными исследованиями в своей стране после возвращения из Западной Европы, где большинство российских химиков, физиков и других ученых все еще получали углубленное, а во многих

случаях и базовое образование [Brooks 1989]¹⁵. Учеба и исследования за рубежом (командировки) оставались основополагающей чертой карьерного пути большинства российских ученых вплоть до первых лет существования Советского Союза. Восхваление Севергиным борьбы и успехов Ломоносова могло оказать некоторую помощь тем, кто во все еще только зарождающемся российском научном сообществе был заинтересован в расширении возможностей или просто наличии материальной базы в России. Можно было ожидать, что наличие героического предшественника будет способствовать повышению статуса науки и ученого-практика [Biagioli 1993: 87–88; Cantor 1996: 172; Outram 1976: 102].

Присвоив себе удивительно вдумчивое и самодостаточное замечание, которое Ломоносов сделал в письме к Шувалову [Ломоносов 1784–1787, 1: 323]¹⁶, Севергин вновь подтвердил, что для Ломоносова занятия физикой и химией «служили... более средством к отдохновению, нежели какою либо многотрудною работою» [Севергин 1805: 41]. Это было тонкое возражение против мнения тех из присутствующих, которые полагали, что Ломоносов был поэтом, вынужденным по характеру своего положения в Академии наук заниматься научной работой. На самом деле все было наоборот. Требования покровительства и необходимость повысить свое положение в культурной иерархии, где роль натурфилософа была еще слаба, заставили Ломоносова тратить свое драгоценное время на сочинение од своим патронам, как близким по духу, так и придворным чинам. Этим Севергин не отрицает больших преимуществ, которые Ломоносов извлек из усердного общения со своими покровителями (он выделил Шувалова и М. И. Воронцова), но, возможно, Ломоно-

¹⁵ Исследование Брукса, посвященное зарождающейся профессии химика, с высокой степенью эквивалентности применимо и к физикам. Сам Севергин несколько лет учился у Й. Гмелина в Геттингенском университете. См. [Ушакова, Фигуровский 1981: 22–23].

¹⁶ См. также [Ломоносов 1950–1983, 10: 475]. Это письмо было процитировано в главе 1 (см. сноску 52).

сов по-настоящему отдал им должное именно занимаясь наукой [там же: 47–55]¹⁷.

Рассматривая теоретические работы Ломоносова по физике и химии, Севергин одобрительно выделяет некоторые из них, опубликованные в XVIII веке в журнале Академии «Комментарии» («Commentarii», а позже «Novi Commentarii») [там же: 41–42]. Эти документы ясно демонстрируют, что «показал он себя любопытным и деятельным природы испытателем». Однако, как подчеркнул Севергин, они были опубликованы на латыни, что, по-видимому, делает их менее полезными в качестве ориентиров для будущих или даже современных ученых. Севергин не касался основного содержания рассуждений Ломоносова, поэтому трудно избежать подозрения, что он рассматривал их как анахронизмы.

Позже в своем выступлении Севергин подтверждает это подозрение. Совершив наводящий на размышления переход к следующему пункту своей речи, он переводит внимание аудитории с этих диссертаций на другие: «я останавливаюсь токмо на тех его разсуждениях, кои, яко ближайшия к пользе нашего отечества, изданы особо на Российском языке» [там же: 42]. Указывая на русскоязычные работы, он ограничивает обсуждение трудами, более доступными лингвистически и научно, теми, которые, следовательно, лучше могли служить объектами для подражания как ученым его времени, так и ученым будущего. Кроме того, его явно интересовали работы принципиально более «практического» содержания, а именно те, которые предлагали определенный уровень доступности, наряду с обещанием потенциальной пользы для страны, большей, чем та, которую обещали экскурсии Ломоносова в область корпускулярной теории.

Среди работ, напечатанных или публично прочитанных при жизни Ломоносова¹⁸, которые Севергин считал особенно полез-

¹⁷ В отличие от Радищева, этого диссонирующего голоса в ранней мифологии, сложившейся вокруг имени Ломоносова, Севергин точно видел значительные привилегии, полученные Ломоносовым в результате успешной манипуляции покровительством.

¹⁸ О широком распространении научных трудов Ломоносова при его жизни см. [Сводный каталог 1962–1975, 2: 162–177; Тюличев 1988: 213–276].

ными продуктами «духа к исследованию стремящегося», он называет «Слово о пользе химии», «Слово о воздушных явлениях, от электрической силы происходящих», «Слово о происхождении света, новую теорию о цветах света представляющее», «Слово о рождении металлов от трясения земли», «Рассуждение о большей точности морского пути» и «Явление Венеры на Солнце, в те времена бывшее» [Севергин 1805: 42–44]. Они сопровождаются пояснениями Севергина, который в первую очередь пытается передать свою благоговейную реакцию на глубину знаний и рассуждений Ломоносова. Каждая из этих работ была либо непосредственно рассмотрена, либо, по крайней мере, упомянута одним из авторов биографий XVIII века. Тем не менее, поскольку они так недвусмысленно перекликаются с мифологическими тропами, некоторые утверждения Севергина заслуживают дальнейшего изучения.

Поскольку память о смерти Рихмана во время экспериментов с громовой машиной, по-видимому, все еще была жива в исторической памяти собравшихся, работа Ломоносова с ним над электрическими исследованиями получила восхищенную оценку. В этом труде, утверждает автор речи, «находим верное изображение неутомимости его в подобных исследованиях, справедливости заключений по тогдашним в физике и химии понятиям и даже, — здесь Севергин вспоминает об опасностях, с которыми столкнулся Рихман, а следовательно, и сам Ломоносов, — неустрашимость в опытах» [там же: 42–43]. Ломоносов показан здесь как бесстрашный любознательный ученый, однако без каких-либо опрометчивых выводов относительно конечной значимости его открытий.

Предполагаемая связь с Франклином, а тем более предположение о предвосхищении Ломоносовым его электрических гипотез, отсутствует в изложении Севергиным этого вопроса. Имя Франклина долгое время высоко ценилось в российских культурных и научных кругах¹⁹. Сравнение его с Ломоносовым, как показано

¹⁹ На протяжении всего XIX века репутация Франклина приобретала все более политический оттенок, обычно за счет его научной деятельности. Однако, как мы видим в «Путешествии» Радищева, политическая деятельность

выше, было предложено в более ранних биографиях (Муравьев упорно отстаивал равенство этих ученых); оно также будет часто появляться и в более поздних оценках²⁰. В речи Севергина такой явной корреляции нет. В этом (и многом другом) есть косвенные

Франклина уже имела большое значение в первых русских представлениях о нем. В советский период он был представлен как революционер, чьи социальные и научные взгляды были объединены в «прогрессивном» деистическом мировоззрении. Апофеоз этого подхода имел место во время празднования юбилея Франклина в 1956 году, проходившего, среди прочего, в Академии наук и Московском университете. Идея о том, что Ломоносов был русским Франклином, хотя как ученый превосходил Франклина и было бы вернее утверждать, будто Франклин — это Ломоносов Америки, также была представлена как самоочевидная. Несмотря на иногда преувеличенную риторику, научной деятельности Франклина по-прежнему уделялось серьезное внимание, как, например, в речи П. Л. Капицы, произнесенной на главной церемонии чествования Франклина в Московском университете [Капица 1956]. Двухсотлетний «интерес» России к Франклину рассматривается в [Радовский 1958]. К сожалению, неспособность Радовского использовать западные документальные коллекции сильно ограничила сферу его работы. И. Б. Коэн рассматривает известность, которой пользовался Франклин в Западной Европе и России, как возникшую благодаря его исследованиям в области электротехники, в [Cohen 1990: 112–114]. См. также [Dvoichenko-Markov 1947: 250–251] о Франклине и его прерванной связи с Ломоносовым. Работа [Huntington 1959] представляла бы больший интерес, если бы автор действительно попытался сравнить этих двух людей. Книга [Prince 2006] предлагает мало нового и о Франклине, и о его связях с Россией или интересе к ней.

²⁰ Однако до начала XX века, когда Меншуткин опубликовал первую из своих многочисленных работ о Ломоносове, ассоциации между Франклином и Ломоносовым описывались во многом так же, как и в работах XVIII века: предположения об эквивалентности их усилий (хотя речь явно не шла о теоретическом или экспериментальном превосходстве Ломоносова) были постулированы, но в поддержку таких утверждений было представлено мало убедительных доказательств. Д. М. Перевощиков (бывший профессор астрономии в Московском университете, впоследствии академик) был, пожалуй, самым активным ученым первой половины XIX века, работавшим над тем, чтобы подчеркнуть сходство исследований электричества Франклина и Ломоносова. См., например, речь, произнесенную Перевощиковым в Московском университете в 1831 году о самой известной электротехнической работе Ломоносова [Перевощиков 1831: 491–500], и [Перевощиков 1833: 423–425, 440–441]. Зубов выявил интерес Перевощикова к Ломоносову

отголоски «Слова о Ломоносове» Радищева²¹. Хотя Севергин, в отличие от Радищева, был ученым и, следовательно, находился в лучшем положении, чтобы оценить работу Ломоносова, их оценки его оригинальности в областях натурфилософии параллельны друг другу и ставят под сомнение определенные натяжки, связанные с мифом о Ломоносове. В то же время оба оставляют значительный простор для его дальнейшего развития.

Комментируя работу Ломоносова в области оптики, которую Муравьев к выгоде для него противопоставил работе Ньютона, Севергин просто заявляет (со ссылкой на идею Ломоносова, которую он не снабжает подробным толкованием), что она «хотя не совсем согласна с нынешними о сем предмете понятиями; но доказывает его [Ломоносова] остроту и дух к исследованию стремящийся» [Севергин 1805: 43]. Возможно, прямого отождествления с Ньютоном здесь и не было, но как образцовый исследователь Ломоносов, опять же, заслуживал того, чтобы за ним следили. За исключением восхищенных слов Муравьева о Ломоносове, отчетливые сопоставления достижений Ньютона и Ломоносова, в отличие от их имен²², были редкостью до самого Меншуткина, писавшего спустя столетие после речи Севергина.

Для Севергина теории Ломоносова не выдержали испытания временем; тем не менее он не преминул приписать ему удивительный набор научных навыков. Исследование Ломоносовым

и уделил ему много внимания в [Зубов 1956: 409–424]. Задержка с популяризацией его исследования, по-видимому, связана с тем фактом, что Перовщиков был ученым, который время от времени ссылался, хотя и довольно поверхностно, на Ломоносова в своих трудах. Это не означает, что у него не было интереса к Ломоносову; он явно интересовался им, но, похоже, просто не оказал большого влияния на историографию или мифологию — пока его не обнаружил Зубов.

²¹ Можно предположить, что Севергин читал «Слово о Ломоносове» Радищева, но в настоящее время это никак нельзя проверить.

²² По крайней мере, частичное подтверждение этого можно найти при внимательном прочтении [Васецкий, Микулинский 1959]. Аналогии, проводимые между Ломоносовым и Ньютоном в русской литературе XIX века, в отличие от аналогий, содержащихся в научных работах, могут привести к иному выводу.

геологических процессов земли — область, которая вызвала одобрение Радищева, — является показательным примером. Утверждая, что положения Ломоносова «не совсем приняты» среди современных мыслителей, он тем не менее настаивает на том, что они «уважаются знаменитейшими во всеобщей Химии, Metallургии и Минералогии писателями» [Севергин 1805: 43]. В этом нет противоречия, поскольку в суждении Севергина ощущается представление о том, что научное знание развивалось со времен Ломоносова, и его идеи, какими бы исключительными они ни были для своей эпохи, просто больше не были актуальны²³. Такое линейное мышление постоянно мешало написанию истории науки, особенно в жанре научной биографии²⁴. Его влияние на представления о Ломоносове заключалось в том, что содержание его работы, по крайней мере на какое-то время, было сильно отдалено от его жизни.

Достижения в области навигации («Рассуждение о большей точности морского пути») играли центральную роль в экономическом и политическом благополучии России, а потому неудивительно, что Севергин обратил на них внимание. Усилия Ломоносова по прокладке северного пути на Восток были одобрены, хотя больше за то, что он «показал сведения свои не только в Физике, но и в Математике» [Севергин 1805: 43], чем за его осуществимость. Предполагаемые способности Ломоносова к физике и математике также помогли ему с «тщанием» проводить наблюдения из Санкт-Петербурга за прохождением Венеры перед Солнцем («Явление Венеры на Солнце») [там же: 43–44]. Оче-

²³ Анонимный автор работы «О физических сочинениях Ломоносова» (Атеней. 1829. № 2) осудил хвалебную речь Севергина за то, что последний упустил из виду важность физических диссертаций Ломоносова [О физических сочинениях 1829: 110]. Несмотря на эту критику, автор, который, как предполагают многие, был Перевошиковым, основывал свое суждение на тех же документах, которые Севергин упомянул в своей речи, и мало что добавил к выводам своего предшественника.

²⁴ Я снова отсылаю заинтересованных читателей к сборнику Шортленда и Йео [Shortland, Yeo 1996], где этот вопрос поднимается, по крайней мере косвенно, в каждой статье.

сточенный спор, который возник у него с Ф. Эпинусом по поводу затмения, а точнее, по поводу того, кто будет надзирать за наблюдениями (некоторое время Эпинус был технически ответственным за них, что привело к апоплексическому удару Ломоносова), конечно, остался без обсуждения²⁵. Личные качества Ломоносова часто серьезно подрывали его профессиональную эффективность, но ни научные биографии, ни мифология еще не были достаточно обширными, чтобы включить менее святые качества в его жизнь, описанную на бумаге²⁶. Севергин рассказывает о нем в воодушевляющем хвалебном утверждении, что «был муж сей повсюду деятелен, повсюду отечеству полезен, повсюду великих похвал достоин» [Севергин 1805: 44].

Хотя «все прежде упомянутые подвиги достаточны бы были для составления всей славы сего мужа», Севергин тем не менее продолжил ссылаться на интересы Ломоносова в металлургии (это была область, наиболее близкая к его собственной работе, большинство работ Севергина было посвящено именно ей) [Сухомлинов 1878: 339–395]²⁷, чтобы еще больше возвысить Ломоносова. До Ломоносова на русском языке едва ли существовало руководство по различным наукам, связанным с горным делом, и этот недостаток был полностью устранен его трудом «Первые основания металлургии или рудных дел», который оказался очень ценным для России руководством²⁸. Эта работа

²⁵ Для ознакомления с документами, свидетельствующими о полных враждебности спорах Эпинуса и Ломоносова по поводу затмения, см. [Пекарский 1870–1873, 2: 730–734].

²⁶ Полемика, начавшаяся после того, как Ж. Б. Био в статье в «Biographie Universelle» (1822) решительно поставил вопрос о явном психическом расстройстве Ньютона (см. [Hall 1999: 180–181; Yeo 1998: 274–275]), похоже, еще не полностью утихла. Работа [Manuel 1968] представляет собой попытку сопоставить многоплановую личность Ньютона с его биографией. Вопрос о том, соответствует ли продукт трудов Мануэля истинной личности Ньютона, остается спорным.

²⁷ Сухомлинов дает довольно полный указатель работ Севергина. См. также [Ушакова, Фигуровский 1981: 67–110].

²⁸ Восторженную реакцию Севергина на горно-металлургическое руководство Ломоносова см. в [Севергин 1805: 44–46].

не только имела огромную практическую пользу, но и по своей сути подтверждала, что ее автор «был не только первый из Россиян, но притом искусный Химик и Metallург» [там же: 46]. Учитывая собственную профессию Севергина, это его заявление имело особый вес. Возможно, эта его оценка была лишена критики, но тем не менее идеально соответствовала законам жанра.

Несомненно, у проницательного слушателя сложилось впечатление, что Севергин последовательно подчеркивал важность наук, которые, повторяю, имели непосредственную экономическую пользу для российского государства. Он действительно ярко выделял эти области, но также ясно осознавал необходимость продолжения теоретических исследований в России и снова использовал образ Ломоносова как олицетворение незаменимого сочетания талантов. Докладчик завершил свою речь, акцентировав внимание на важном аспекте личности ученого XVIII века, который уже был указан в биографиях Ломоносова, составленных Штелином и его современниками, — правда, лишенных научного «авторитета» Севергина:

Два рода несовершенств примечаем мы не редко в ученых мужах, в Физических науках упражняющихся. Иной хороший теоретик, но худой практик; другой хороший практик, но худой теоретик. Ломоносов напротив того прозорлив был в умозрениях, и работал с успехом собственными руками [там же].

Чтобы сделать это утверждение, столь фундаментальное для историографии, недвусмысленно понятым теми знатными людьми, которые присутствовали в Российской академии, для своей последней иллюстрации научных достижений Ломоносова Севергин обратился к его работе над мозаиками. Эта работа не только показала его острое понимание абстрактных концепций в области цвета и стекла, но и дала ощутимый результат в мозаичном искусстве (Севергин был особенно восхищен «Полтавской битвой» Ломоносова) [там же: 46–47]²⁹.

²⁹ Описание Севергиным мозаичных работ Ломоносова взято из [Штелин 1850].

Севергин тесно связал имя Ломоносова с распространением наук в России в прошлом и с развитием их в будущем. Знаменитый рассказ Штелина о предсмертных сетованиях Ломоносова на то, до какого состояния дойдут науки в России без его направляющей руки, был представлен в качестве иллюстрации этой мысли [там же: 50]. То, как Ломоносов якобы «с ревностным жаром предстательствует» перед его «Меценатом» (Шуваловым), отстаивая своего бывшего ученика Н. Н. Поповского (навлекшего на себя гнев Священного Синода за перевод «Опыта о человеке» А. Поупа), хорошо используется Севергиным для укрепления имиджа Ломоносова решительно продвигать знания о человеке среди россиян³⁰. Образы, оставленные мифотворцами XVIII века, наполняют биографию Ломоносова, предложенную Севергиным. Но благодаря его высокому положению в формировавшемся научном сообществе, повышенному вниманию к широте интересов Ломоносова и четко выраженной решимости продолжать традиции его «предшественника», Севергин зарекомендовал себя в качестве мощного дополнительного катализатора в сохранении актуальности имени Ломоносова в русской культуре.

В высказывании, часто повторяемом в литературе, Сухомлинов утверждал, что «наши ученые, от Ломоносова до Севергина, отзывались на требования общественные и не мало содействовали внесению в общество просветительных начал» [Сухомлинов 1878: 2]. Это, опять же, аргумент в пользу влияния, которое он был полон решимости обнаружить. Сухомлинов считал Ломоносова точкой опоры, через которую были соединены различные направления ранней российской науки. Само существование

³⁰ Опасаясь последствий стихов Поупа, Синод заставил Поповского изменить свой перевод. Несмотря на решимость церкви исправить текст, намеки Поупа на гравитацию все еще остались в нем узнаваемы. Об этом см. [Boss 1972: 224–226; Райков 1947: 287–294; Клейн 2005: 288–290]. Была ли попытка Ломоносова привлечь Шувалова в качестве защитника Поповского столь настойчивой, как утверждает Севергин, зависит от того, насколько вольно интерпретируется письмо, отправленное Ломоносовым своему покровителю. Его полный текст, вкратце процитированный Севергиным [Севергин 1805: 51], см. в [Биллярский 1865: 215–216].

сообщения Севергина, казалось бы, прекрасно подчеркивает это влияние, за исключением того, что его речь с большей готовностью поддается совершенно иному прочтению. Решающее отличие состоит в том, что его замечания наполнены пространным и расплывчатым изображением Ломоносова как основоположника науки в России, но он не указывает прямых связей между его работой и работой последующих поколений ученых. Одновременно это также убедительно демонстрирует попытки таких деятелей, как Севергин, более четко определить и, следовательно, повысить статус науки в России в начале XIX века³¹.

Рассмотренные сочинения современников и непосредственных «преемников» Ломоносова являются наиболее заметными элементами художественного образа, создававшегося в течение нескольких десятилетий после его смерти. Эти тексты составили миф, который Пушкин начал признавать в 1820-х годах лишь частично. В меньшей степени описанию поддается эмоциональное влияние, которое имя Ломоносова оказывало на различных деятелей того времени. Весьма впечатляют сообщения о том, что мифология, окружающая память о Ломоносове, обладала такой силой, что его родной край, расположенный недалеко от Холмогор и Архангельска, стал местом поклонения³². Нет сомнений

³¹ Выступление Севергина прозвучало в то время, когда «любовь к науке» соответствовала «любви к России». Сухомлинов цитируется в [Vucinich 1984: 38]. Точку зрения Сухомлинова можно принять, не присоединяясь к его более широкому утверждению о зарождающемся русском национализме в Академии наук. Из своего исследования хвалебных речей, произнесенных в Парижской академии в XVIII веке, Пол вынес мнение: больше всего они добились того, что «описали расцвет современной им науки, опустив детали, которые могли бы неоправданно унижить главных героев в глазах общественности, и уделили особое внимание новому поколению натурфилософов, от характера и исследований которых, предположительно, зависела судьба человечества» [Paul 1980: 109].

³² Эта интригующая идея впервые привлекла мое внимание благодаря исследованию Рейфман о происхождении и эволюции русской литературной репутации XVIII века [Reyfman 1990: 96]. Она прослеживает ее источник в уникальности собственной биографии Ломоносова, поскольку «В мифах благодетель человечества обычно считался человеком неизвестного происхождения, а низкое социальное положение Ломоносова, некогда отрицатель-

в том, что после паломничества Муравьева туда была предпринята целая серия путешествий. Эти путешествия, по-видимому, закончились с поездкой П. П. Свинына, совершенной в 1820-е годы. По прошествии времени трудно найти записки о поездках в бывший дом Ломоносова, которые напоминают духовные паломничества³³. Оставляя в стороне этот увлекательный, хотя и менее ощутимый элемент ломоносовской мифологии, каждый из путешественников (среди них Муравьев, Лепехин, Челищев и Озерецковский) оставил отчет о своем посещении памятных мест. История путешествия Свинына в конечном итоге окажет несомненное влияние на историографию Ломоносова.

Павел Свинын (1787–1839) был не только редактором, писателем, художником, а иногда и дипломатом, но и страстным коллекционером русских древностей³⁴. Его роль в литературе, посвященной Ломоносову, включает в себя как описание совершенного им возвышенного путешествия, так и более точную форму исторического исследования. Свинын родился в Архан-

ная черта, стало признаком и предпосылкой его необыкновенной судьбы» [там же: 95]. Ученый в России XVIII века пользовался еще меньшим почетом, чем скромный литератор, поэтому социальные различия между натурфилософами были гораздо менее суровыми. Это двойко отразилось в ранних биографиях Ломоносова. Рождение в малоизвестном месте такой почитаемой фигуры было воспринято как заслуживающее внимания и лишенное очевидных негативных коннотаций, однако сама низость его происхождения парадоксальным образом, похоже, препятствовала становлению респектабельности наук, воплощением которых он был выбран.

³³ К 1820-м годам «сентиментальные путешественники», чьи странствия были мотивированы личным любопытством и структурированы их «эмоциональными реакциями на то, что они видели», давно вытеснили записки религиозного паломника как литературную форму в русской литературе. См. [Schönle 2000: 3]. Поездка Свинына, предпринятая для поклонения божеству светскому, но тем не менее все-таки божеству, может рассматриваться как анахронизм. С его частичным смещением элементов, некоторые из которых были явно религиозными или мифологическими, а другие более прозаическими и явно светскими, это, возможно, означало конец духовных путешествий на родину Ломоносова.

³⁴ Подробных работ о Свиныне нет; наиболее полной является ныне устаревшая работа [Данилов 1915]. Книга [Swoboda, Whisenhunt 2008] включает его краткую биографию (с. 24–33).

гельске, и его внимание к Ломоносову, по-видимому, было давним. Еще в 1812 году, находясь с консульской миссией в Соединенных Штатах, он представил Американскому философскому обществу короткую статью о Ломоносове, написанную Н. М. Карамзиным для его «Пантеона российских авторов»³⁵. Статья о Ломоносове, переведенная Свиным на английский язык, послужила основой эссе. Название указывает на литературные способности автора. Карамзин восхищался поэзией Ломоносова, но лучше всего его запомнили как идеал ученого: «Он вписал имя свое в книгу бессмертия, там, где сияют имена Пиндаров, Горацийев, Руссо. ...Если гений и дарования ума имеют право на благодарность народов, то Россия должна Ломоносову монументом» [Dvoichenko-Markov 1950: 596].

Подношением Свинына Ломоносову стало его путешествие в Архангельск в 1828 году, за которым последовала статья «Потомки и современники Ломоносова» [Свинин 1834: 218], в которой в общих чертах описана его поездка. Восхищенные оценки постоянно пронизывают повествование: «Без подвигов Ломоносова едва ли бы ученые наши писали и теперь на языке своем, едва ли бы мы убедились, что Русская Академия Наук может состоять из Русских Ученых» [там же]. Как всегда, сочинения Ломоносова на русском языке ценятся особенно высоко.

Что отличает Свинына от более ранних биографов, так это не представление о Ломоносове, а, скорее, то, что он, по-видимому, отправился в Архангельск с целью встречи с племянницей Ломоносова, уже довольно пожилой женщиной М. Е. Лопаткиной, чтобы приобрести у нее коллекцию научных, литературных и административных документов Ломоносова:

Приятности путешествия моего на родину Ломоносова заключились приобретением свертка черновых бумаг, большею частию собственной руки его [Ломоносова], на Русском,

³⁵ «Пантеон российских авторов» Карамзина (1802) был переведен Свиным как «Пантеон российских поэтов». Подарок Свинына американцам был впервые опубликован в [Dvoichenko-Markov 1950: 595–596]. В своем переводе Свинын был верен русскоязычному оригиналу, см. [Карамзин 1964: 168–169].

Французском, Немецком и Латинском языках, за весьма умеренное пожертвование. Разматривание сей драгоценной рукописи служило мне всю дорогу источником удовольствий и любопытства, и убедило в истине, что разнообразие занятий есть необходимая пища гения, в истине, доказанной Ломоносовым, Ньютоном, Лейбницем и Вальтер-Скоттом³⁶. И здесь, в сей небольшой тетради; видите образчики сих разнообразных занятий великого человека, от высоких умозрений в математических и естественных Науках до звучных стихов; от разсуждений о горном деле до проектов разнаго рода и официальных бумаг [Свиньин 1834: 229–230].

Этот отрывок оказался разочаровывающе непрозрачным для более поздних исследователей, поскольку Свиньин не предложил дальнейшего объяснения того, что это были за документы³⁷.

Его эссе, по-видимому, является продолжением более ранней статьи «Известия о недавно обнаруженных рукописях Ломоносова» (1827)³⁸. Свиньин утверждает, что получил в свое распоряжение 500 страниц научных работ Ломоносова, в основном на русском и латинском языках, около 50 трактатов. Большинство работ подпадают под рубрики химии и физики, включая многие, которые пересекались с тем, что Ломоносов называл «физической химией».

³⁶ Ассоциацию с Ньютоном можно было ожидать, с Лейбницем — в меньшей степени. Что же касается Вальтера Скотта, то его исторические романы были чрезвычайно популярны в России в первые десятилетия XIX века. Как отмечает Д. Ребеккини в [Ребеккини 1998: 418], только в 1820-х годах было сделано по меньшей мере 25 различных переводов его романов. Будучи сам историческим романистом и человеком, формирующим себя по образцу Скотта, Свиньин, несомненно, очень ценил сравнение между Ломоносовым и Скоттом.

³⁷ Исчерпывающий анализ происхождения так называемой Коллекции Свиньина (Свиньинский сборник), которую Свиньин продал Императорской Российской академии в 1836 году (это учреждение было поглощено Академией наук в 1841 году), можно найти в [Кулябко, Бешенковский 1975: 13–14, 74–89].

³⁸ Свиньин опубликовал эту статью в журнале, который он сам редактировал. См. [Свиньин 1827].

Свиньин не взял на себя оценку этих работ, за исключением тех, которые были близки к одной из его собственных областей знаний, а именно к горнодобывающей промышленности; что касается остальных, он оставил их для оценки другим³⁹. Тем не менее он считал, что они имеют большую ценность:

Быть может, что многие из наук, о коих пишет здесь Ломоносов, сделали с того времени великие успехи; но пусть просвещенный свет узнает, как обнимал их в свой век наш ученый муж, с какою легкостью и ясностью он объяснял по Руски самые трудные умозаклучения; как вступил он в борьбу с великим Невтоном и Эйлером; как многие из его мыслей, казавшихся тогда даже странными, теперь согласны с системами новейших любомудров [Свиньин 1827: 490].

Поверхностное знакомство с содержанием трудов Ломоносова, по-видимому, подтверждается ссылкой на Ньютона и Эйлера, хотя в чем заключается его несогласие с их теориями, не объясняется. С Ньютоном разногласий было много (Муравьев отметил различие их гипотез в области оптики), но с Эйлером разногласия были исключительно личными. Представление о том, что труды Ломоносова считались «тогда даже странными» характерно для будущей постоянной темы в литературе о том, что творчество Ломоносова было мало понято его современниками. Помимо этого, невозможно представить, насколько внимательно Свиньин изучал имевшиеся в его распоряжении документы.

К изучению происхождения и состава рукописей 1827 и 1834 годов подходили очень запоздало и нерешительно. Они не становились объектами детального изучения до тех пор, пока Меншуткин не использовал их через несколько десятилетий после туманного приобретения Свиньиным. Возможно, на самом деле коллекция Свиньина состояла из одной серии документов. Вопросы, заданные Свиньину относительно достоверности его

³⁹ В конце своей статьи 1834 года [Свиньин 1834: 220] он указал, что в 1828 году опубликовал два «отрывка» из горных работ Ломоносова в «Горном журнале».

статьи 1827 года, могли побудить его выпустить в ответ «Потомков и современников Ломоносова». Заядлый путешественник, Свиныин опубликовал большое количество заметок, описывающих места, в которых он побывал⁴⁰. Правдивость его рассказов была объектом некоторого недоверия со стороны его коллег-писателей и редакторов⁴¹. Бóльшая часть их критики, вероятно, возникла из литературной полемики того времени: Свиныин был связан с такими журналистами, как Ф. В. Булгарин и Н. И. Греч, которых многие литературные деятели, менее раболепствующие перед правительством, считали безнадежно реакционными. Однако некоторые насмешки могут быть вызваны тем фактом, что Свиныин действительно был склонен приукрашивать свои истории. У нас нет никаких доказательств, подтверждающих подозрения современников о его поездке в Архангельск, но более поздние ученые были не очень довольны рассказом Свиныина

⁴⁰ См. [Свиныин 1815], его иллюстрированный рассказ о своих путешествиях по северу Соединенных Штатов, в первую очередь по Филадельфии.

⁴¹ Подозрение пало также на исторические источники, найденные Свиныиным и использованные им в различных исследованиях. Корни этих сомнений трудно проследить; похоже, в то время они явно, хотя и довольно туманно, «витали в воздухе». Ранним и широко распространенным нападением на доверчивость Свиныина была басня А. Е. Измайлова «Лгун» (1824). См. [Полярная звезда 1960: 387–390, 960]. Пушкин, помимо одобрения сказки Измайлова (см. [Пушкин 1937–1949, 14: 61–62]), в 1830 году опубликовал короткую юмористическую заметку, намекающую на склонность Свиныина к предположительно дикому преувеличению. В ней было такое место: «Павлуша [Свиныин] уверял, что в доме его родителей находится поваренок-астроном, форейтор-историк и что птичник Прошка сочиняет стихи лучше Ломоносова». См. Пушкин, «Маленький лжец» [Пушкин 1937–1949, 11: 101]. См. также [Данилов 1915: 116–118]. Пушкинские поддразнивания в адрес Свиныина, однако, оставались добродушными, и литераторы продолжали спорадически контактировать, главным образом по историческим вопросам, вплоть до 1830-х годов. Умение Свиныина смешивать историю и художественную литературу продемонстрировал Р. Уортман в его анализе опубликованного Свиныиным описания коронации Николая I (1826). См. [Wortman 1995: 282–295]. Выполненные должным образом (а Уортман считает, что Свиныин был эффективным стилистом), отчеты о придворных церемониях могли оказаться политически полезными для гиперцентрализованных режимов, таких как российский.

о приобретении им рукописей⁴². Как бы то ни было, роль Свиньина как паломника на родину Ломоносова и первооткрывателя многих его «забытых» работ стала частью мифологии.

Тем, кто не знаком с Россией, почти невозможно передать глубокое значение, придаваемое имени Пушкина в жизни его страны⁴³. Такие ипостаси, как поэт, драматург, прозаик и историк, а он преуспел в каждой из этих ролей, не раскрывают и в целом не отражают его сакральный статус. Достаточно сказать, что споры о Пушкине, главным образом, но не исключительно литературные, сформировали дискуссии о состоянии русской культуры в результате его мифологически оформленной смерти после дуэли в 1837 году. Ломоносов, как создатель «современной» русской письменности, вызывал у Пушкина немалое восхищение. Впоследствии бесчисленные ученые исследовали взгляды Пушкина на литературное наследие Ломоносова⁴⁴. Многочисленные

⁴² «Жаль, — писал П. М. Перевлесский, — что Свиньин и ученый совет гор. [ного] правления [бумаги были доставлены в ученый комитет горного правления, который опубликовал два отрывка из них] не позаботились объяснить, какого содержания эти бумаги, и куда они подевались». См. [Ломоносов 1846: СXXXI]. Пекарский, похоже, не склонен был верить, что Свиньин действительно ездил на Куростров, одно из мест, которые, по его утверждению, он посетил во время своего паломничества на Север, поскольку счел описания окрестностей скудными. См. [Пекарский 1870–1873, 2: 277]. Пекарский полагается на Свиньина как на источник, хотя и не решается принимать его эссе за чистую монету, поскольку он любил все приукрашивать и преувеличивать в своих рассказах [там же: 881].

⁴³ Вдумчивые подходы к истокам и эволюции «культа» Пушкина в русской культуре содержат [Debreczeny 1997; Есипов 2006; Gasparov et al. 1993: 183–250 (особенно глава II, «Pushkin as an Institution»); Levitt 1989; Sandler 2004; Terras 1983]. Однако, возможно, лучшим введением в значение Пушкина в русской культуре является книга Абрама Терца (А. Д. Синявский) «Прогулки с Пушкиным» (1993). Дерзкая и часто сводящая с ума эллиптическая попытка Терца/Синявского раскрыть образ Пушкина показалась очень противоречивой, когда книга была наконец выпущена в Советском Союзе в 1989 году (впервые она была опубликована на Западе в 1975 году, вскоре после эмиграции автора). Но образ Пушкина до сих пор остается вызывающим чувство благоговения.

⁴⁴ Библиография, посвященная рассмотрению Пушкиным литературного наследия Ломоносова, устрашающе велика и не будет нами здесь приведена. Тем не менее я нашел следующее полезным для моих размышлений на эту тему: [Reyffman 1990; Стенник 1995].

оценки, которые встречаются в его работах, оставили неизгладимый след как на бытовом, так и на научном образе Ломоносова.

Комментарии Пушкина в основном касаются поэтических и лингвистических традиций, оставленных Ломоносовым, но некоторые из его наблюдений были весьма продуктивно использованы теми, кто интересуется научной деятельностью Ломоносова, чтобы сохранить память о нем живой и актуальной. Акцент обычно делается на нескольких высказываниях Пушкина (мифотворчество обычно избегает нюансов), вскоре ставших клише в историографии. Его суждения оказались столь влиятельными не из-за интуитивности его восприятия, как бы красноречиво они ни были сформулированы, а, скорее, из-за мифического образа самого Пушкина, который сделал его высказывания о Ломоносове неотъемлемой частью литературы. Действительно, российская аудитория может легко вспомнить многие его высказывания о Ломоносове. Пушкинское «Путешествие из Москвы в Петербург» (которое писатель сочинил в середине 1830-х годов, но которое не было опубликовано до тех пор, пока поздние редакторы не дали ему название и не напечатали его) имеет особое значение, давая краткую оценку Ломоносова. Анализ же отдельных более ранних оценок Пушкина позволит более полно проиллюстрировать его мнение.

Не столько краткие ссылки на какую-либо из наук привлекли ученых к тому, что писал Пушкин о Ломоносове⁴⁵, сколько его четко сформулированное представление о нем как о культурном герое, которое оказалось столь богатым ресурсом.

«У нас есть критика, а нет литературы». Где же ты это нашел? Именно критики у нас и недостает. Отселе репутации Ломоносова», — писал Пушкин А. А. Бестужеву в 1825 году. Конечно,

⁴⁵ Частичным исключением является статья [Алексеев 1984]. Статья Алексеева посвящена главным образом поэтическим выражениям натурфилософии и ответам Пушкина на них и лишь в некоторой степени Ломоносову; тем не менее она поучительна как напоминание о том, что поэзия была решающим средством массового распространения науки в России. Менее привлекательна работа [Соловьев 1983]. В его тексте, несмотря на владение Соловьева литературой, ему не удастся контекстуализировать интерес Пушкина к Ломоносову.

Пушкин ценил Ломоносова не за качество его произведений: «Уважаю в нем великого человека, но, конечно, не великого поэта» [Пушкин 1937–1949, 13: 177–178]⁴⁶. Казалось, творчество Ломоносова, будь то в поэзии, в драматургии, в изучении языков, в истории или естественных науках, никогда не вызывало у Пушкина особой страсти. То, что Ломоносов был первым ученым и поэтом среди русских своего времени, само по себе делало его достойной фигурой. Однако при оценке реальных продуктов творчества Ломоносова требовалась определенная осторожность.

Откликаясь на краткий французский обзор русской литературы П. Лемонте (1825), Пушкин получил возможность более полно оценить наследие Ломоносова. Посвященная литературным вопросам, его критика пересекала строгие дисциплинарные границы, которые сформировались позже. Он предостерегает от предположения, что каждое из призваний Ломоносова может быть оценено одинаково:

Соединяя необыкновенную силу воли с необыкновенною силою понятия, Ломоносов обнял все отрасли просвещения. Жажда науки была сильнеею страстию сей души, исполненной страстей. Историк, ритор, механик, химик, минералог, художник и стихотворец, он всё испытал и всё проник: первый углубляется в историю отечества, утверждает правила общественного языка его, дает законы и образцы классического красноречия, с несчастным Рихманом предугадывает открытия Франклина, учреждает фабрику, сам сооружает махины, дарит художества мозаическими произведениями [Пушкин 1825: 42]⁴⁷.

Смерть Рихмана, сходство гипотез Ломоносова с таковыми Франклина, работа в мозаичном искусстве, строительство стекольного завода и, что всегда важнее всего, непрерывное стремление к познанию — короче говоря, многие из наиболее суще-

⁴⁶ Это письмо было ответом на работу Бестужева «Взгляд на русскую словесность в течение 1824 и начале 1825 годов» (1825).

⁴⁷ Автор опирался, с некоторыми изменениями, на английский перевод текста Т. Вольф [Pushkin 1998: 122–123].

ственных к тому времени компонентов мифа о Ломоносове вновь рассматриваются Пушкиным. По мере того, как более ранние биографы, которые сделали эти элементы столь фундаментальными для биографии Ломоносова, все больше забывались, голос Пушкина становился все более и более громким.

Пушкин сосредоточился главным образом на поэтическом даре Ломоносова и счел своим долгом напомнить своим читателям, что:

Поэзия бывает исключительною страстию немногих, родившихся поэтами; она объемлет и поглощает все наблюдения, все усилия, все впечатления их жизни: но если мы станем исследовать жизнь Ломоносова, то найдем, что науки точные были всегда главным и любимым его занятием, стихотворство же иногда забавою, но чаще должностным упражнением [Пушкин 1825: 43].

Здесь он перефразирует одно из самых известных писем Ломоносова к Шувалову, которое, как мы видели, также использовалось Севергиным. Но в отличие от множества других авторов, которые цитируют это письмо довольно узко (либо чтобы описать многогранный гений Ломоносова, либо чтобы подчеркнуть, что он был ученым, которого его покровители заставили сочинять стихи), Пушкин явно больше заинтересован в том, чтобы опровергнуть миф о Ломоносове с точки зрения поэта⁴⁸. Так как, по мнению Пушкина, в поэзии Ломоносова особенно не хватало именно «страсти». Более того, утверждения Пушкина использовались для подкрепления того стойкого представления, которое, возможно, соответствует истине, что Ломоносов был прежде всего натурфилософом.

Ссылаясь на известный стих Сумарокова о Ломоносове («Он наших стран Мальгерб, он Пиндару подобен!» [Пушкин 1825:

⁴⁸ Рейфман несколько иначе трактует статью Пушкина в целом и считает, что он, по крайней мере в лингвистических вопросах, все еще находился в плену у Ломоносова [Reyffman 1990: 201–202]. Стенник частично уклоняется от ответа, последовательно ссылаясь на глубокое уважение Пушкина к Ломоносову [Стенник 1995: 129–130].

43]), Пушкин объявляет, что именно считает за «истинное Ломоносова-поэта достоинство». Ломоносов может служить символом литературы своей страны, как это справедливо для Малерба и Пиндара применительно к их литературам. Однако нет надобности осыпать саму его работу фальшивыми похвалами, так как «странно жаловаться, что светские люди не читают Ломоносова, и требовать, чтобы человек, умерший 70 лет тому назад, оставался и ныне любимцем публики. Как будто нужны для славы великого Ломоносова мелочные почести модного писателя!» Это последнее замечание относилось не только к собственным произведениям Ломоносова, но и к роли и статусу писателя в российском обществе, которые, учитывая неопределенное положение самого Пушкина⁴⁹, его глубоко беспокоили. Несмотря на все свое значение для русской литературы, его произведения через какое-то время больше не будут «модными». Не абсурдно ли также ожидать, рассуждал Пушкин, что ученые по-прежнему будут серьезно относиться и к результатам исследований Ломоносова? Они тоже были проведены и описаны в далеком прошлом и лучше служат прекрасными историческими образцами, чем рабочими прототипами.

Пушкин более развернуто изложил эти идеи в статье, которую набросал о Ломоносове для своего незаконченного «Путешествия из Москвы в Петербург» (1834–1835). В своем «Путешествии из Москвы», которое читается как полемика с радищевским «Путешествием из Петербурга в Москву», Пушкин стре-

⁴⁹ «Независимость и достоинство» имели решающее значение для саморепрезентации Пушкина. Унизительно зависимый от Николая I как его личного цензора, или, точнее, от начальника полиции Николая А. Х. Бенкендорфа, поэт не рассматривал их как цели, в достижении которых он был уверен. Кроме того, появление все более широкого круга читающей публики изменяло и уменьшало влияние меценатства в русской литературной жизни в 1820–1830-е годы, что, как это ни парадоксально, расширяло возможности русских писателей в целом и сужало его собственные. Пушкин так и не нашел ответа на вопрос, может ли дворянин-любитель превратиться в профессионального литератора. Вместо него, после своей ранней смерти, он превратился в национального барда, благословенно свободного от таких мирских вещей, как рынок. О Пушкине и меценатстве см. [Todd 1986: 51–55, 106–109].

мился вновь представить Радищева русской читающей публике и переосмыслить его наследие⁵⁰. Из-за цензурных ограничений имя Радищева и его самое известное произведение были изъяты из поля зрения общественности с начала 1790-х годов. Критикуя прямые нападки Радищева на социальные условия в России, Пушкин, возможно, смог бы тайно смягчить наложенный на Радищева запрет. Несмотря на изменения, внесенные Пушкиным в свою рукопись, произведение было опубликовано только после смерти поэта (исправленная часть была опубликована в собрании сочинений Пушкина, изданном в 1838–1841 годах)⁵¹, причем фрагмент о Ломоносове претерпел лишь незначительные стилистические исправления в ходе редакционных правок.

Как «Путешествие» Пушкина было воспринято в качестве ответа на радищевское «Путешествие из Петербурга в Москву», так и его «Ломоносов» был воспринят как выражение несогласия

⁵⁰ Пушкин сыграл такую же важную роль в формировании образа Радищева, как и Ломоносова. Например, представление о том, что Радищев, крайне подавленный отповедью, которую получил после того, как предложил ряд правовых реформ в начале правления Александра I, покончил с собой в ответ на нее или, скорее, в знак протеста, совершив поступок, который долгое время считал для себя неизбежным, было «популяризировано» Пушкиным. Радищев действительно покончил с собой, но мало что можно предположить о его душевном состоянии в то время. См. эссе Пушкина «Александр Радищев» (1836), в [Пушкин 1937–1949, 12: 30–40, 351–356]. Однако «Александр Радищев» не смог пройти цензуру до 1857 года. Пушкин занимался историей Радищева большую часть своей взрослой жизни и писал о нем во многих разрозненных произведениях. А. Г. Тартаковский в работе [Тартаковский 1999] исследует изучение Пушкиным творчества Радищева с акцентом на «открытии» им «Путешествия из Петербурга в Москву». Интересным дополнением является то, что Свинын в ходе коллекционирования русских древностей приобрел дневник секретаря Екатерины Великой А. В. Храповицкого и добросовестно описал нервную реакцию императрицы на книгу Радищева. Интерес Пушкина к журналу Храповицкого, наряду с его успешными переговорами со Свиныным по поводу знакомства с этим документом, изложена в [там же: 142–145].

⁵¹ Как «оригинальную» рукопись, так и изменения, внесенные в нее автором, можно найти в [Пушкин 1937–1949, 11: 223–267, 455–494, 562–563] (о пушкинской оценке Ломоносова см., в частности, с. 230, 248–255, 464).

с радищевским «Словом о Ломоносове»⁵². Это было несколько искаженное понимание, развившееся, без сомнения, из преобладающего мнения, что оценка Ломоносова Радищевым была крайне негативной. Однако, как было предложено ранее, его «Слово о Ломоносове» лучше рассматривать как попытку ограничить миф о Ломоносове, а не как попытку очернить ученого. Увы, любая такая попытка была истолкована как атака на Ломоносова.

Таким образом, часто критические замечания Пушкина по поводу оценки Радищевым Ломоносова, которые больше фокусируются на нелицеприятности его подхода, чем на сути того, что он написал, могут быть довольно легко экстраполированы в тезис о неприятии Пушкиным точки зрения Радищева. Отказываясь от такого толкования «Путешествия», С. Евдокимова в недавнем исследовании исторических концепций Пушкина утверждает, что он «не прямо отрицает факты, представленные Радищевым, а использует их повторно», или, скорее, «пытается исправить астигматизм исторического видения Радищева» [Evdokimova 1999: 89]⁵³. Поступая таким образом, Пушкин более явно поддер-

⁵² Возможно, первый пример защиты «Слова о Ломоносове» см. в книге П. А. Радищева о его отце [Радищев П. 1858: 432]. В ней Радищев-сын указал, что критика его отца в адрес Ломоносова была направлена, во-первых, на его склонность лстыть недостойным идолам, а во-вторых, на однообразие его стихов. Помимо этих незначительных замечаний, П. А. Радищев подчеркнул, что Пушкин совершенно неправильно понял оценку Ломоносова Радищевым, которая, как он настаивал, была в подавляющем большинстве случаев одобрительной.

⁵³ Евдокимова правильно подчеркивает, что «Путешествие» Пушкина возникает как метапоэтическое произведение, в котором автор экспериментирует с сознательным построением другого повествования вокруг уже описанного набора событий. И, конечно, Пушкин отдает себе отчет в том, что оба повествования — Радищева и его собственное — вымышлены и субъективны» [там же: 89–90]. Евдокимова лишь поверхностно обсуждает «Слово о Ломоносове» в своем исследовании (см. с. 93–94), хотя и применяет к нему аналогичные аргументы. Для дальнейшего исследования исторических интересов Пушкина см. [Wachtel 1994: 66–87]. Вахтель, с явно сильным намеком на формулировки Бахтина, использует понятие «межпоколенческого диалога» между текстами, чтобы прояснить подход Пушкина.

живал миф о Ломоносове, чем Радищев, но в то же время в целом придерживался его радищевской модификации.

Пушкин начинает довольно загадочный раздел своей работы замечанием, что «в конце книги своей Радищев поместил слово о Ломоносове», и хотя он «тщательно прикрыл это намерение уловками уважения», он на самом деле «имел тайное намерение нанести удар неприкосновенной славе *росского Пиндара*» [Пушкин 1937–1949, 11: 248]⁵⁴. Особенно крамольной для Пушкина была идея о том, что Ломоносов, хотя и сам приближался к пантеону великих, «храму славы», по словам Радищева, сам «войти во храм не мог». Но тогда Радищев действительно задает вопрос: «Бакон Веруламский недостоин разве наименования, что мог токмо сказать, как можно размножать науки?» [там же: 346; Пушкин 1937–1949, 11: 248]⁵⁵. Далее разъясняя ссылку на Бэкона, Пушкин жалуется:

Радищев говорит, что Ломоносов ни в какой отрасли наук не проложил новых следов — и тут же сравнивает его — с слордом Беконом! Таковое странное понятие имел XVIII век о величайшем уме новейших времен, о человеке, произведшем в науках сильнейший переворот и давшем им то направление, по которому текут они ныне [Pushkin 1998: 349; Пушкин 1937–1949, 11: 230, 464].

Но что касается того, чтобы, чувствуя, Ломоносова «назвать русским Беконом... К чему эти прозвища? Ломоносов есть русский Ломоносов — этого с него, право, довольно». Во времена рассуждений Пушкина образ Бэкона уже затмили деятели науки, которые лучше соответствовали романтической концепции героя, причем Ньютон, очевидно, стоял на первом месте среди всех остальных.

⁵⁴ В этом фрагменте я опирался на перевод Т. Вольф. Пожалуйста, смотрите [Pushkin 1998: 345–346]. Вольф перевела только часть пушкинского «Ломоносова». Когда я воспользуюсь ее переводом, это будет отмечено.

⁵⁵ Здесь Пушкин цитирует «Слово о Ломоносове» Радищева. (Полный отрывок см. в [Радищев 1805: 273].)

Прежние позитивные ассоциации, которые возникали при представлении Бэкона как сторонника строгого применения выдвинутого им метода, но не сделавшего каких-либо идентифицируемых открытий и не выдвинувшего разрушающих прежние представления гипотез, больше не вписываются в эпоху, когда «научный гений» рассматривался как нечто, «выходящее за рамки любых простых правил и методов для постижения новых законов природы» [Уео 1998: 278]⁵⁶. Четкое предположение заключается в том, что Пушкин читал Радищева довольно анахронично, так как в XVIII веке сопоставление Ломоносова с Бэконом могло рассматриваться только как высокая похвала. С другой стороны, Пушкин, возможно, не ошибся в оценке Радищева; скорее всего, он пытался спасти сравнение с Бэконом, когда оно уже не было хвалебным. Брошенная Пушкиным Радищеву реплика о том, что «Ломоносов был великий человек. Между Петром I и Екатериною II он один является самобытным сподвижником просвещения. Он создал первый университет. Он, лучше сказать, сам был первым нашим университетом» [Pushkin 1998: 346; Пушкин 1937–1949, 11: 249]⁵⁷, не кажется противоречащей оценке Ломоносова Радищевым. Действительно, редко можно найти исследование о Ломоносове, в котором не повторяются приведенные выше строки Пушкина.

В то же время Пушкин заявляет, что стихи Ломоносова (которые, кстати, он отверг как оказавшие «вредное» влияние на русскую литературу) продемонстрировали «отсутствие всякой народности и оригинальности» [Pushkin 1998: 347; Пушкин 1937–1949, 11: 249]. Это суждение не было направлено против научных достижений Ломоносова: Пушкин утверждал, что важно иметь

⁵⁶ Гаскойн считает, что относительное пренебрежение ролью Д. Бэнкса как «государственного деятеля науки» проистекает именно из таких концепций [Gascoigne 1996: 243].

⁵⁷ Вольф перевела «просвещение» как «образование» («education»). Судя по моему пониманию Пушкина, «просвещение» («enlightenment») кажется более удачным выбором. Однако это решение не просто семантическое и в определенной степени зависит от того, согласны ли вы с идеей русского Просвещения XVIII века.

в виду, что «Ломоносов сам не дорожил своею поэзией и гораздо более заботился о своих химических опытах». Здесь Пушкин возвращается к известному сетованию Ломоносова Шувалову о том, что он является прежде всего ученым, которого, к ущербу для развития наук в России, часто не пускают в лабораторию возложенные на него обременительные обязанности.

Чтение переписки Ломоносова, отмечает Пушкин, быстро раскрывает его истинное призвание: «с каким жаром говорит он о науках, о просвещении!» Пушкин приводит отчет, который Ломоносов отправил в Академию наук с подробным описанием своих обязанностей в различных областях в 1751–1756 годы [там же: 249–253]⁵⁸. Члены Академии обычно отправляли такие отчеты в администрацию. Что особенно важно в данном отчете, так это то, что, хотя за каждый из этих годов Ломоносов записывал свою деятельность в области изучения русской истории, а также языка и литературы, эта деятельность бледнеет по значимости по сравнению с краткими описаниями его трудов в области химии и физики, которые возглавляют список каждого года. Ломоносов всячески подчеркивал тот факт, что он проводил множество химических и физических экспериментов. Его биографы, естественно, сочли бы такое подчеркивание Ломоносовым своих экспериментаторских способностей ценным источником. Пушкин делает самоочевидный вывод из ежегодного обзора, утверждая, что «ничто не может дать лучшего понятия о Ломоносове» [Пушкин 1937–1949, 11: 249].

Послание Ломоносова в Академию, каким бы рутинным оно ни являлось, было использовано Пушкиным, чтобы подчеркнуть усилия Ломоносова по постоянному подтверждению своего статуса как в Академии наук, так и в российском обществе. Быть поэтом во времена Пушкина было не более безопасно, чем быть ученым

⁵⁸ Пушкин ошибочно заявил, что доклад предназначался для Шувалова, тогда как он был адресован президенту Академии наук, которым в то время (1757) был К. Г. Разумовский. Перечень занятий охватывал деятельность Ломоносова в 1751–1756 годы, а не с 1757 года, как отмечал Пушкин, и впервые был напечатан в «Московском телеграфе» (1827, часть 18, № 2, с. 109–117). См. также [Ломоносов 1950–1983, 10: 388–393, 783–786].

или литератором во времена Ломоносова. На самом деле, из-за растущего устаревания прежних структур покровительства, поиск чести и респектабельности был, возможно, еще более проблематичным. Как с отчаянием спрашивает Пушкин, лучше ли посвящать свои сочинения «какому-нибудь шельме и вралю» (имеется в виду чернь), чем посвящать их, как это делал Ломоносов, «доброму и умному вельможе» [Pushkin 1998: 348; Пушкин 1937–1949, 11: 255]?

Пушкин намекал на Шувалова. Если бы существовал более персонализированный механизм покровительства, даже в чрезмерно идеализированной форме просвещенного спонсора, можно было бы добиться значительной роли для себя в обществе, не полагаясь на капризы общественного мнения. Пушкин подчеркнул это цитатой из разгоряченного письма, которое Ломоносов отправил Шувалову в 1761 году. Его покровитель тайно пытался добиться примирения между Ломоносовым и Сумароковым; Ломоносов, сбежав с одного собрания, горько пожаловался Шувалову: «Я, ваше высокопревосходительство, не только у вельмож, но ниже у господ моего бога дураком быть не хочу» [там же: 254]⁵⁹. Борьба Ломоносова за сохранение того, что он считал своей честью, произвела на Пушкина большое впечатление⁶⁰. Он перефразировал данный отрывок из Ломоносова в дневниковой записи 1834 года [Пушкин 1937–1949, 12: 329] — в то время со стороны цензоров его мучило пренебрежение, как мнимое, так и реальное, а следовательно, и со стороны Николая I.

Радищев осудил мольбы Ломоносова, обращенные к его меценатам. Пушкин, используя перспективу, которую давала ему историческая дистанция, привнес в свой вывод больше нюансов.

⁵⁹ Пушкин верно передал слова Ломоносова, которые можно найти в [Ломоносов 1950–1983, 10: 546] (письмо датировано 19 января 1761 года). М. П. Погодин, который опубликовал его в издании «Уrania. Карманная книжка на 1826 год для любителей и любителей русской словесности» [Уrania 1998: 39–40], первым привлек внимание Пушкина к этому письму. Подробнее о том, что заставило Ломоносова выразить протест Шувалову, см. [Живов 1997: 48–49].

⁶⁰ Использование Пушкиным этого письма в контексте его собственной неопределенной профессиональной ситуации в то время упоминается в [Bethea 1998: 75; Jones 1990: 61–62; Reyfman 1990: 221–222; Стенник 1995: 286].

Хотя собственные обстоятельства Пушкина глубоко повлияли на его анализ самопрезентации Ломоносова, они также, по-видимому, дали ему большее понимание, чем проявил Радищев, который также зависел от покровительства⁶¹. Что касается оценки Пушкиным научной деятельности Ломоносова, то, как и Радищев, он сосредоточился на изображении Ломоносова как первого русского ученого, героического открывателя новых перспектив для своего народа. Усилия Пушкина по восстановлению ассоциации Ломоносова с Бэконом красноречиво это подчеркивают. Его тон более почтителен, чем у Радищева, но именно в тоне и заключается разница: в акцентах никаких значимых расхождений нет.

Даже включение Пушкиным в свою работу отчета о службе Ломоносова в Академии, посвященного в первую очередь химии и физике, было использовано им не для того, чтобы превознести работу Ломоносова как экспериментатора, а для укрепления и без того широко распространенной самоидентификации Ломоносова как олицетворения достижений, которые науки принесли в Россию. Или возьмем знаменитую строчку Пушкина, с которой Ломоносов от души согласился бы: «Он... сам был первым нашим университетом». Тем не менее того, что сделало работу Пушкина о Ломоносове такой убедительной, такой цитируемой в литературе и в конечном счете определяющей то, каким культовый образ Ломоносова как отца русской науки будет выглядеть для последующих поколений, нельзя было найти строго в его словах, которые, хотя и были словами преданного поклонника, были тщательно продуманными. Необычайное почтение, с которым русская культура относилась к Пушкину, позволило его высказываниям о Ломоносове, как бы сильно они ни перекликались с суждениями предыдущих мыслителей, приобрести ореол глубины.

⁶¹ Или как развивает эту мысль С. Евдокимова: «В своей защите Ломоносова рассказчик Пушкина демонстрирует, что на самом деле Ломоносов был достаточно храбр, чтобы защитить свое собственное достоинство, но что представление Ломоносова о достоинстве явно отличалось от представления Радищева» [Evdokimova 1999: 94].

В 1865 году Академия наук предприняла далеко идущие усилия по официальному закреплению мифа о Ломоносове. Этому предшествовала менее системная, хотя и более привлекательная в интеллектуальном плане попытка институционализации и по крайней мере частичной «историзации» воспоминаний о первом российском ученом, предпринятая в Московском университете в 1855 году. Это не означает, однако, что за время, прошедшее после Пушкина, история Ломоносова привлекла меньшее число поклонников. На самом деле в этот период были созданы работы большого масштаба, научные по характеру и страстные по аргументации⁶².

Некоторые из них остаются ценными или, во всяком случае, интересными исследованиями. Чего они, по-видимому, не смогли сделать, так это заметно добавить что-то новое к образу Ломоносова как национального символа наук или изменить его. Но как был создан этот образ, или, точнее, каким образом и с какой конкретной целью его использовали российские историки, ученые и писатели — вопросы, к которым теперь необходимо вернуться. Конечно, на них можно получить только предварительные ответы, но, возможно, изучение церемониальных обрядов поклонения, посвященных Ломоносову в России середины XIX века, дает редкую возможность исследовать суть мифологии и ее непреходящую силу.

⁶² Две забытые публикации этого периода — двухтомный, полностью роман-тизированный исторический роман К. А. Полевого о Ломоносове «Михаил Васильевич Ломоносов» [Полевой 1836–1887] и опубликованная диссертация славянофила К. С. Аксакова о литературной и лингвистической деятельности Ломоносова [Аксаков 1846] (переиздана в 2011-м, в год 300-летия со дня рождения Ломоносова). Статья Аксакова представляет собой плотную смесь лингвистической истории славянского и русского языков, русской литературной критики, русской истории, гегельянства (своего рода) и русского национального чувства, стержнем которого служит Ломоносов. Работы [Лысцов 1983: 70–258], а также [Соловьев, Ушакова 1961: 42–56] являются полезными путеводителями по широкому спектру русских литературных и исторических источников первой половины XIX века, которые так или иначе касаются Ломоносова. Однако политические предубеждения, которые пронизывают их, делают их интерпретации сомнительными.

Глава 4

Чествование «первого ученого» России

На собрании в Московском университете 12 января 1855 года, состоявшемся по случаю столетнего юбилея университета¹, историк, издатель, ученый и энтузиаст русского прошлого М. П. Погодин (1800–1875)² выступил с речью, посвященной выдающимся достижениям Ломоносова в содействии распространению знаний в России XVIII столетия. Он считал, что Ломоносов заслуживает похвалы не только как «первоначальник отечественной науки, славный сеятель просвещения, естество-

¹ Описание торжеств см. в издании «Столетний юбилей Императорского Московского университета» (М., 1855).

² Погодин, сын отпущенного на волю крепостного, в то время был членом Академии наук, а ранее занимал кафедру русской истории в Московском университете. Погодин, человек, очень близкий к С. С. Уварову, многолетнему президенту Академии наук и в прошлом министру просвещения, был убежденным сторонником официальной консервативной политики «народности» («православие, самодержавие, народность»), сформулированной Уваровым и поддерживаемой режимом Николая I. Он также, наряду с С. П. Шевыревым, был редактором журнала «Москвитянин». Для получения дополнительной информации о Погодине обратитесь к [Павленко 2003; Thaden 1999: 90–101; Whittaker 1984: 102–107]. Составленная Н. П. Барсуковым 22-томная биография Погодина [Барсуков 1888–1910] является богатым источником информации об интеллектуальной жизни в России XIX века. Как биография она ценна почти исключительно своей огромной документальной базой.

испытатель, химик, физик, географ, металлург, историк, филолог, прозаик, поэт» [Погодин 1855: 1]³. Возможно, еще более значимой была длившаяся всю его жизнь борьба как с личными недоброжелателями, так и с более широкими силами, выступающими против развития науки в России. Эти его враги, несомненно, были одними и теми же людьми. Борясь с ними, Ломоносов возвысился над всеми остальными в «умственной области», в которой он работал, и «поднял один на могучие плечи свои преобразовательное дело Петра Великого».

По мнению Погодина, многие задачи, которые взял на себя Петр Великий, были, по сути, направлены на модернизацию России. Это была цель, которую, конечно, разделял и Ломоносов. Погодин был стойким защитником и толкователем духа петровских реформ и, соответственно, ревностно стремился всемерно укреплять репутацию Петра Великого⁴. То, что он связал труды Ломоносова с трудами почитаемого царя, не только подчеркивает неизменное уважение Погодина к вкладу Ломоносова⁵, но и раскрывает подход, который он намеревался использовать применительно к окружающей его мифологии, так как не только

³ Речь Погодина, по-видимому, не была изменена для публикации (в «Москвитянине» ее объем составляет 16 страниц). «Воспоминание о Ломоносове» в отрывках содержится в [Столетний юбилей 1855: 83–94].

⁴ Почитание Погодиным Петра Великого как правителя, который принес в Россию цивилизацию, определяемую как в политических, дипломатических и военных терминах, так и в манерах, возможно, лучше всего подтверждается в его эссе «Петр Великий» в [Погодин 1846: 333–363]. Погодин вполне уместно завершает свой гимн Петру цитатой из ломоносовского «Слова похвального блаженной памяти Государю Императору Петру Великому» (1755).

⁵ К середине XIX века связь биографии Ломоносова с образом Петра Великого стала обычным мотивом в работах о Ломоносове. В 1830–1840-е годы Белинский был особенно активен в продвижении этого приема. Слова «Ломоносов был Петром Великим нашей литературы» [Белинский 1953–1955, 9: 674] стали одной из самых расхожих его цитат. Объяснение, почему тогдашний ведущий российский критик счел, что «между Ломоносовым и Петром большое сходство», см. в [там же, 2: 186]. Рейфман рассматривает использование аналогий с Петром в литературных биографиях в [Reyffman 1990: 124–125].

его роль реликта прежнего российского величия убеждала Погодина в непреходящей ценности нового обращения к его биографии. Скорее, Погодин хотел сосредоточиться на Ломоносове как на живой силе, как на фигуре с определенными, все еще существующими достижениями, которые можно сохранить как живой памятник.

Ломоносов принадлежал всей России, всему Отечеству — это было, конечно, верно и очевидно для всех, — но в особенности принадлежит он Петербургской Академии Наук, где он служил, и Московскому университету, в основании которого принимал деятельное, непосредственное участие [Погодин 1855: 2].

Как Погодин пытался убедить слушателей в лекции, оба учреждения обязаны своим фундаментальным характером Ломоносову, поэтому Погодин говорил о нем как о «знаменитейшем Русском Академике и Русском Профессоре».

Академия наук и в меньшей степени российская университетская система в 1850-х годах стали подвергаться все более критическому вниманию со стороны представителей интеллигенции из-за их кажущейся неуместности или, что более серьезно, безразличия к насущным экономическим, социальным и политическим проблемам, стоящим перед страной⁶. Учтем, что в 1855 го-

⁶ Критически настроенные слои образованного населения (интеллигенция), по-видимому, воспринимали университеты из-за их очевидных образовательных функций как менее равнодушные к повседневным заботам людей, чем Академия наук. Однако университеты в 1830–1840-х годах уже начали проводить, хотя и в небольших масштабах, постоянную научно-исследовательскую работу. Уваров был инициатором этой и многих других относительно полезных реформ в российском просвещении. Несмотря на очевидные инновации Уварова, его, в силу службы в правительстве Николая I, регулярно причисляли к реакционерам. Интересной работой, которая убедительно оспаривает большую часть общепринятого мнения об Уварове, является [Whittaker 1984] (об Уварове и о научном образовании см. с. 168–172). См. также [Хартанович 1999], где дается тщательный и по большей части хвалебный анализ управления Академией наук Уваровым. К 1870-м годам некоторые университеты (в частности, Московский и Санкт-Петербургский)

ду Россия столкнулась не только с поражением в Крымской войне, но и с вызванной смертью Николая I потенциальной политической нестабильностью. Ввиду большого контингента «иностраннных ученых»⁷, а также того, что воспринималось как понятная лишь немногим приверженность фундаментальным, а не прикладным исследованиям⁸, Академия наук столкнулась с особенно острой критикой. Погодин, возможно, был жестким государственным по своим политическим взглядам, но и признанным сторонником образовательных реформ. Будучи членом Академии наук, а также долгое время сотрудничая с Московским

стали грозными конкурентами прежнему доминированию Академии в области научных исследований в России. Эта эволюция роли университетов в российской науке вряд ли была линейной и сопровождалась государственным вмешательством или, что еще хуже, финансовым пренебрежением. Тем не менее XIX век стал свидетелем существенного расширения базы российской науки за пределами Академии наук, в университетах, а также технических институтах. Из всех естественных наук именно химия, требующая дорогостоящего оснащения лабораторий, пожалуй, больше всего зависела от щедрости правительства. Обзор места химии в российских университетах в XIX веке см. в [Brooks 1989: 147–441] (он в основном уделяет внимание изучению химии в Казанском, Московском и Санкт-Петербургском университетах) и [Brooks 19986].

⁷ Хотя националистически настроенные историки всегда были склонны к преувеличениям, похоже, что к середине XIX века Академия наук действительно рассматривалась обществом как «немецкое учреждение». [Vucinich 1984: 43–56; Соболева 1971: 43]. Когда в 1880 году Академия наук отклонила кандидатуру Д. И. Менделеева, не пожелав принять его в свои члены, это вновь вызвало споры по поводу якобы чрезмерного представительства иностранцев в Академии. Решение Академии вызвало настоящую бурю осуждения. Во многих нападках прессы утверждалось, хотя совершенно ошибочно, что именно «немецкие» (или, иначе, «иностраннные») члены Академии в своем презрении к коренным русским и славянам воспротивились законному праву Менделеева вступить в их ряды. Анализ этой широко обсуждаемой темы представлен М. Г. Гординым в книге [Gordin 2004: глава 5].

⁸ То, что различие между фундаментальными и прикладными исследованиями является совершенно искусственным, ни в коем случае не уменьшает его использования в дебатах о науке. Единство теории и практики занимает центральное место в представлениях Ломоносова. Поэтому, когда ученые отстаивали позицию Академии, постоянно упоминались труды Ломоносова, содействовавшие развитию России, как будет видно в речи Погодина.

университетом, он недвусмысленно защищал оба этих органа как жизненно важные для развития России. Отсюда вполне очевидно его желание ассоциировать престиж Академии наук и Московского университета с престижем такого национального символа, как Ломоносов.

Что касается Академии наук, то образ ее неразрывной связи с Ломоносовым является заметным элементом его самопрезентации Шувалову. В XVIII веке место Академии в России было практически противоположным тому, каким оно стало во времена Погодина, и Ломоносов усиленно пытался соединить свой собственный неопределенный статус с более прочно утвердившейся Академией наук⁹. Последующие представления о его научной работе никогда не переставали связывать с ранними годами Академии и, похоже, с высокой репутацией этого учреждения¹⁰. Но по мере того, как мифотворчество, связанное

⁹ Аналогично, избрание Ломоносова в почетные члены Шведской и Болонской академий, хотя оно вряд ли заменило признание его более престижными научными обществами в Париже, Берлине и Лондоне, по крайней мере, было воспринято Ломоносовым как полезное для его статуса в России, об этом было с помпой возведено как им самим, так и его биографами.

¹⁰ Репутация есть понятие проблематичное, которое нелегко расшифровать. Однако можно с уверенностью утверждать, что с присутствием натурфилософов такого уровня, как Я. Герман, Г. Б. Бильфингер, Г. В. Крафт и в особенности Д. Бернулли и Эйлер, первые годы Академии были для нее своего рода золотым веком. Однако к 1741 году, с уходом Эйлера — все другие упомянутые ученые закончили службу до этой даты, — Академия наук потеряла своих ведущих членов. До возвращения Эйлера в 1766 году Эпинус, а до него Рихман были, пожалуй, самыми известными ее учеными. Ломоносов был ее самым выдающимся русским натурфилософом и, конечно, в течение нескольких лет, начиная с 1745 года, был ее единственным «русским ученым» (С. П. Крашенинников, назначенный профессором ботаники и естественной истории в 1750 году, стал вторым русским натуралистом, получившим полноправное членство). Несмотря на то что международный авторитет Академии резко упал после первого десятилетия ее существования или около того, она по-прежнему представляла в России авторитетное учреждение, в то время как положение отдельно взятого физика или химика, особенно если они имели мало признания за пределами страны, едва признавалось. В западных обзорах науки раннего Нового времени Санкт-Петербургская академия наук редко упоминается иначе, нежели вскользь.

с именем Ломоносова, приобретало все большие масштабы, его репутация стала затмевать репутацию Академии наук. К середине XIX века аргументы в пользу значимости Академии все чаще подкреплялись ссылками на ее славное прошлое¹¹. Представления о преданности Ломоносова Академии и его продуктивности были незаменимым ресурсом в дискуссиях.

Даже принимая во внимание активное участие Ломоносова в основании Московского университета, представление о нем как о единственной движущей силе, стоящей за его созданием, развилось не сразу. Действительно, ни один из его биографов XVIII века не считал нужным упомянуть в своих исследованиях об «основании» Ломоносовым Московского университета или даже о его связи с ним. Севергин также проигнорировал эту связь в своей более поздней работе, и когда 30 июня 1805 года отмечалась 50-летняя годовщина университета, в пространной речи П. А. Сохатского, посвященной истории университета, роль

Исключением из этого правила является работа [McClellan 1985]. Несмотря на случайные промахи, наиболее очевидным из которых является его неспособность прочно позиционировать Академию в культурной жизни России, работа Макклеллана действительно отражает ее ранние успехи и отдает должное высокому уважению, с которым Академия некоторое время относилась к европейским ученым XVIII века. См. также прекрасную работу [Копелевич 1974: 176–229]. Здесь и в ее более поздней монографии [Копелевич 1977] Копелевич исследует основание Академии наук, ее первоначальные отношения (институциональные и интеллектуальные) с ведущими европейскими натурфилософами и с другими научными академиями, а также то значительное уважение, которым, по ее словам, она пользовалась.

¹¹ Двухтомная «История Академии наук» Пекарского (1870–1873) представляет собой апофеоз этой тенденции. Биографически структурированный труд Пекарского представляет деятельность членов Академии наук примерно за первые полвека существования данного учреждения. Его биографии — среди прочих Эйлера, Бернулли, Рихмана, Адогурова (первого русского адъюнкта, занимавшегося, по крайней мере как утверждалось, «высшей математикой») и Ломоносова (примерно на 700 страницах, его биография составляет большую часть второго тома) — содержат множество первичных и вторичных источников и по-прежнему совершенно незаменимы при изучении жизни и творчества ученых, которым они посвящены. Пекарский явно связывал Академию в том виде, в каком она существовала в последние десятилетия XIX века, со славой ее первых лет.

Ломоносова не упоминалась [Сохатский 1805]¹². Благодарность за это в основном выпала на долю Шувалова и императрицы Елизаветы Петровны. Блюментрост (который некоторое время был куратором университета вместе с Шуваловым) также получил соответствующее признание. Но в последующие десятилетия произошел полный поворот, и имя Ломоносова затмило все остальные. Часто цитируемое замечание Пушкина о Ломоносове, что «он создал первый университет», прекрасно резюмирует развивающуюся мифологию. Ко времени столетия университета «первый» российский университет все чаще рассматривался как, по сути, творение Ломоносова¹³.

Несмотря на утверждение Погодина, что «мы все знаем наизусть жизнь Ломоносова» [Погодин 1855: 3], выступающий не смог удержаться от того, чтобы подробно не напомнить своей аудитории давно известные подробности, составлявшие биографию ученого. Изложенный надлежащим образом рассказ

¹² См. также довольно скудный отчет Шевырева о событиях того дня в [Шевырев 1855: 358–361]. Этот день был отмечен обычными церемониями празднования юбилея: церковными службами, речами (по этому случаю их было произнесено шесть) и поднесением памятных даров высокопоставленным лицам, представляющим государство, церковь и университет. Вечером церемония завершилась иллюминацией. Хотя М. Н. Муравьев был в 1805 году попечителем Московского университета, он не произнес речи и не представил какой-либо другой работы, которая касалась бы участия Ломоносова в создании университета.

¹³ Первым университетом России был не Московский, а небольшое учебное заведение, номинально называемое университетом, которое было основано как часть Академии наук (1725) и получило соответствующее название. С некоторым трудом в 1726 году он принял своих первых студентов, которых было восемь. Все они были завезены из-за границы. Ломоносов в течение нескольких лет руководил образовательной деятельностью Академии, которая включала в себя также гимназию. Казалось, ему не удалось обратить вспять упадок университета (гимназия была более успешной). Академия так и не смогла привлечь в университет достаточное количество студентов или удерживать тех, кого она все-таки приняла. Бедственное положение академического университета умело представлено в работах [Schulze 1985; Смагина 1996; Толстой 1885]. Краткий отчет об исчезновении этого университета, которое произошло без помпы в конце 1760-х годов, см. в [Островитянов 1958–1964, 1: 420–423].

о героических качествах Ломоносова должен был стать в высшей степени поучительным, ибо сама его жизнь, в которой перемежались непрерывная борьба и преодоление трудностей, «это вместе и чудная картина, — одно из самых разительных явлений в нашей истории, обильной чудесами». Говорящий ясно изложил аудитории, как собравшимся перед ним, так и потомкам, мысль о необходимости подражать Ломоносову. И даже более того, не только мысль, а обязанность, так как конечная цель биографического возвращения снова и снова к идеализированным фигурам (ученым, литераторам, политикам, военным или любым другим подобным лицам) имеет большое образовательное значение.

На страницах своего журнала «Москвитянин» Погодин первым опубликовал «Черты и анекдоты биографии Ломоносова» Штелина [Штелин 1850]¹⁴. Его знания об этой, а также о других кратких биографиях Веревкина и Новикова были основательными. Более того, в какой-то степени выступление Погодина является повторением этих основополагающих текстов. Он не только выделяет многие из тех же деталей и анекдотов (последние взяты у Штелина), но и его пристальное внимание к необыкновенной юности Ломоносова, дублируя их веру в необходимые предпосылки величия. Погодин, однако, добавляет более резкий полемический выпад, направленный явно против врагов учености, или, скорее, врагов петровско-ломоносовского наследия, чем это было в работах его предшественников. Кроме того, в то время как более ранние биографы Ломоносова довольно широко использовали связанную с ним мифологию для удовлетворения современных им задач — важный фактор, объясняющий живу-

¹⁴ Погодин не верил в авторство Штелина и был убежден, что Дамаскин (бывший ректор Славяно-греко-латинской академии) был истинным биографом Ломоносова (см. сноску в главе 2). Возможно, это было результатом готовности Погодина осудить немецкое влияние в Академии — как в свое время, так и во времена Ломоносова. В [Штелин 1853] Погодин также опубликовал «Конспект похвального слова Ломоносову» Штелина. Подробнее об интересе Погодина к судьбе и восстановлению сочинений Ломоносова см. [Кулябко, Бешенковский 1975: 27, 85–98; Зубов 1956: 348].

честь мифов¹⁵, — Погодин использовал ее в весьма специфических культурных и образовательных целях. Это и стало признаком созревания мифа.

Удивительным для Погодина был тот факт, что «посадить Европейскую науку на Русской почве предоставлено было судьбою простому крестьянину, который родился в курной избе» [Погодин 1855: 3]. Происхождение Ломоносова из далекой деревни у Белого моря продолжало иметь большой резонанс в науке, как это происходит и сейчас¹⁶, и Погодин беспрепятственно вплеl в свою речь собственное восхищение этим путем. Особенно важными были первые успехи Ломоносова в преодолении препятствий на его пути к просвещению. Здесь заметно использование работ Штелина и Веревкина. Скромное экономическое и социальное происхождение самого Погодина (его семья получила вольную, когда он был ребенком) придает безошибочное впечатление искренности его эмоциональному описанию восхождения Ломоносова к вершинам научного и литературного успеха. Это также согласовывалось со смутно (в лучшем случае) сформулированным петровским стремлением к избирательно действующей меритократии.

Страсть Ломоносова к учебе получила большую похвалу выступающего. Что, возможно, наиболее конкретно развило пылкий ум Ломоносова в юности, а также сформировало его более поздние интересы, так это непрерывное чтение «Грамматики» Смотрицкого и «Арифметики» Магницкого [Погодин 1855: 4] и в конечном итоге овладение ими. То, что это произошло в его отрочестве, имело, несомненно, большое значение. С невыска-

¹⁵ Взгляд Р. Барта на миф далек от оптимистичного, более того, его видение мифа совершенно угнетающее. «Это своего рода идеальный слуга: он готовит все вещи, приносит их, раскладывает, приходит хозяин, он бесшумно исчезает: все, что остается человеку, — это наслаждаться прекрасным предметом, не задаваясь вопросом, откуда он взялся. ...Ничто не производится, ничто не выбирается: все, что нужно сделать, — это обладать новыми объектами, с которых удалены все загрязняющие следы происхождения. Это чудесное испарение истории — еще одна форма концепции, общей для буржуазных мифов: безответственность человека» [Barthes 1972: 151].

¹⁶ См. [Лебедев 1990: 16–30].

занным «кивком» в сторону Веревкина Погодин назвал эти тексты «вратами учености» Ломоносова. Новиков охарактеризовал «Псалтирь» Полоцкого как значимую для образования Ломоносова, так что и Погодин с величайшим уважением к ней упомянул о ее влиянии на ученого. Эти сочинения, каждое из которых имеет глубокое значение в русской истории, не только указывают на «жажду знаний» Ломоносова, какой бы исключительной она ни была, но и косвенно указывают слушателю на еще более глубокое влияние, которое оказали на Россию культурные реформы Петра. Наряду с призывом к распространению образования большое значение для Погодина имело бережное отношение к русскому прошлому. Поэтому те аспекты жизни Ломоносова, которые имели наиболее ясные следствия, были предметом его расширенного рассмотрения.

Сверхъестественные успехи Ломоносова в Славяно-греко-латинской академии, где его стремление получить образование в области естественных наук не могло быть полностью удовлетворено, представляют собой нечто гораздо большее, чем личные устремления самого Ломоносова. Хотя Петр и привнес науку в Россию, его преемники не смогли должным образом стимулировать ее развитие¹⁷. Напротив, Ломоносов, который был, воз-

¹⁷ Многие сочинения Ломоносова пронизаны этой темой. Замечательно иллюстрирует это его ставший популярным клише призыв, обращенный к императрице Елизавете, да и вообще ко всем русским: «Раченьем вашим показать, / Что может собственных Платонов / И быстрых разумом Невтонов / Российская земля рождать» [Ломоносов 1950–1983, 8: 206] (из его «Оды на день восшествия на Всероссийский престол Ея Величества Государыни Императрицы Елизаветы Петровны», 1747). Различные оды и ораторская проза Ломоносова, посвященные императрице Елизавете, хотя и ожидаемо полны похвал за ее достижения, почти все без исключения содержат отчетливый подтекст. Как дочь Петра Великого и его преемница телом и духом, она должна продолжать выполнять задачи, которые он поставил перед последующими поколениями, задачи, которые были упущены из виду во время правления его более непосредственных преемников, Петра II и Анны. Красноречивые призывы Ломоносова к императрице также были наглядным примером его собственного стремления к более высокому статусу, ибо, в конце концов, разве он сам не был одним из потомков Петра Великого, российским Платоном или Ньютоном?

можно, лучшим продуктом петровских преобразований, своей собственной работой в Академии наук и открытием Московского университета вернул Россию на путь, который наметил для нее Петр. Погодин убедительно донес эту мысль до своих слушателей, поскольку она представляла собой очевидную картину исторической преемственности, простиравшейся от эпохи Петра Великого через эпоху Ломоносова до той эпохи, в которую жил он сам.

Биография Ломоносова, впервые изложенная в его письмах к Шувалову, а затем оформленная биографами XVIII века, была все еще почти полностью структурирована описаниями его личных качеств. Самоотверженный труд и почти сверхчеловеческая работоспособность — вот что определяло культурное значение его деятельности. Его гений, конечно, превозносили, но именно моральные качества, которые он проявлял, в том числе пламенная решимость продвигать науку в России, вдохновляли тех, кто восхищался его жизнью. То, что его труды могли рассказать о химии и физике, не было отвергнуто, но мелочи казались ненужными, даже излишне обременительными, для широкомасштабных усилий по использованию мифологии в качестве универсальной модели, которой предстояло следовать последующим поколениям россиян¹⁸.

Возможно, типичной иллюстрацией дидактической научной биографии XIX века является двухтомное исследование Д. Брю-

¹⁸ В особенности это касалось молодых поколений российских ученых. Произведенное Д. Кантором исследование биографий, посвященных М. Фарадею, предлагает поучительную аналогию. За короткий промежуток времени после его смерти в 1867 году появилось множество работ о нем, выполняющих множество функций: «для некоторых авторов он стал великим открывателем тайн природы, в то время как для других он был ведущим христианским философом, или одним из лучших публичных лекторов, или ученым с тонкой душевной организацией — и это лишь некоторые из граней его личности». Ценность этих биографий не ограничивалась назиданием молодежи, ибо «подтекст таких повествований заключается в том, что читатели — особенно будущие ученые — должны принять методы и подходы Фарадея в качестве своей модели» [Cantor 1996: 172]. Отсутствие женщин или, верней, «неприемлемых» женщин в качестве образцов для подражания в научной биографии исследуется в книге [Vicinus 1996: 195–213].

стера, посвященное Ньютону. Эта работа, опубликованная в том же году, что и речь Погодина о Ломоносове, была основана на убеждении, что «если мы ищем наставлений во мнениях обычных людей и наблюдаем за их поведением как за примером для нас самих, то насколько интереснее следовать за самым возвышенным гением по лабиринту повседневной жизни» [Brewster 1855: 3]¹⁹. Для Брюстера жизнь Ньютона воплощала собой идеальный синтез интеллекта и приверженности моральным принципам. В его все еще влиятельном исследовании научная работа Ньютона, в отличие от дошедших до нас биографий Ломоносова, подвергалась постоянному анализу. Но представления о в высшей степени возвышенном характере Ньютона были неразрывно связаны с его гением. Как утверждает автор, для любознательно-го студента:

Труды и жизнь сэра Исаака Ньютона изобилуют самыми богатыми советами. Здесь философ научится искусству терпеливого наблюдения, лишь благодаря которому он может приобрести бессмертное имя; моралист проследит черты характера, демонстрирующие всю гармонию, которой подвержена наша несовершенная природа; а христианин с восторгом будет созерцать Верховного Жреца Науки, оставляющего изучение материальной вселенной, арену его интеллектуальных триумфов, чтобы со смирением и благоговением исследовать тайны веры [Brewster 1855, 1: 3].

¹⁹ В узком смысле работа Брюстера связана с повествованием Ф. Бейли о преподобном Д. Флемстиде, первом королевском астрономе. См. [Baily 1835]. Книга Бейли о жизни Флемстида, в которой, используя обширную переписку Флемстида, была предпринята попытка переосмыслить спор между королевским астрономом и Ньютоном за счет последнего, вызвала бесконечное недовольство среди приверженцев Ньютона. Брюстер надеялся отразить нападки Бейли на репутацию Ньютона, подчеркнуто отметив в своем предисловии: «я надеюсь, что мне удалось, хотя и более многословно, чем я мог бы пожелать, защитить прославленного героя этой работы от системной клеветы и искажения фактов, беспрецедентных в истории науки» [Brewster 1855, 1: XI]. Работа Брюстера, историография Ньютона и развитие научных биографий обсуждаются в [Hall 1999: 181–185; Higgitt 2007: 43–68, 129–157; Rice 1996: 212–219; Theerman 1985: 145–162; Yeo 1998: 270–279].

Учитывая своего рода святость, привнесенную в большинство описаний Ньютона, существовавших в XVIII и XIX веках, выстроить свою жизнь так, чтобы она стала отражением его жизни, было для слабых душ почти недостижимой задачей. Это, однако, являлось отличительной чертой таких биографий: именно героический идеал делал их такими привлекательными. Как писал Брюстер, «жизнь» Ньютона была идентична его научной деятельности. Некритичное восприятие новаторских деяний Ломоносова все еще затуманивало тщательное изучение его реальной работы или препятствовало ему. Попытка установления эквивалентности между ними еще не была отмечена в литературе.

Оценивая научные достижения Ломоносова, Погодин обратился к знакомым сюжетам. Поездка Ломоносова в Марбург («И вот он в Марбурге на лекциях у славного философа и математика того времени, ученика Лейбница, Вольфа» [Погодин 1855: 7]) осталась захватывающим эпизодом, но во время этого пребывания за границей, о котором Погодин рассказал довольно подробно, произошло знаменательное событие для сына провинциального рыбака: «здесь открылся для его любознательности новый мир». Благодаря «гениальным своим способностям, трудолюбию и деятельности» он «узнал все, что узнать было можно, овладел современною наукою» и, что имеет неоценимое значение, обнаружил, что сам может научить своих соотечественников следовать правильному пути, что он может «учредить науку в России, в любезном своем отечестве». То, что Погодин называл «европейской наукой», пользовалось неизменным уважением, хотя российские суждения о наследии Вольфа к этому времени стали весьма критичными²⁰. И все-таки, по хвалебному отзыву

²⁰ Книга Сухомлинова «Ломоносов — студент Марбургского университета» (1861) представляет собой подробный отчет об учебе Ломоносова в Германии. Тем не менее она скорее относится к литературному и лингвистическому образованию Ломоносова в Марбурге, чем к его образованию в области естественных наук и математики. Не сумев тщательно рассмотреть ни метафизику Вольфа, ни его трактовку математики, Сухомлинов иллюстрирует ряд трудностей, связанных с попыткой найти место наследию Вольфа в исследованиях Ломоносова. По сути, он утверждает, что Ломоносов заложил в Германии прочную научную основу знаний, включая неудачное чрезмерное воздействие метафизических пристрастий Вольфа, но затем (и здесь Сухом-

Погодина, блестящее научное образование Ломоносова, полученное в Германии, о специфике которого автор речи не рассказал своей аудитории, и обучение у такого выдающегося преподавателя оставались достойными упоминания.

После возвращения Ломоносова в Санкт-Петербург и его краткой службы в Академии в качестве адъюнкта по физике он был назначен на кафедру химии в 1745 году (из-за того, что Погодин полагался на хронологию, предоставленную Штелином и Веревкиным, он ошибочно датирует это событие 1746 годом). С него начинается длительный период успехов Ломоносова²¹. Хотя Погодин был убежден в дарованиях Ломоносова как химика и физика, его интерес вызвали вовсе не корпускулярные/механические исследования. Вместо этого его похвалы удостоились образовательная и организационная деятельность Ломоносова в Академии. Добившись таких «первых достижений», как чтение широкой аудитории слушателей публичных лекций по химии и физике, а также создание химической лаборатории Академии, он заложил основы изучения химии в России. Сведения, полученные в результате его экспериментов, и исследования, которые он проводил в качестве академика, были рассеяны по его научным трудам²², из чего следовало, что их влияние не было явным.

млингов не предлагает никаких наглядных доказательств) быстро отбросил эти концепции, начав свою собственную работу в Академии наук. Таким образом, Ломоносов взял от Вольфа все лучшее, игнорируя при этом более проблематичную монадологию своего наставника.

²¹ Краткое изложение автором речи более публичных достижений Ломоносова в качестве академика см. в [Погодин 1855: 9–14].

²² Среди чисто «научных» работ, на которые ссылался оратор [там же: 10], были те, которые уже либо рассматривали, либо неоднократно упоминали более ранние ученые. В их числе он назвал: «Слово о пользе химии»; «Послание о пользе стекла» (которое Погодин связал с работой Ломоносова над мозаиками); «Рассуждение об электричестве»; «Слово о происхождении света»; «Слово о рождении металлов»; «Рассуждение о большей точности морского пути»; «Наблюдения над прохождением Венеры»; и «Металлургию». Также упоминались некоторые литературные и лингвистические труды Ломоносова, такие как «Русская грамматика», «Риторика» и избранные панегирические речи. Погодин был не просто впечатлен содержанием этого «великолепного списка». Больше всего его поразила удивительная скорость создания «трудов, следовавших один за другим с изумительною быстротою».

Очевидные длительные последствия имело руководство Ломоносовым гимназией и университетом при Академии, а потому неудивительно, что Погодин его высоко оценил. Удрученный неудачами в области образовательной миссии Академии, Ломоносов разработал несколько проектов ее реструктуризации²³. Он также стремился реформировать внутреннее управление Академией наук. Участие надзорного характера в издательской деятельности Академии, планирование научных экспедиций, сочинение од и подготовка фейерверков (в частности, сочинение надписей для них) — каждое из этих занятий привлекло внимание оратора.

Подобные виды деятельности также носили заметный общественный характер, поскольку даже работа Ломоносова в лаборатории удостаивалась похвалы главным образом за ее репрезентативную ценность: вот на что были способны русские. Оценка Погодина не отличается от оценок биографов предыдущих поколений и в другом отношении: его больше всего волнует практическое значение вклада Ломоносова в русскую культуру. Он просто более четко закрепляет соответствующие образы в институциональной среде. Демонстрация того, что в Академии в прошлом успешно проводились важные исследования явно

²³ Многие официальные документы, связанные с интересом Ломоносова к образовательной деятельности Академии, можно найти в [Ломоносов 1950–1983, 9: 435–611, 847–933]. Не следует придавать большого значения представлениям о предполагаемом отвращении русских к организованному светскому образованию в XVIII веке (см. этот аргумент в книге [Vucinich 1963]). Ознакомление с приведенными выше сведениями о состоянии образования подтверждает мнение о том, что острая нехватка государственной поддержки привела к плачевному состоянию университета и гимназии. Условия, в которых находились студенты, как в материальном плане, так и в плане качества преподавателей, не вызывали зависти. Возможно, именно это в большой степени является причиной, по которой так много потенциальных студентов не хотели посещать школы при Академии, а не пагубное влияние русского Православия. Хотя, учитывая склонность Ломоносова участвовать в академических баталиях за ресурсы и привилегии, а также соразмерно риторический характер его заявлений, эти документы следует читать с осторожностью, они тем не менее достаточно информативны.

прагматического характера, оказалась бы весьма полезной в дебатах о ее современном значении²⁴.

Электрические эксперименты Ломоносова, неистребимо сочетавшиеся в историческом воображении с драматической смертью его сотрудника Рихмана, не утратили своей способности привлекать внимание аудитории, и Погодин ловко интерпретировал их значение. Вместо того чтобы полагаться только на свои собственные навыки повествования, Погодин передал письмо Шувалову, написанное Ломоносовым, в котором тот живо описал смерть Рихмана, затронул некоторые детали совместного исследования и закончил надеждой, что эта трагедия не должна оказать пагубного влияния на развитие науки в России [Погодин 1855: 12–13]. Образ мученичества Рихмана и последующей настойчивости

²⁴ Но, как заметил Д. Джоравски, вопрос о прагматизме науки в России «указывает на проклятый, как говорят русские, вопрос, который преследовал российскую науку во все периоды ее резких взлетов и падений вплоть до катастрофического настоящего, а именно: в чем состоит практичность занятий наукой в отсталой провинции или стране?» [Joravsky 1998: 3]. «Практично», разумеется, то, что в данный момент обещает дополнительные ресурсы. Уместным сравнением с использованием имени Ломоносова в дебатах о чистой и абстрактной науке является место Луи Пастера во французских научных, исторических и политических дискуссиях. Как отметила К. Синдинг, «Постоянный обмен эмпирическими и научными знаниями, а также работа ученых над практическими и техническими проблемами и осмысление ими успехов служат стиранию различия между прикладной и чистой наукой. Но когда почитатели Пастера — будь то ученые, философы или историки — ссылаются на практические и эмпирические аспекты его работы, они просто указывают на то, что он блестяще справлялся с постоянным обменом между ними и избегал вопроса о происхождении эмпирического знания, потому что ответ на него привел бы к границе между наукой и ненаукой, а также между учеными и неучеными». Сторонники увековечения памяти Пастера, особенно ученые, осознав ценность его имени в механизмах покровительства, «не хотят оспаривать идею о том, что фундаментальная наука ведет к истинному знанию, которое, в свою очередь, рождает прикладную науку, что ведет к решению всех человеческих проблем» [Sinding 1999: 85]. Не хочу заходить слишком далеко в аналогии, но роль Института Пастера в чествовании его основателя сравнима с ролью Академии наук и Московского университета в восхвалении репутации Ломоносова. То, как «пастеровцы» распространили миф о Пастере во французской медицинской и научной жизни, рассматривается в [Latour 1988].

Ломоносова оставался очень вдохновляющим. Погодин подчеркнул, что широко разрекламированные исследования Ломоносова, «имевшие судьями весь ученый Европейский мир» [там же: 12], принесли известность как ему, так и Академии за пределами России. Погодин не только провозгласил признание личного подвига Ломоносова — в связанной с ним мифологии роль Рихмана, какой бы смелостью тот ни отличался, была заключена исключительно в поддержке Ломоносова, — но и важность научного наследия России. Отмеченное доблестными подвигами, наиболее поразительными из которых были подвиги Ломоносова, оно заслуживало самого высокого уважения.

Приписывая Ломоносову почетное положение среди нерусских ученых, Погодин утверждал, что Ломоносов предложил «открытия, коим Европа удивлялась у Франклина и Румфорда [сэра Б. Томпсона, графа Румфорда], и чрез полстолетие почти получила в сочинениях Араго [Д. Ф. Араго] и Гумбольдта [А. фон Гумбольдта]!» [там же: 13]²⁵. Учитывая конфигурацию господствующей мифологии, наиболее показательным является сравнение с Франклином. Включение в образ других знаменитых натурфилософов усиливает представление о том, что либо Ломоносов разделил честь открытия с другими, незаслуженно более признанными западноевропейскими учеными, либо его гипотезы предвосхитили их труды. Погодин поверхностно сравнивает Ломоносова с Франклином, поскольку сравнение направлено на воздаяние почестей, оратор явно намекает, что оба достойны их получить. Что же касается содержания самих экспериментов

²⁵ Томпсон (1753–1814) наиболее продуктивно работал над теплопроводностью и баллистикой, Араго (1786–1853) — над электричеством, магнетизмом и светом, а обладавший энциклопедическими знаниями Гумбольдт (1769–1859) — над различными темами, связанными с физической географией. Погодин ссылается, без дальнейших пояснений, на работу Д. М. Перевощикова, чьи сопоставления Франклина и Ломоносова приводились ранее. Перевощиков и Погодин вместе работали как в Московском университете, так и в Академии наук. Таким образом, можно предположить, что Погодин знал о работах Перевощикова о Ломоносове, которые в основном были посвящены его физическим экспериментам.

Ломоносова, то в данном случае, за исключением ассоциации с Франклином и с электричеством, о нем речь не идет, оно как бы не относится к делу.

Ни одно из усилий Ломоносова, как в продвижении своей собственной работы, так и в стимулировании развития науки и образования, не далось ему легко, поскольку помимо трудностей, присущих самим научным исследованиям, его постоянно окружали враги внутри Академии наук. Центральная в мифологии тема вражды использовалась Погодиным не для того, чтобы заклеить конкретных противников Ломоносова; вместо этого он использовал ее, чтобы подвергнуть сомнению мотивы тех, кто препятствовал жизненно важным трудам Ломоносова во имя российской науки и просвещения. Почти запоздало Погодин назвал обструкционистами «Немецкий элемент Академии того времени», который, «впрочем очень достойный», по самой своей сути, казалось бы, противоречил «Русской натуре» [там же: 15]. Страстно защищая то, во что он верил, то, что, несомненно, являлось культурным прогрессом России, Ломоносов, по мнению Погодина, явно олицетворял бурный русский характер.

Напоминание об избранных недругах, по-видимому, было введено в основном в риторических целях. Непрекращающаяся борьба Ломоносова с врагами как его самого, так и прогресса в целом, как он или, скорее, Погодин определял их, требовала реальных противников. Однако, несмотря на подобную их враждебность, оратор заверил всех в том, что:

Ломоносов не унывал и боролся с своими противниками во всю свою жизнь, спорил, жаловался, просил, умолял, плакал, смеялся, ругал, оправдывался, и между тем работал, работал и не оглядывался вспять от того рала, которое дано было свыше в его руку. Наука была для него всегда выше всего. Распространение ея в Отечестве любезнее всего. Русская слава дороже всего! [там же: 16]

Заканчивая собственными словами Ломоносова, «откровенно» выраженными и раскрывающими его «благородные желания и надежды», Погодин повторил для собрания его предсмертное

обращение к Штелину. То, что Погодин привел это знаменитое место из его биографии, где Ломоносов тревожится о том, выживут ли науки в России без него, так решительно показывает любовь чествуемого к родине, что прекрасно демонстрирует оценку Ломоносова выступающим. Академия наук и Московский университет были инструментами, с помощью которых Ломоносов пытался достичь своей цели: создать новую Россию, в которой будет прочно укоренена «европейская наука».

В речи Погодина связь Ломоносова с Академией наук была предметом гораздо более пристального внимания, чем его усилия по созданию Московского университета. То, что Московский университет был в значительной степени детищем Ломоносова, к этому времени уже почти не подлежало сомнению, и их взаимная связь была подтверждена таким событием, как юбилейные торжества, во время которых Погодин подчеркнул значение Ломоносова. В последующие десятилетия связь Ломоносова с университетом будет становиться все более неотъемлемой частью их идентичности, настолько, что, возможно, более важные усилия Шувалова по его созданию будут сильно занижены²⁶.

²⁶ Нижняя точка падения репутации Шувалова пришлась на советский период, когда его биография как аристократа и фаворита императрицы Елизаветы плохо соответствовала марксистско-ленинской теории, доминировавшей в историографии XVIII века. Книга [Белявский 1955] была первым значительным исследованием, посвященным основанию университета и первым десятилетиям его развития со времен издания соответствующего труда Шевырева, имевшего место столетием ранее, и, в отличие от Шевырева, Белявский настойчиво пропагандирует роль Ломоносова, а не Шувалова. Усилия Шувалова также полностью сведены к минимуму по сравнению с усилиями Ломоносова в [История Московского университета 1955]. Белявский был одним из главных редакторов этого юбилейного (200-летняя годовщина) сборника. Это, однако, значительно менее требовательное изложение материала по сравнению с описанием основания университета в его вышеупомянутой монографии. Для более поздней оценки этого события стоит обратиться к работе [Кулакова 2006: 25–48]. Рассказ Кулаковой подтверждает сбалансированное изложение Шевыревым выдающегося вклада Шувалова в основание университета при значительной интеллектуальной поддержке, оказанной ему Ломоносовым.

Когда в 1940 году Московский университет отмечал свое 185-летие, было принято решение «присвоить университету имя его основателя — М. В. Ломоносова»²⁷. Это решение лишь формализовало длительный процесс, в ходе которого образы, связанные с жизнью Ломоносова, приобретали все более величественные масштабы. Если Пушкин не был первым, кто назвал Московский университет именем Ломоносова, его признание заслонило других писателей. Последующие поколения ученых сделали университет неотъемлемой частью его биографии. Если миф должен поддерживать себя, то постоянное приращение повествовательных деталей к нему необходимо не только для его выживания, но и для его яркости. В советский период восхваление достижений Ломоносова, возможно, достигло официально поощряемой вершины, однако основополагающие элементы, которые составляли такое признание, были разработаны гораздо раньше.

Также признательность Ломоносову на юбилейных мероприятиях Московского университета выразил профессор физики Н. А. Любимов (1830–1897)²⁸. Его эссе «Ломоносов как физик» [Любимов 1855]²⁹ представляет собой примечательную аномалию в литературе, посвященной русскому ученому, обладателю энциклопедического ума. Хотя оно представляет собой более обширную оценку его научной деятельности, чем почти все другие работы, опубликованные ранее, оно также в значительной степени было отвергнуто или, возможно, лучше сказать, проигнорировано в историографии. За примечательным исключением биографии

²⁷ Об этом было объявлено в указе Президиума Верховного Совета СССР (от 7 мая 1940 года), который цитируется в [Белявский 1955: 270].

²⁸ Подробнее о Любимове см. в [Брокгауз, Ефрон 1898].

²⁹ Сочинение Любимова было выпущено к юбилею как часть сборника разнообразных научных работ профессоров Московского университета. Любимов также является автором полной биографии Ломоносова «Жизнь и труды Ломоносова: с приложением его портрета» (Москва, 1872). Этим вкладом в «индустрию», связанную с именем Ломоносова, пренебрегли, и довольно незаслуженно, поскольку он представляет собой весьма полное и трезвое введение в его жизнь.

Пекарского о Ломоносове³⁰ (которая в действительности ссылается на эссе Любимова, если не полностью полагается на него), за исключением очень редких цитат, практически никакого его изучения не было. Хотя консервативные взгляды Любимова на образование сделали его в свое время противоречивой фигурой³¹, возможно, причина его исключения из ломоносововедения объ-

³⁰ Пекарский в первую очередь приводит хронику жизни Ломоносова в Академии наук, что у него получается чрезвычайно хорошо. Однако он не оценивает научные способности Ломоносова; вместо этого он печатает или перепечатывает избранную переписку и выдержки из наиболее доступных работ Ломоносова и позволяет читателю в значительной степени делать собственные выводы. Подразумеваемое суждение состоит в том, что, хотя Ломоносов был оригинальным мыслителем для своего времени, но его идеи с точки зрения современной науки представляют в основном «антикварный» интерес. Более того, не будучи ученым, Пекарский, по-видимому, считал, что они находятся вне его компетенции. Иногда, обсуждая физические работы Ломоносова, он либо отсылает читателя к эссе Любимова «Ломоносов как физик», либо цитирует его. Перевощиков цитируется менее содержательно. Что касается химии, Пекарский отказался от тщательной проверки работ Ломоносова и заявил, что: «До сих пор ни один из наших специалистов не брал на себя труда рассмотреть и оценить с исторической точки зрения значение трудов Ломоносова по химии, а потому мне по необходимости приходится пользоваться в настоящем случае довольно поверхностным очерком» [Пекарский 1870–1873, 2: 450–451] (впервые я был предупрежден об этом в [Lomonosov 1970: 41]). Пекарскому этот «очерк» предоставил Н. Е. Лясковский, профессор химии Московского университета. См. [Лясковский 1865]. Это короткое эссе, впервые прочитанное на юбилее Ломоносова, проходившем в Московском университете в 1865 году, носит исключительно хвалебный тон и ни в коем случае не подвергает критике химические работы Ломоносова.

³¹ Участие Любимова в комиссии, созданной в 1875 году министром просвещения Д. А. Толстым для пересмотра сравнительно либерального университетского устава 1863 года, вызвало ужас среди его коллег по Московскому университету. Многие из них публично осудили его и подвергли остракизму. См. [Ковалевский 1910: 185–187]. Ковалевский, убежденный сторонник автономного университетского управления, с конца 1870-х годов преподавал на юридическом факультете Московского университета. Позже (в 1887 году) он был уволен из университета из-за своих «либеральных» взглядов. Его оценка Любимова резка. См. также [McClelland 1979: 65–66; Соболева 1983: 29–30]. Полемическая попытка Соболевой, в которой она осуждает Любимова как «реакционера», подчеркивает отсутствие Любимова в более поздних исследованиях по истории российской науки и образования.

яснялась не столько этим фактом, сколько тем, что его оценка научной деятельности Ломоносова резко расходилась с общепринятыми представлениями о его неоспоримых талантах. Какова бы ни была конечная причина, сочетание маргинальности Любимова по отношению к основной части русской интеллигенции и его явно не «агиографических» взглядов на первого российского ученого отодвинуло на периферию его самого и его работу³².

В этой работе мы не будем обсуждать детали статьи Любимова, поскольку для наших целей более выгодно тщательно изучить те аспекты его оценки, которые непосредственно бросали вызов центральным принципам ломоносовской мифологии. Название его статьи лишь приблизительно отражает ее содержание, поскольку он довольно подробно рассуждает о предполагаемых знаниях Ломоносова в области современной физики, математики и химии. Провокационные критические замечания Любимова в адрес легенды о Ломоносове, объединенные довольно схематичной попыткой поместить его в рамки дебатов XVIII века между теми, кого для семантической простоты назовем картезианцами и ньютонианцами, в конечном счете оспаривают место Ломоносова в истории науки. Любимов рассматривает дискуссии об оригинальности работ Ломоносова, их значении для последующих поколений ученых, в первую очередь физиков и химиков, влиянии Вольфа, способностях Ломоносова как математика и его реакции на ньютонианство. Он также рассматривает правомочность устойчивых аналогий между Франклином и Ломоносовым.

Работа Любимова начинается с намека, что читателя ждет еще один панегирик, поскольку автор выделяет Ломоносова за вклад в науку, заявляя, что:

Современники знали Ломоносова более как поэта и писателя, нежели как ученого. Для нас он первый Русский ученый. Его литературные труды, впрочем проникнутые всегда возвышен-

³² Неспособность интеллигенции включить политически или идеологически неприемлемые фигуры в свои самогенерируемые «родословные», что, похоже, негативно сказалось на написании истории в России, убедительно доказывается в [Raeff 1978: 300–301].

ным чувством, суть произведения высокого ума, но не творческого гения. ...Но в трудах ученых по части естествоведения гений Ломоносова высказывается вполне. Здесь всякое слово проникнуто ясностью понимания, силою убеждения, и обнаруживает чисто-Русский склад ума [Любимов 1855: 3].

По мере того как эпоха энциклопедически образованных натурфилософов отступала все дальше, формирование образа Ломоносова более поздними авторами продолжалось быстрыми темпами. Любимов очень кратко рассказывает о других занятиях Ломоносова, в основном литературных и лингвистических, но, хотя эти области, возможно, и были достойны периферийных исследований, он отмечает: «физика и химия составляли любимые предметы Ломоносова».

Письмо Ломоносова к Шувалову, выдержку из которого Любимов привел полностью, убедительно подчеркивает это утверждение. Когда Шувалов попросил Ломоносова приступить к работе, связанной с русской историей, и, по-видимому, «оставить занятия физическими и химическими опытами» [там же: 4], Ломоносов отказался, утверждая, что его научные занятия «пользу и честь отечеству конечно принести могут, едва ли меньше». Для изучающих научную деятельность Ломоносова его «первой» профессией были химия и физика, и, как Севергин и Пушкин, Любимов использовал это письмо, чтобы укрепить авторитет Ломоносова как ученого. С развитием профессионализации наук в последние десятилетия XIX века³³ различные ипостаси Ломоносова, такие как химика, физика или геолога, и это если взять лишь наиболее очевидные из них, нашли своего конкретного историка. Но даже при этом представление о Ломоносове как об ученом-энциклопедисте оставалось доминирующей темой в связанной с ним мифологии.

В изложении общей роли Ломоносова в русской культуре, где он снова был изображен как преемник Петра Великого, исследо-

³³ Полезными микроисследованиями, посвященными ранним попыткам укрепления дисциплинарной сплоченности в химии, являются [Brooks 1998a] и [Gordin 2008].

вание Любимова пока не обнаруживает ничего предосудительного и вполне благополучно отражает дошедшие до нас биографии Ломоносова. Однако критика его научных достижений Любимовым не может быть воспринята иначе, как выражение крайнего пренебрежения. Он предваряет свои наблюдения, касающиеся качеств Ломоносова как физика и химика, вердиктом, который звучит как обобщение научной репутации Ломоносова: «С именем Ломоносова не связано никаких особенно замечательных открытий; мы даже не встретим этого имени в истории науки» [Любимов 1855: 4]³⁴. Хотя в данной работе этого не указано напрямую, приведенное утверждение Любимова явно касалось истории науки в Западной Европе³⁵, а не только в России. Это контрастирует с большей частью позднейших исследований, где присутствует идея о том, что роль Ломоносова в науке, а не просто его культурное значение, можно рассматривать лишь через русскую призму.

Несмотря на эссенциализм Любимова в изложении процесса открытия, его аргумент является законным, по крайней мере в том, как современники понимали заслуги Ломоносова в науке. Стоит повторить, что до исследований Меншуткина, которые начались в первые годы XX века, лишь горстка ученых, наиболее выдающимися из которых были Севергин и Любимов, удосужилась с какой-либо степенью вдумчивости взглянуть на работы Ломоносова. Поскольку они считались архаичными, было пред-

³⁴ Пекарский повторяет это, открывая свой сокращенный обзор наследия Ломоносова в физике. См. [Пекарский 1870–1873, 2: 447–448].

³⁵ Ф. Хефер предупреждал читателей своего авторитетного исследования 1869 года «История химии» (2-е изд.), что «между Русскими [прошлого века] приобретшими известность как химики назовем Мих. Ломоносова, которого не должно смешивать с поэтом этого имени» (цит. по: [Любимов 1872: 60]). Ранее было установлено, что научные труды Ломоносова были широко известны при его жизни в Западной Европе. Однако к XIX веку они канули в безвестность. С другой стороны, его литературные произведения все еще время от времени цитировались и обсуждались. Для подтверждения этого обратитесь к [Фомин и др. 1915: 123–211]. См. также статью [Соколова 1977], в которой отслеживаются упоминания Ломоносова в английских трудах XVIII и XIX веков.

ложено несколько толкований его трудов. Хотя такое положение вещей, очевидно, препятствовало основательному пониманию его теорий, это никоим образом не уменьшало ореола его блеска как отца российской науки.

Одно из наиболее известных утверждений, которое биографы использовали для объяснения незавершенности большей части научных работ Ломоносова, заключалось в том, что обременительные поручения, данные ему, например, Шуваловым, не позволяли уделять достаточно времени обязанностям научным. То, что многие из его социально-профессиональных успехов были достигнуты лишь благодаря покровительству Шувалова, упускается из виду. Во всяком случае, Любимов гораздо более критически взглянул на всю данную ситуацию. В своей работе он не отвел места размышлениям о том, что Ломоносов, удостоенный должных почестей при жизни, мог бы предпринять или какой вклад внести; скорее, он сосредоточился на том, что рассматривал как знания, стоящие за самими ломоносовскими работами.

Ломоносов, возможно, потратил бóльшую часть своих сил в областях, не связанных с точными науками, но Любимов настаивал, что те же самые привычки в работе, когда ученый занимался ею урывками, серьезно подорвали эффективность его занятий химией и физикой:

Разнообразие предметов, которыми занимался он с безгранично пытливым, переносили его внимание с одного предмета на другой и не позволяли ему остановиться на частном исследовании какого-нибудь отдельного явления; его ум всегда уносился в область теории [Любимов 1855: 4].

Определение Ломоносова как теоретика само по себе, даже учитывая современные увольнения в России тех, кто занимается «чистой наукой», не было бесповоротно резкой критикой. Но если бы и способности Ломоносова как теоретика были точно так же поставлены под сомнение, не мог бы тогда пострадать его незыблемый авторитет как ученого? И Любимов действительно оспаривает глубину и ценность физических и химических формулировок Ломоносова.

Предположения Ломоносова о происхождении света и цвета были подвергнуты тщательному изучению. Это была сфера деятельности ученого, которая, по крайней мере со времен работы Муравьева «Заслуги Ломоносова в учености», а возможно, и раньше, вызвала положительные отклики со стороны российских наблюдателей. Муравьев, как мы помним, был весьма впечатлен упорством, с которым Ломоносов не соглашался с гипотезами Ньютона. Любимов был поражен не столько упорством Ломоносова, сколько его неспособностью более тщательно проанализировать природу цвета³⁶. А ведь исследования цвета и света были теми областями, особо подчеркивал Любимов, которые поглотили значительное количество времени и экспериментаторской энергии Ломоносова. На самом деле Ломоносов уделял тому, что можно с достаточной точностью назвать экспериментами, мало внимания, однако утверждение Любимова о том, что он их производил, но безуспешно, могло подорвать славу Ломоносова больше, чем это произошло бы в противном случае. Но даже несмотря на напряженные усилия Ломоносова, отмечает Любимов, «несовершенство химических понятий того времени вело его по ложному пути» [Любимов 1855: 4]. Любимов признает, что «и в наше время нельзя ответить, почему одно тело красного, а другое желтого или иного цвета». При заметно более примитивном научном понимании, которое Ломоносов смог привнести в свои исследования, «исследования эти», как пред-

³⁶ Любимов ссылается на статью Ломоносова «Слово о происхождении света», представляющую новую теорию цветов. Вклад Ломоносова в оптику (и в разработку телескопа ночного видения, «ночезрительной трубы») подробно рассмотрен С. И. Вавиловым [Вавилов 1961: 69–120]. Вавилов, физик, специализировавшийся в области оптики, занимал пост президента Советской академии наук с 1945 года до своей смерти в 1951 году. Помимо того, что он много писал о различных аспектах научной деятельности Ломоносова, он инициировал публикацию самого полного издания собрания сочинений Ломоносова (первый том которого был выпущен в 1950 году). Сжатое рассмотрение философских и исторических трудов Вавилова см. в [Kojevnikov 2004: 158–185]. Что неудивительно, учитывая его интерес к теории света, он также глубоко занимался изучением деятельности Ньютона.

ставляется, совершенно неизбежно, «не повели ни к какому положительному результату».

В шокирующем отступлении Любимов утверждает, что такие коллеги Ломоносова по Академии наук, как Крафт, Рихман и Эпинус³⁷, хотя, несомненно, были менее талантливы, чем Ломоносов, тем не менее «оставили свое имя [или след] в науке» надолго, в отличие от него. Любимов в какой-то степени снимает с Ломоносова ответственность за этот результат, поскольку Крафт, Рихман и Эпинус, опять же в отличие от него, работали в областях, в которых почва уже давно была подготовлена теми, кто активно трудился в европейских центрах науки. Это было не совсем точно: Рихман и Эпинус занимались исследованиями, особенно в области электричества, которые сильно пересекались с работой Ломоносова. Но предполагать, что кто-либо из академиков XVIII века, за исключением Эйлера, каким-либо образом превзошел Ломоносова как натурфилософа, было еретическим суждением.

Любимов поставил под сомнение не только индивидуальные способности Ломоносова. Он последовательно возлагал вину на общую невосприимчивость России XVIII века к науке, совершенно отвергая идею о том, что в ней существовало что-то похожее на устоявшуюся научную традицию. Ослаблению потенциала Ломоносова способствовал тот факт, что образованной отечественной публики, которая могла бы составить критическую аудиторию для его физических и химических работ, в то время просто не существовало. Из-за обстоятельств, в которых он провел свои самые активные годы, Ломоносов, таким образом, не мог разделить славу предложения революционных гипотез. На нем «лежало дело начинания; тогда у нас наука была неведомым храмом, в который желал он ввести своих соотечественников» [Любимов 1855: 4–5]. Из-за этого «ему невольно приходилось

³⁷ Деятельность Рихмана и Эпинуса в Академии была оценена. Крафт был натурфилософом и математиком, который оставил русскую службу в 1744 году. После возвращения из-за границы Ломоносов работал адъюнкт-физиком под руководством Крафта.

более учить, нежели открывать». Таким образом, он был сильно ограничен как веком, в котором жил (хотя это, кажется, иногда отступает как причинный фактор в оценке Любимова), так и географическими обстоятельствами.

Обязанность Ломоносова привить своим соотечественникам новое сознание, которое оказалось бы более приспособленным к развитию науки, была не менее амбициозной, чем задача изменить «склад Русского ума» [там же: 5]. Напоминая своим читателям, что аналогичные интеллектуальные преобразования в Западной Европе «веками сложились в умах иностранных ученых», Любимов последовательно отстаивает утверждение, что российские условия вынуждали Ломоносова заниматься почти исключительно распространением науки. Вряд ли над этим можно было насмехаться, поскольку, в конце концов, это есть «ближайшая задача всякого Русского ученого», в выполнении которой Ломоносов преуспел. Эта позиция ни в коем случае не является оригинальной для Любимова: все мемуаристы Ломоносова считали популяризацию науки одним из его исключительных достижений. Но очевидный ущерб, который, по мнению Любимова, это нанесло способности Ломоносова достичь каких-либо теоретических высот, был выводом, на который не решались предыдущие биографы.

Как отмечает Любимов, Ломоносов написал много интересных, даже увлекательных научных работ, посвященных некоторым фундаментальным научным вопросам своей эпохи [там же]. Поначалу его аудитория может быть убаюкана ожиданием хвалебных похвал, тем более что Любимов представляет им один из [предполагаемых] отзывов Эйлера о корпускулярной теории Ломоносова³⁸. Изучив предположения Ломоносова, Эйлер выразил свое удовольствие от их прочтения, ибо то, что он видел до сих пор, показывало, что Ломоносов «обладает счастливым талантом открывать физические и химические явления». Это хо-

³⁸ Трактатами, оцененными Эйлером, были «Диссертация о действии химических растворителей вообще» и «Размышления [физические] о причине теплоты и холода».

рошо, хотя и очень завуалированно, подтверждает представление об успехах Ломоносова. Оценка Эйлера была признанным ресурсом. Тем не менее очевидно, что Любимов прибегнул к ней для того, чтобы получить возможность высказать свои менее приятные выводы.

Нет никаких сомнений в том, что Любимов не верил в идею о том, что Ломоносов был русским Ньютоном, Бойлем или Франклином. Хотя «немногие из современных ему ученых понимали явления природы так глубоко и ясно, как он», следует также признать, что «Ломоносову не суждено было ввести какие либо новые замечательные факты в науку». Это объясняется первичным недостатком научных способностей Ломоносова, слабостью, которая с самого начала серьезно ограничивала его потенциал: «Ломоносов не был математиком, оттого его теории носят чисто физический характер». Эта тема поднималась не раз, но к ней стоит вернуться, поскольку, как бы сильно Ломоносов ни верил, что математика необходима для химии и физики, он не участвовал в «революции» XVIII века, состоявшей в применении математического анализа.

В своей работе 1741 года «Элементы математической химии» Ломоносов отдал дань уважения чудесам, которые можно было бы сотворить, объединив математику и естественные науки:

Какой свет способна возжечь в спагирической науке [химии] математика, может предвидеть тот, кто посвящен в ее таинства и знает такие главы естественных наук, удачно обработанные математически, как гидравлика, аэрометрия, оптика и др.: все, что до того было в этих науках темно, сомнительно и недостоверно, математика сделала ясным, достоверным и очевидным [Ломоносов 1950–1983, 1: 75].

Но, несмотря на такую громкую риторику, эссе Ломоносова были в значительной степени лишены какого-либо подобного сочетания метода и практики. Использование математической терминологии и присвоение его диссертациям названий, звучащих математически, очень приблизительно отражает степень иссле-

дованности его предмета³⁹. Любимов ясно понимал, насколько это вредило работе Ломоносова, и сдержанно указал на это.

Описывая состояние физики в Европе XVIII века, Любимов жестко разделил разрозненные европейские научные круги на две поляризованные половины: сторонников Декарта и сторонников Ньютона. Но в этом состязании мощная логика ньютоновской философии решительно отвергла любые альтернативные подходы к пониманию природы. Любимов был слишком резок в разграничении последователей Ньютона и Декарта, но он точно отразил очевидный триумф ньютоновских идей в европейской интеллектуальной жизни. «В конце XVIII века победа Ньютона была полной», — отметил А. Койре, пытаясь понять масштабы «научной революции», после которой «ньютоновский Бог безраздельно властвовал в бесконечной пустоте абсолютно-го пространства, в котором сила всемирного притяжения связывала воедино атомно структурированные тела необъятной вселенной и заставляла их двигаться в соответствии со строгими математическими законами» [Koyré 1957: 274]⁴⁰.

³⁹ Босс утверждает, что это один из наиболее очевидных конечных результатов учебы Ломоносова в Германии: «Это одна из черт, которые он позаимствовал у Вольфа; его изложения четко и арифметически упорядочены, но это чисто формальная характеристика, которая не имеет ничего общего с математическим анализом в ньютоновском смысле» [Boss 1972: 180]. См. также [Lomonosov 1970: 12–13].

⁴⁰ Койре смягчил это бескомпромиссное заявление тем, что все же допускал несколько неоднородный характер ньютоновского миропорядка. Действительно, его выводы не слишком далеки от современной историографии, как об этом, например, недавно объявил П. Деар: «Стоит отметить, что история не должна быть простым повествованием о том, как ньютоновская “истина” победила картезианскую “романтику” (как некоторые критики любили характеризовать механическую вселенную Декарта). Сложность и переплетение аргументов, математических, метафизических и экспериментальных, означали, что... то, что считалось “ньютонианством”, во многих отношениях сильно отличалось от того, во что верил и что утверждал сам Ньютон. “Ньютонианство” конца XVIII века само по себе было гибридом работ и идей Ньютона, Декарта, Лейбница и многих других людей» [Dear 2001: 167]. Хотя в эссе Любимова передано более пуристское видение ньютонианства, оно также допускает определенную степень неортодоксальности.

Даже учитывая то, что, по-видимому, было неизбежным подъемом этой новой системы знаний, Любимов осторожно призывает помнить, что в XVIII веке идеи Ньютона лишь «медленно проникали в науку» по довольно фундаментальной причине: чтобы оценить идеи Ньютона, не говоря уже о более глубоком их понимании, требовались «обширные математические сведения» [Любимов 1855: 6]. Поэтому «в исследованиях физических большинство ученых», еще не понимавших значение математики, «шло по пути, указанному Декартом».

Любимов объясняет: неудивительно, что в свете лишь элементарного понимания Ломоносовым передовой математики своего времени «творения Ньютона не имели на него большого влияния», и, возможно, более провокационно добавляет, что «воззрения его на природу были чисто-картезианские»⁴¹. Является спорным, строго или нет придерживался Ломоносов этого направления, и не решил ли Любимов просто растолковать свою точку зрения на случай, если его читатели не в полной мере оценили ее важность. Во всяком случае, картезианская механика казалась Ломоносову гораздо более убедительной⁴², чем то, что предлагал Ньютон, чьи теории он в значительной степени презирал. Но более интересным моментом является то, что после окончательного триумфа ньютонианства по всей Европе Любимов поставил под сомнение научное мировоззрение Ломоносова⁴³.

⁴¹ Ибо, как Любимов снова заверил своих читателей, «Ломоносов не был математиком» [там же: 7].

⁴² Размышляя исторически о влиянии Декарта на натурфилософию, Ломоносов в своем предисловии к «Волфианской экспериментальной физике» [Ломоносов 1950–1983, 1: 423] витиевато отдает дань картезианской натурфилософии за то, что она «осмелилась» бросить вызов господству Аристотеля и «опровергла» его идеи.

⁴³ Любимов рассматривает в [Любимов 1855: 13–31] несколько диссертаций Ломоносова, как первоначально опубликованных на латыни, так и более «доступных», на русском языке, в том числе «Мемуар о причинах тепла и холода»; «Слово о происхождении света новую теорию о цветах представляющее»; «Слово о явлениях воздушных, от Электрической силы происходящих»; «Рассуждение о большей точности морского пути»; и «Явление Венеры на солнце». Он также представляет относительно более неясную

Его выводы, сформулированные таким, казалось бы, бинарным способом, могли означать, что Ломоносов оказался не на той стороне чудовищной пропасти.

То, что картезианство оказало на Ломоносова интеллектуально вредное воздействие, наиболее очевидно в его отказе принять или даже должным образом оценить понятие силы притяжения, действующей на расстоянии [там же: 12–13]. Это произошло из-за того, что, следуя Декарту, он отверг идею вакуума в пространстве. Ломоносов был полностью привержен механическому/корпускулярному взгляду на космологические вопросы, и то, что пространство может существовать без материи, совершенно противоречило его воззрениям. Отказ Ломоносова принять теорию гравитации разделяли некоторые выдающиеся научные деятели. В конце концов, даже Эйлер, как прокомментировал Любимов, назвал основную концепцию Ньютона «*obscura attractio quorundam Anglorum*». Хотя Любимов и допускал, что это вряд ли было необычной позицией для того времени, тем не менее это был сокрушительный приговор Ломоносову.

Но в то время как картезианство, по мнению Любимова, могло быть полностью побеждено ньютоновскими идеями, Декарт все же олицетворял приемлемую стадию в линейной схеме научного прогресса, которую он набросал. С другой стороны, натурфилосо-

попытку теории упругой силы воздуха («Мемуар об упругости воздуха», опубликованный в «*Novi Commentarii*» в 1750 году). Об этом последнем трактате, который впервые был полностью переведен на русский Меншуткиным, см. [Ломоносов 1950–1983, 2: 105–139, 653–657]. Любимов признавал, что в навигационном документе Ломоносова, в частности, встречаются «многие практические замечания», но что касается остального, он в целом отклонил его как имеющий «без сомнения, только историческое значение» [Любимов 1855: 16]. Хотя последнее замечание касается эссе Ломоносова о тепле и холоде, аналогичные оценки характеризуют каждое из его эссе. На протяжении всего своего анализа Любимов, по-видимому, больше всего стремится очертить картезианскую и квазикартезианскую структуру теоретизирования Ломоносова. Однако, как подчеркивает Любимов при рассмотрении оптических исследований Ломоносова, в которых проявляется его зависимость от механических гипотез Декарта о природе цвета и света, Ломоносов добавил в них свои собственные, часто оригинальные, чтобы не сказать пророческие, мысли.

софия Вольфа была безнадежно ошибочной и едва ли заслуживала серьезного рассмотрения. То, что сам Вольф находился под глубоким влиянием картезианской механики, как и лейбницианство, не входит в анализ Любимова. Но из-за связи Ломоносова с Вольфом Любимову тем не менее пришлось, по крайней мере, обдумать неприятный вопрос о влиянии Вольфа.

Математический вопрос вновь возник как родственная и насущная проблема. Будучи далек от восторга по поводу аналитических способностей Ломоносова, Любимов тем не менее оправдывает его, не представив никаких существенных аргументов прямого попадания под влияние идей Вольфа. По словам Любимова, хотя «Ломоносов учился в Германии и слушал уроки математики и физики у знаменитого Вольфа... немецкие ученые менее имели на него влияния, нежели французские» [там же: 31]. Причина была довольно проста: «ясный ум Ломоносова не мог подчиниться тем формальностям, которыми обилуют сочинения Германских ученых и особенно Вольфа» [там же: 32–33]⁴⁴.

В конце концов Ломоносов в значительной степени отказался от вольфовского формального метода использования механических структур для демонстрации доказательств в своих исследованиях, поэтому утверждение Любимова отчасти верно, по крайней мере, для статей, которые Ломоносов написал после того, как повзрослел и нашел свой собственный стиль. Однако это не касается более важного вопроса о том, отказался ли Ломоносов от основных методологических предположений Вольфа. Ознакомление с корпускулярными трактатами Ломоносова свидетельствует об обратном. В любом случае исследование Любимовым связи между Ломоносовым и Вольфом поверхностно и предлагает немногим большее, чем резкое отрицание какой-либо заметной интеллектуальной связи между ними после воз-

⁴⁴ Любимов признал «прямое влияние» Вольфа только на одну работу: «О вольном движении воздуха...» (впервые опубликованную в «Novi Commentarii» в 1750 году). См. [Ломоносов 1950–1983, 1: 315–333, 564–566]. Именно в этом трактате, как точно отмечает Любимов, стиль изложения Вольфа с аргументацией, использующей «короллари», «теоремы» и «дефиниции», совершенно очевиден.

вращения Ломоносова в Санкт-Петербург. Несмотря на то что Ньютон обогнал Декарта, тот по-прежнему представлял, по-видимому, более просвещенный и научно изощренный подход, чем подход Вольфа⁴⁵.

Что же касается равенства Ломоносова с Франклином, Любимов мало верил далеко идущим притязаниям, сделанным русским ученым. Хотя он, по-видимому, воздержался от того, чтобы полностью опровергнуть представление, будто Ломоносов предвосхитил Франклина, он утверждает, что «многие стали выражать гипотезу о тождестве молнии и электрической искры. ...Но Франклин первый... доказал искрою, исторгнутою из облаков, что она [эта искра] имеет все свойства искры электрической» [Любимов 1855: 20–21]. Любимов отдал должное Ломоносову за его собственные предположения, которые примерно совпадали с предположениями Франклина, и признал, что в некоторых из них он, возможно, превзошел таковые Франклина, но совершенно недвусмысленно заявил, что Ломоносов был вдохновлен на проведение своих собственных экспериментов после того, как получил известие об экспериментах Франклина⁴⁶. Как уже было сказано, Ломоносов не был осведомлен обо всех деталях работы Франклина, так что его теоретизирование все еще имело ореол оригинальности. Как и все остальные биографы Ломоносова, в своем исследовании его экспериментов с электричеством Любимов был очень увлечен событиями, связанными со смертью Рихмана. Как и Погодин, он полностью перепечатал письмо Ломоносова к Шувалову, в котором описал этот инцидент, а также выразил надежду на будущий научный прогресс в России [Любимов 1855: 25–27].

⁴⁵ Как сообщается в [Брокгауз, Ефрон 1896: 209], позже (в 1886-м) Любимов перевел некоторые труды Декарта. Это, вероятно, указывает на его сохраняющееся уважение к месту Декарта в истории науки.

⁴⁶ Объяснения самого Ломоносова по поводу знакомства с работой Франклина были приведены ранее. Возможно также, что Любимов, говоря конкретно об эксперименте Франклина с воздушным змеем, имел в виду заметку в «Санкт-петербургских ведомостях» (1752, № 47), которая в целом привлекла «общественное внимание» к исследованиям Франклина.

Оценку Любимовым Ломоносова не нужно истолковывать ни как безоговорочную, ни даже в первую очередь как осуждающую. Хотя Любимов не поддерживал мнение о том, что Ломоносов обладал выдающимся научным умом, он признал, что «его труды имеют... еще более важное значение: это блестящие страницы в истории Русского образования» [там же: 6]. Такая решимость, по крайней мере внешне, не отличается от решимости Погодина, и Любимов в целом подражает своим коллегам-биографам, написав: «любовь к науке, желания распространения ее в нашем отечестве — вот преобладающие чувства Ломоносова» [там же: 34]⁴⁷. Тот факт, что сам Московский университет стал так «тесно связан... с именем Ломоносова, [что] можно, кажется, сказать, что не исчезли его начинания» [там же: 35], а также то, что по его указанию были назначены первые русские профессора нового университета⁴⁸, как заявил Любимов своей аудитории, это должно быть сочтено его исключительным завещанием своей стране.

⁴⁷ Снова вторя своим коллегам-биографам, Любимов приводит жалобу Ломоносова Штелину, высказанную на «смертном ложе».

⁴⁸ Очевидное покровительство Ломоносова первым русским профессорам Московского университета стало частью образов, связанных с его основанием. Многие из них связаны с национальным составом его первого академического штата, в который входило гораздо больше русских, чем в Академию наук, что приводит к предположению, что Ломоносов был полон решимости способствовать карьере своих соотечественников. Н. Н. Поповский, который был одним из первых профессоров, прикрепленных к университету, описывается в историографии как его протеже. Поповский, вызвавший огромную полемику своим переводом «Эссе о человеке» Поупа, был учеником Ломоносова в Академии наук, а также пользовался поддержкой Шувалова. Будучи профессором красноречия Московского университета, он произнес одну из инаугурационных речей на открытии университета. К сожалению, Поповский умер относительно рано, в 1760 году, опередив Ломоносова на пять лет. В связи с этим обстоятельством и преждевременной смертью его студента-химика Клементьева, шансы Ломоносова найти преемника в Академии наук, по-видимому, были сведены на нет. Похоже, это оставило его без потенциального наследника, по крайней мере, имея в виду реальные кандидатуры, также и в Московском университете. Л. Б. Модзалевский в [Модзалевский 1958] приводит эффективный аргумент в пользу того, что Поповский полагался на Ломоносова по части литературной опеки и бюрократической помощи. Краткий отчет о связи Поповского с Московским университетом см. в [Шевырев 1855: 26–30].

Повторим важный момент: российские и советские историки науки практически не уделили внимания работе Любимова. Но почему мы отвели ей столько места? Может ли то, что по сути является единственным примером, быть истолковано как попытка открытой деконструкции мифа или, точнее, как попытка разрушить икону? Возможно, дело обстоит и так, хотя это не было основанием ее рассмотрения. Скорее, я бы сказал, что аберрации, существующие внутри мифа или идущие из него могут раскрыть столько же, сколько и полученное знание⁴⁹. Эссе Любимова гораздо больше говорит о том, что составляло преобладающий образ Ломоносова в России середины XIX века, чем мириады произведений, которые просто перекликаются с существующей мифологией. Чтобы не приукрашивать эссе слишком сильно, скажу, что в его оценке чувствуется явное возмущение по поводу предполагаемых искажений в исторических описаниях научных достижений Ломоносова, наряду с огромным уважением к натурфилософу, который многое пытался сделать и который стал авторитетным символом для последующих поколений.

В этой главе был опущен подробный обзор того, что получило более восторженное освещение в литературе, чем любой другой отдельный эпизод или биографический материал до появления на сцене Меншуткина, а именно юбилей Ломоносова в 1865 году. Широко распространено мнение, на мой взгляд, вводящее в заблуждение, что именно в 1865 году и в непосредственно последовавший за ним период исследования деятельности Ломоносова, как научной, так и литературной, впервые были подняты на более высокий, более сложный уровень⁵⁰. В том году исполнилось

⁴⁹ Или, цитируя Рейфман, «По крайней мере, столь же полезными в реконструкции коллективного представления эпохи о самой себе являются сознательные отклонения от общепринятых взглядов» [Reyfman 1990: 1]. О полезности изучения «системных отказов» в изображении культовых ученых см. [Abir-Am 1982; Abir-Am, Elliot 1999; Shortland, Yeo 1996].

⁵⁰ В разной степени иллюстрирующими этот тезис, а также предлагающими введение в связанную с юбилеем литературу, являются [Берков 1946; Егоров 1986; Лысцов 1992; Радовский 1961: 231–242; Соловьев, Ушакова 1961: 57–84]. По крайней мере, в том, что касается исследований научного наследия Ломоносова, Вучинич относится к юбилейному периоду более предвзято. См. его [Vucinich 1963: 69–70].

100 лет со дня смерти Ломоносова, и в честь его роли в русской культуре более чем в 20 местах по всей Российской империи были организованы церемонии, причем основные торжества проходили в Академии наук в Санкт-Петербурге⁵¹. Наиболее

⁵¹ На основе поиска в прессе того времени Берков предварительно предположил, что в дополнение к Санкт-Петербургу и Москве юбилей Ломоносова отмечали в 23 других городах, поселках или деревнях. См. [Берков 1946: 235]. Удивительно подробное и благоговейное описание церемоний празднования юбилея Ломоносова в Санкт-Петербурге в 1865 году, длившихся три дня, см. в [Мельников 1865]. Мероприятия состояли из церковных служб, обедов, прерываемых пышными тостами, музыкальных и драматических интермедий, выступлений ведущих представителей церкви и государственных чиновников, лекций членов Академии наук, открытия картин, изображающих Ломоносова, его бюстов и так далее. Повсюду присутствовали различные потомки Ломоносова, а также различные Шуваловы и Воронцовы, наследники его главных покровителей. Присутствовали также некоторые из ведущих писателей и критиков того времени, среди них: Ф. М. Достоевский, И. А. Гончаров, А. Н. Майков, П. В. Анненков и Ф. И. Тютчев. Звездные ряды биографов или летописцев Ломоносова, включая таких как Я. К. Грот, В. И. Ламанский, Сухомлинов и Перевощиков, тоже были вовлечены в данный процесс. Наконец, Д. И. Менделеев, которому предстояло вскоре стать самым известным химиком России, также был официально зарегистрирован как присутствующий на торжествах (см. в [там же: 39–46] неполный список тех, кто присутствовал на юбилее). Анализ Левитом пушкинских торжеств 1880 года [Levitt 1989] проливает заслуженный свет на важность юбилейной культуры в интеллектуальной, общественной и политической жизни России. Его работа предлагает больше, чем предполагает предмет его исследований, поскольку он также погружает читателя в пушкинские образы советской эпохи. Однако, говоря о праздновании 1880 года и отмечая, что «никогда прежде не собиралось так много ведущих российских писателей, поэтов, драматургов, редакторов и издателей, критиков и репортеров, педагогов и ученых, актеров, художников и музыкантов, городских и государственных чиновников — так много культурных лидеров страны и лиц, формирующих общественное мнение, — в одном месте, чтобы приветствовать русскую литературу» [там же: 1], Левитт несколько преувеличивает. Он также безапелляционно отвергает юбилей Ломоносова, который богато отразил как литературную, так и научную деятельность ученого, называя его «домашним мероприятием», организованным Академией наук и Московским университетом [там же: 35]. Политические, научные и национальные цели, охватывающие не только польские и немецкие устремления, но со временем даже американские, которые были и остаются «заложеными» в память о Копернике, архетипическом герое науки,

заметный исторический след юбилея обнаруживается в беспрецедентном потоке исследований, насчитывающих сотни названий, которые были опубликованы в связи с этим событием⁵². Хотя любое выборочное перечисление этих работ неизбежно является крайне субъективным, можно утверждать, что фундаментальными публикациями, появившимися в результате этого потока, стали объемные документальные сборники Билярского и Куника [Билярский 1865; Куник 1865].

Другие широко используемые исследования, опубликованные в 1865 году, включают небольшие подборки первоисточников Пекарского и Ламанского. Грот подготовил монографию, посвященную почти исключительно связи, в узком понимании, Ломоносова с Академией наук [Пекарский 1865; Ламанский 1865; Грот 1865]⁵³. Куник, Ламанский и Пекарский были прежде всего историками, Билярский и Грот — филологами, и каждый из них уже был членом Академии наук или стал им со временем. В своих юбилейных трудах эти ученые стремились решительно закрепить на «общественной арене» признание неоченимого вклада Академии в прогресс России. Как мы уже видели, распространенным методом достижения этой цели было смешение истории Академии наук с историей творчества Ломоносова, ее самой прославленной эмблемы.

исследуются в [Gingerich 1999]. Расширительный подход Джинджериха к организации научной памяти может быть использован при анализе институционального формирования исторической личности ученого в целом. Хейлброн выдвигает убедительные аргументы в пользу успешных празднований юбилеев, подпитываемых ростом профессионализации в науке, чтобы решительно закрепить место ученых рядом с «великими людьми, i grandi, героями истории» в последние десятилетия XIX века [Heilbron 1999]. Хотя Россия не включена в его тематические исследования, работа [Gillis 1994] представляет собой интересный сравнительный обзор конструирования памяти и национальной идентичности.

⁵² См. следующие справочники по этой литературе: [Фомин и др. 1915; Межов 1871; Пономарев 1872].

⁵³ Сочинение Грота (сравнительно небольшое, 58 страниц) представляет собой довольно традиционное, хотя и очень полезное исследование о деятельности Ломоносова в Академии.

Мои краткие комментарии вряд ли отдадут должное как богатству их содержания, так и продуктивности, с которой эти работы все еще используются. Предыдущие главы этого тома раскрывают мою собственную зависимость от Пекарского⁵⁴, его исследований 1865 и 1873 годов и в меньшей степени от Билярского и Куника. Однако достижением этих публикаций было не их новое прочтение научной деятельности Ломоносова, а, скорее, тот легкий доступ, который они обеспечивали к огромному количеству ранее неопубликованных или рассеянных материалов, связанных с его профессиональной деятельностью. Чего они не сделали, так это не изменили коренным образом представления о Ломоносове как об отце русской науки. Дополнительно следует упомянуть два сборника статей, подготовленных по итогам юбилейных собраний, проведенных в Московском и Харьковском университетах [Празднование столетней годовщины 1865; Памяти Ломоносова 1865]. В основном хвалебные, как и следовало ожидать, по своему характеру, эти тома содержат выступления некоторых наиболее выдающихся историков, ученых и литературоведов, связанных с этими учебными заведениями.

Однако Меншуткин, чьи высказывания о Ломоносове в большинстве случаев приобрели статус священного писания, в целом воздержался от придания юбилею 1865 года какого-либо решающего значения. Хотя это, возможно, частично проистекало из его стремления утвердиться в качестве пионера в изучении деятельности Ломоносова, большая часть его очевидного безразличия к интерпретационной ценности так называемой юбилейной литературы, несомненно, проистекала из того факта, что он не заметил в ней никаких новых или концептуально амбициозных оценок научных достижений Ломоносова⁵⁵. Однако в вопросе

⁵⁴ Биографические сведения о Пекарском можно найти в работе [Машкова 1957]. О том, как Пекарский изобразил Ломоносова, см. [Лысцов 1993]. Однако, как и в случае с более ранними публикациями Лысцова о Ломоносове, идеологическая направленность ограничивает ценность его усилий.

⁵⁵ Как будет показано в следующей главе, некоторым исключением, возможно, стала для Меншуткина книга [Будилович 1869].

о трудах, появившихся в юбилейный период, скрытое отрицание Меншуткиным их научного значения оказало лишь косвенное влияние на обширную позднейшую историографию.

То, что за десятилетия, прошедшие после оценки Ломоносова Пушкиным, количество новых элементов и энергичных позитивных переоценок, внесенных в научную биографию Ломоносова, заметно уменьшилось, является однозначным. Это, конечно, означало, что весомое символическое присутствие Ломоносова в русской культуре оказалось под угрозой исчезновения. В то время как речь Погодина была энергичной попыткой защитить наследие Ломоносова, ее главное новшество заключалось в попытке более уверенно связать его известность с современной судьбой Московского университета и Академии наук. Хотя это дополняло статус Ломоносова и делало его более широким в историческом дискурсе, а также обеспечивало необходимый престиж вышеупомянутым институтам, это мало способствовало изображению его чисто научных подвигов.

Что же касается Любимова, то его интригующее эссе явно не подпитывало ломоносовскую мифологию. Скорее, оно могло (особенно если бы за ним последовали подобные работы) означать начало ее неумолимого упадка. Положение Ломоносова в русской мысли все еще было достаточно прочным, чтобы отразить довольно одинокий вызов Любимова, но вопрос о том, сможет ли образ ученого противостоять многочисленным подобным угрозам в будущем, представлялся проблематичным. Однако впоследствии, в первые десятилетия прошлого века, миф о Ломоносове и связанные с ним образы российской науки получили неограниченную поддержку благодаря работам Меншуткина. Впервые со времени написания биографий Ломоносова в XVIII веке он не только уточнил или даже изменил представление о Ломоносове как о первом и самом блестящем из русских ученых, но и существенно расширил его охват.

Глава 5

Меншуткин и «повторное открытие» Ломоносова

Восьмого ноября 1911 года исполнилось двести лет со дня рождения Ломоносова¹, и по этому случаю был проведен еще один раунд юбилейных торжеств. Главное собрание состоялось в тот же вечер в Академии наук в Санкт-Петербурге². Хотя и в последующие десятилетия периодически продолжали проводиться памятные мероприятия, посвященные как рождению, так и смерти Ломоносова (например, в 1915, 1936, 1961, 1965 и 1986 годах)³, юбилей 1911 года был особенно значимым из-за его

¹ Точная дата рождения Ломоносова неизвестна, но, основываясь на предположениях Сухомлинова (см. [Сухомлинов 1896, 782–783]), 8 ноября 1711 года было широко принято как «официальный» день рождения. А. И. Андреев прослеживает историю исследований даты рождения Ломоносова в [Андреев А. И. 1951]. В значительной степени подорвав выводы Сухомлинова, которые были построены на явно неубедительных доказательствах, он оставляет этот вопрос нерешенным.

² Деятельность Академии наук по подготовке к юбилею Ломоносова 1911 года всерьез началась в 1909 году с создания комиссии по организации торжеств. [Кулябко 1962] и [Радовский 1961: 249–259] предлагают тщательные обзоры организации и проведения юбилея. О том, что произошло в то время, см. также [Ломоносовские торжества 1911: 88–105].

³ Эти даты, конечно, совпадают с датами рождения и смерти Ломоносова, 1711 и 1765 год соответственно. Н. Кременцов утверждает, что соответствующие торжества, по крайней мере в советский период, обычно проводились с интервалом в 25 лет, с добавлением, что «необычные цифры обычно сиг-

огромного успеха в укреплении репутации Ломоносова как ученого. Во время празднования 1865 года значение Ломоносова было в значительной степени связано с той ролью, которую играла Академия наук, или, скорее, его достижения были изображены как неотделимые от достижений Академии. Во всяком случае, в его научной биографии в то время не хватало каких-либо новых взглядов, которые изменили бы широко распространенный образ его научных подвигов на благо страны.

Что касается мероприятий советской эпохи, то они были лишены какого-либо ощущения живого ломоносовского мифа, поскольку биография ученого использовалась исключительно для поддержания национальной гордости. Эта же цель, конечно, также имела решающее значение почти для всех дореволюционных описаний его жизни. Однако в последние десятилетия этот элемент приобрел совершенно предосудительное качество⁴.

нализируют о необычных событиях» [Krementsov 1997: 326]. Как видно из приведенных выше дат, «необычные события», по-видимому, характеризовали эволюцию культуры юбилея Ломоносова. За последние несколько десятилетий во многих странах участились юбилейные торжества (подробнее об этой очевидной «мании памяти» см. предисловие к [Abir-Am, Elliot 1999: 1–33], но, возможно, нигде они не были так распространены, как в Советском Союзе. Различие между празднованием дня рождения или смерти почитаемой фигуры — вспомним, например, принятое в 1955 году (в преддверии десталинизации) решение сосредоточить основные празднования в честь Ленина на дате его рождения, а не, как раньше, на дне его смерти (по этому вопросу см. [Tumarkin 1997: 257–258]), — похоже, не влияло на расписание праздников, посвященных Ломоносову или, например, Пушкину, другой фигуре, подвергшейся интенсивному обожествлению в советскую эпоху. Для исследования пушкинского мифа в его самом экстремальном и агиографическом аспекте во время юбилея 1937 года, посвященного его смерти, см. [Молок 2000].

⁴ Как проницательно заметил Кременцов, обсуждая начавшуюся в 1930-х годах идеологическую канонизацию ученых, особенно тех, кто мог быть привязан к определенным дисциплинам, «Празднования какого-нибудь события в жизни отца-основателя, такого как рождение, смерть или публикация важной работы, использовались для организации публичной демонстрации — санкционированной, конечно, партийными властями и означающей одобрение партией не только отца-основателя, но и дисциплины или учреждения, отмечающего юбилей. Таким образом, сам список признанных

В отличие от юбилея 1911 года, хотя и организованного Академией наук, российское научное сообщество в целом проявило необычайную энергию в изучении своего собственного прошлого, а также в отстаивании его современной значимости, в то же время полностью отдавая дань уважения Ломоносову.

После публикации множества исследований деятельности Ломоносове в 1860–1870-х годах количество новых работ замет-

отцов-основателей и их основные характеристики, подчеркнутые в многочисленных чествованиях, отражали образ науки и ученых, одобренных партийными властями» [Krementsov 1997: 222]. Это полное присоединение мемориальной культуры, существующей в науке, к возглавляемому партией государству (в отличие от чествований, ранее в значительной степени находившихся в ведении конкретного учреждения или научной дисциплины, хотя и они вряд ли были свободны от часто грубого или неуклюжего вмешательства режима), было осуществлено довольно легко, поскольку его «упростил и облегчил культ “основателей партии” Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина, который пронизывал политическую культуру большевиков. Советские ученые включили этих сакральных идеологических авторитетов в свой собственный пантеон Великих Ученых, распространив авторитет основателей партии на своих собственных “отцов-основателей”. Партийный аппарат, в свою очередь, признавал авторитет Великих Ученых, учреждая специальные премии за научные исследования, названные в честь отцов-основателей, отмечая их различные юбилеи и присваивая их имена научным учреждениям». Влияние такой грубой политизации на юбилейную культуру заключалось в том, что в конечном итоге она стала бессмысленной. Этот процесс быстро распространился на процессы внутри самих дисциплин и был использован учеными для защиты и расширения своих собственных областей, поскольку, как подчеркивает Кременцов, «Любая критика исследований отцов-основателей рассматривалась как нападение на высокий идеологический авторитет. Их наследие использовалось для обоснования почти каждого нового подхода в соответствующих дисциплинах. Многие ученые утверждали, что их работа непосредственно основана на исследованиях отца-основателя. Авторитет отцов-основателей также использовался для противопоставления “отечественной” и зарубежной науки в патриотических кампаниях или для подтверждения “практичности науки”» [там же: 50–51]. Проницательное исследование Кременцова, однако, несколько омрачается его убежденностью в том, что научные юбилеи как сила в научной жизни страны возникли в основном в 1930-е годы [там же: 52], что, конечно, отражает тенденцию при подходе к истории российской и советской науки слишком механически и слишком резко разграничивая то, что было советским, и того, что было русским, не допуская преемственности.

но сократилось⁵. Казалось, приверженность памяти Ломоносова, подобная той, что была проявлена во время юбилея 1865 года, все больше и больше ограничивалась такими памятными датами⁶, и тем, кто интересуется Ломоносовым, приходилось ждать наступления следующего юбилея. В то время как юбилей 1911 года ознаменовал решающий момент в эволюции репутации Ломоносова как ученого, путь к нему был в некоторой степени подготовлен тематическим выпуском в 1901 году сборника статей по

Подробнее об изучении истории науки в Советском Союзе с акцентом на более бессистемное воздействие на научную дисциплину потребности удовлетворять меняющимся требованиям сталинской культуры см. [Graham 2001; Graham 1967; Joravsky 1961: 215–314; Joravsky 1955: 3–13; Левшин 2003: 160–358; Andrews 2003: 154–176; Tolz 1997; Vucinich 1982]. Главы А. Б. Кожевникова о Вавилове («President of Stalin's Academy») и Капице («Piotr Kapitza and Stalin's Government: A Study in Moral Choice») в [Kojevnikov 2004] также поучительны. О более ранних взаимодействиях между часто услужливым молодым советским государством и учеными, интересующимися историей науки и техники, см. [Орел, Смагина 2003]. Этот сборник указывает на то значение, которое ранние советские ученые, историки и политические деятели придавали повторному изучению и популяризации наследия Ломоносова. Исследователи, связанные с Институтом истории науки и техники Российской академии наук, за последние два десятилетия подготовили ряд работ, посвященных взаимодействию между коммунизмом советского образца и эпистемологическими корнями истории науки. Многие из их работ также касаются судьбы отдельных ученых и дисциплин. Чтобы ознакомиться с подборкой соответствующих исследований, см. более свежие выпуски журнала Института «Вопросы истории естествознания и техники», в котором почти в каждом номере есть соответствующие статьи.

- ⁵ Это сравнение является относительным, поскольку на протяжении последних десятилетий XIX века продолжало выходить большое количество работ, посвященных Ломоносову [Фомин и др. 1915]. Они включают в себя довольно хорошо изученные полномасштабные биографии, такие как [Ламанский 1883]; и в особенности [Львович-Кострица 1892]. Книга Львовича-Кострицы включает в себя значительное количество документальных свидетельств о работе Ломоносова в Академии, которые были опубликованы в 1860–1870-х годах.
- ⁶ Это явление также видно в статистике публикаций, касающихся Пушкина, о которой см. [Levitt 1989]. Об огромном росте числа читающей публики в последний период существования имперской России, который, хотя автор явно не рассматривает эту связь, мог в значительной степени способствовать укреплению культуры юбилеев, см. [Brooks 1985: 295–352].

истории химии в России [Ломоносовский сборник 1901]. Более конкретно, эта работа, вдохновленная усилиями химика и профессора Московского университета В. В. Марковникова, была призвана привлечь внимание к 150-летию создания первой в России химической лаборатории. В ней анализировались усилия по созданию химических лабораторий по всей Российской империи за последние полтора столетия.

Роль Ломоносова как основателя первой химической лаборатории в России и вдохновителя последующих поколений химиков и ученых, работающих в смежных с химией областях, получила широкое освещение на собраниях, проходивших в Москве (2–4 января 1900 года) под эгидой Секции химии Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии (которую возглавлял Марковников). Доклады, сделанные на них, и образовали вышеупомянутый сборник⁷. В обращении Марковникова к российским ученым и образованной общественности содержалась просьба о том, чтобы этот праздник не ограничивался просто данью уважения к прошлому вкладу Ломоносова в развитие науки в России, но «имел бы в то же время практическое значение как для настоящего, так и для будущего той науки, которой Ломоносов явился у нас первым представителем слишком полтора столетия тому назад» [Марковников 1901б: 3]. Возможно, в данном случае Марковников имел в виду роль Ломоносова в химии, но эти слова могут быть поняты шире и применены к науке и просвещению в целом.

⁷ Можно выделить две статьи, впервые зачитанные в ходе этих выступлений: В. И. Вернадский, «О значении трудов М. В. Ломоносова в минералогии и геологии» [там же: 1–34] и Н. Н. Бекетов, «История химической лаборатории при Академии наук» [там же: 1–5] (нумерация страниц в тексте непоследовательная). Вернадский, геолог и химик, был одним из самых выдающихся ученых своего времени и остается почитаемой фигурой в России. Его эссе представляет собой подробный отчет о преимущественно минералогической работе Ломоносова, и он проявляет редкую рассудительность в исторической оценке достижений Ломоносова. Статья Бекетова представляет собой прекрасное рассмотрение усилий Ломоносова по созданию в России своего рода физической химии.

Призыв Марковникова повторяется в разных формах другими ораторами и символизирует усилия российских химиков в области повышения своего статуса, но не путем восхваления прошлых заслуг коллег-ученых перед родиной, а путем многократного подчеркивания того, насколько важна поддержка химии для развития страны. По мере того как российская химия становилась все более институционализированной, к концу XIX века неизбежно наступило время самоанализа, сопровождавшего профессионализацию⁸. Несмотря на центральную роль Ломоносова в усилиях химиков-профессионалов и независимо от того, как самоанализ повлиял на осознание прошлого химии в России, он не сопровождался существенной переоценкой проведенной Ломоносовым работы, которую так превозносили на московских собраниях. Похоже, что последовавшее увлечение Академии наук Ломоносовым пришлось как нельзя кстати для нового взгляда на его научное наследие.

Во время юбилея Ломоносова 1911 года произошел предсказуемый всплеск количества посвященной ему литературы, который традиционно сопровождает подобные мероприятия [Рысс 1951; Ломоносовские торжества 1911; Указатель 1911]. Среди амбициозных планов Академии наук в отношении намечавшихся мероприятий [Кулябко 1962: 300–301; Радовский 1961: 249–253] наиболее важными для наследия Ломоносова стали планы поиска в соответствующих архивах неизвестных работ и документов, касающихся его деятельности, и подготовки их к публикации. Это потребовало бы значительных усилий по их переводу. Академия также была полна решимости завершить последнюю и полную версию собрания сочинений Ломоносова (которое начало публиковаться под руководством Сухомлинова в 1891 году) [Ломоносов 1891–1949, 1–5]⁹; спонсировать издание специа-

⁸ О возникновении истории химии в России многое можно почерпнуть из [Шептунова 1995: 19–74; Соловьева 1985]. О статусе как химии, так и химика в Европе XIX века можно прочесть в [Knight, Kragh 1998]. Работа Найта и Крэга является одним из немногих исторических обзоров «европейской науки», в котором рассматриваются события в России (см. [Brooks 1998]).

⁹ Сухомлинов умер незадолго до выхода пятого тома.

лизированных сборников статей, посвященных разнообразному наследию Ломоносова; составить библиографию, охватывающую как его собственные труды, так и материалы о нем в других изданиях, на русском и на нескольких иностранных языках¹⁰; и организовать специальную выставку, посвященную русской культуре середины XVIII века, под названием «Ломоносов и елизаветинское время» [Путеводитель 1912]¹¹. Все эти планы в конечном итоге были реализованы.

Однако самое грандиозное предложение, сделанное во время юбилея, заключавшееся в идее создания крупного научно-исследовательского института, посвященного главным образом химии, физике и минералогии, который должен был носить имя «основоположника» этих наук в России, так и не было реализовано¹². По-видимому, это было результатом как чрезмерно амбициозных замыслов авторов этого плана, так и отсутствия заинтересованности правительства в предоставлении необходимой финансовой поддержки.

Что сделало, однако, юбилей 1911 года наиболее значительным событием, так это то, что во время него самый талантливый «современный» биограф Ломоносова, историк и физико-химик

¹⁰ В течение нескольких лет после юбилея вышли в свет следующие библиографии: [Кунцевич 1918; Фомин и др. 1915]. В 1911 году или около того было выпущено несколько сборников статей; возможно, наиболее полезными из них остаются [Голубцов 1911], в котором основное внимание уделяется связям Ломоносова с Крайним Севером России, и [Ломоносовский сборник 1911], опубликованный Академией наук, в который вошли несколько исторических обзоров работ Ломоносова как химика и физика.

¹¹ В 1912 году в Академии художеств состоялась обширная выставка культурных экспонатов XVIII века. Как ясно из путеводителя, выставка была отчасти попыткой тесно связать имя Ломоносова с, казалось бы, давней традицией государственной поддержки российской науки и образования.

¹² О предлагаемом Ломоносовском институте см. [Кольцов 1965]. Институт должен был отразить как разнообразие интересов Ломоносова, так и очевидное слияние в его карьере теории и практики. Хотя автор перекладывает большую часть вины за неспособность создать такой исследовательский центр с Академии на правительство, представляется, что более вероятным окончательным объяснением было начало войны в 1914 году — фактор, который Кольцов преуменьшает.

Меншуткин (1876–1938)¹³, начал придавать существенный блеск представлениям о Ломоносове именно как о химике и физике. Меншуткин был одним из первых российских историков науки и, несомненно, самым плодовитым ранним историком химии. Похоже, что интерес Меншуткина к научному прошлому России возник естественным образом, поскольку его отцом был Н. А. Меншуткин, известный химик, а также историк химии [Шептунова 1995: 60–62]. В дополнение к своей работе о Ломоносове Меншуткин написал труды о многих ведущих химиках прошлого России, в том числе о В. В. Петрове, Н. Н. Зинине, Менделееве, а помимо них и большое исследование о своем отце¹⁴, а также, что интересно, статью о Севергине¹⁵. Эти работы были подступами к запланированной им общей истории русской химии, работе, которую он не смог довести до конца.

Меншуткин оставил краткую автобиографию (написанную в 1937 году)¹⁶, которая, к сожалению, имеет мало ценности для

¹³ Труд [Смолеговский, Соловьева 1983] представляет собой скрупулезно проработанную биографию, которая включает тщательное освещение работы Меншуткина как химика и уделяет ему менее пристальное внимание как историку науки (главным образом химии). Полезной хроникой интереса Меншуткина к Ломоносову является [Погодин, Раскин 1965]. На английском языке см. также предисловие Т. Л. Дэвиса к [Menshutkin 1952: v–viii].

¹⁴ Помимо трудов о Ломоносове, написанная Меншуткиным биография отца [Меншуткин 1908] является его самой значительной публикацией, посвященной истории науки. Она также представляет собой отчет, написанный с точки зрения преданного сына, об усилиях старшего Меншуткина по улучшению управления Санкт-Петербургским университетом (он долгое время был с ним связан) и его часто вызывавшей полемику, хотя и не радикальной, оппозиции по отношению к режиму.

¹⁵ В этой статье он явно старался установить связь между попытками Севергина и Ломоносова «распространить просвещение» в России, как цитируют [Смолеговский, Соловьев 1983: 130]. Подробнее о различных биографических работах Меншуткина см. [там же: 120–150].

¹⁶ СПбФ АРАН. Ф. 327. Оп. 1. № 110. Л. 11–25 об. Она также была опубликована в [Смолеговский, Соловьев 1983: 7–32]. Мемуары Меншуткина в значительной степени «летописны» по своей структуре. Парадоксально, но его «автобиографии» настолько не хватает самоанализа, что она придает тем немногим сведениям о жизни автора, которые тот действительно приводит, ощущение подлинности (и это несмотря на тот страшный год, когда она появилась).

тех, кто интересуется, если можно так выразиться, психологическими корнями его увлеченности Ломоносовым. Однако она дает основу, в рамках которой можно точно определить истоки его интересов или, по крайней мере, понять, как он хотел изобразить свою первую встречу с Ломоносовым. По-видимому, Меншуткин узнал о Ломоносове случайно, когда, будучи студентом, присутствовал на собрании химического общества (это случилось в 1900 году), на котором некий А. А. Живков рассказывал о заслугах Ломоносова как химика. По словам Меншуткина, на изучение места Ломоносова в истории химии его вдохновило следующее обстоятельство: «Я пытался отыскать какие-либо данные об... [его] работах в химической литературе, но ничего не нашел»¹⁷. Явно встревоженный таким отсутствием материалов, он «тогда решил сам исследовать это и принялся за изучение оставшихся после Ломоносова рукописей, записок и заметок в рукописном отделе Библиотеки Академии наук и в архивах». После самых ранних исследований¹⁸ Меншуткин сфокусировал остальную часть своей почти 40-летней работы по изучению наследия Ломоносова как на выявлении и обнаружении подлинных работ ученого, так и, что гораздо важнее, на интерпретации их непреходящего значения для аудитории, представленной в основном неспециалистами.

¹⁷ СПбФ АРАН. Ф. 327. Оп. 1. № 110. Л. 13; [Смолеговский, Соловьев 1983: 10–11].

¹⁸ Меншуткин довольно быстро перешел к составлению сборника «Ломоносов как физико-химик: к истории химии в России» [Меншуткин 1904]. В этот том он включил полностью или частично 18 трактатов Ломоносова по физике и химии, многие из которых перевел с латыни. По крайней мере половина из них ранее не публиковалась. Он также добавил обширные комментарии к статьям, выступлениям и диссертациям Ломоносова. За эту работу Меншуткин был удостоен премии (в размере 500 рублей), присужденной Академией наук. Об этом см. [Радовский 1961: 244–246]. Учрежденная в 1868 году премия, полная сумма которой составляла 2000 рублей, еще не была получена: она предназначалась для научной и всеобъемлющей биографии. Хотя работа Меншуткина не была биографией в полном смысле этого слова, она была так хорошо принята, что Академия решила присудить уменьшенную премию.

Элемент случайности или, так сказать, Провидения, способствовавший настоящему «открытию» или, верней, «повторному открытию» Ломоносова Меншуткиным, имел широкий резонанс и сам по себе стал центральным в эволюции образа Ломоносова¹⁹. Различие между открытием и повторным открытием — не просто семантический момент. Оно связано с более фундаментальной идеей о том, насколько широко был известен Ломоносов как химик и физик (в отличие от его известности как литератора) до исследований Меншуткина литератора. Хотя Меншуткин в значительной степени опирался на документальные коллекции, собранные Билярским, Куником и Пекарским²⁰, он стремился к оригинальным и дерзким оценкам научной деятельности Ломоносова, дать которые, по его утверждениям,

¹⁹ Ключевым моментом в идее повторного открытия является судьба многих якобы пропавших документов Ломоносова, повествование о которой при чтении зачастую кажется похожим на какую-то загадку, или, скорее, подается таким образом. Это подробно рассматривается в [Кулябко, Бешенковский 1975: 73–143]. Понятие утерянных или, скорее, экспроприированных бумаг было впервые введено в историографию первыми биографами Ломоносова. Штелин утверждал, что после смерти Ломоносова «все его записки приобрел граф Григорий Орлов» (который был последним известным покровителем Ломоносова) [Штелин 1853: 25]. Кроме того, вскоре после смерти Ломоносова его давний враг в Академии наук Тауберт написал (его депеша датирована 8 апреля 1765 года) Миллеру, что «на другой день после его [Ломоносова] смерти, граф Орлов велел приложить печати к его кабинету. Без сомнения в нем должны находиться бумаги, которые не желают выпустить в чужие руки» [Пекарский 1865: 88–89]. Некоторые ценные документы, возможно, были изъяты из кабинета Ломоносова после его кончины, однако, несмотря на ресурсы, затраченные на изучение такого утверждения, неопровержимых доказательств в его поддержку нет. Каков бы ни был ответ, идея о том, что Ломоносов трудился над какой-то потенциально скандальной работой, не обязательно связанной с его научными занятиями, часто всплывает в историографии, и это неудивительно.

²⁰ Хотя Меншуткин нигде не выделяет особо и не хвалит работу филолога Будиловича ([Будилович 1869] демонстрирует для того времени непревзойденное знакомство с документами Ломоносова как научными, так и литературными, которые хранились в Архиве Академии наук), именно она, возможно, стала для него наиболее полезной. Будилович также приводит довольно подробные выдержки из химических и физических трудов Ломоносова, хотя редко комментирует их.

прежде мешал недостаточно высокий уровень наук, и в особенности химии.

Собственная работа Меншуткина явно мотивирована идеей его личного открытия Ломоносова, то есть как реально существующими остатками его трактатов, так и самой личностью ученого. Это была попытка подчеркнуть свою особую роль в довольно обширной «индустрии», связанной с памятью о Ломоносове²¹. Большинство советских историков российской науки, желая подчеркнуть, что Ломоносов давно прославляется в русской культуре, используют тему повторного открытия при обсуждении Меншуткина и Ломоносова²². Хотя то, что Ломоно-

²¹ Меншуткин едва ли оказывается на высоте, пытаясь придать блеск бесстрашия своим изнурительным усилиям биографа Ломоносова, как будто 40 лет трудов не свидетельствуют в достаточной степени о его упорстве, если не доблести. Как он пишет в своей автобиографии, несмотря на ужасные лишения, которые он и его мать перенесли в Петрограде в 1919–1920 годах во время Гражданской войны в России, он все же нашел в себе силы, «прочитал курс органической химии трем студентам и работал по истории химии (книги о Н. Н. Зинине и М. В. Ломоносове)» (СПбФ АРАН. Ф. 327. Оп. 1. № 110. Л. 16; [Смолеговский, Соловьев 1983: 15]).

²² Вавилов, возможно, наиболее эффективным образом воспользовался своим влиянием и присвоил это словосочетание трудам Меншуткина, заявив, что именно Меншуткин «вновь открыл» статус Ломоносова как ученого-первопроходца и в особенности как физико-химика [Вавилов 1861: 31]. После Меншуткина Вавилов, пожалуй, самый цитируемый современный источник, повествующий о научной деятельности Ломоносова. Однако мотив повторного открытия был применен задолго до Вавилова и, возможно, впервые появился в президентском обращении А. Смита к Американскому химическому обществу в 1911 году, когда в разгар восхищенного обзора химических исследований Ломоносова Смит заметил по поводу репутации русского ученого: «даже в России, где его труды в области литературы и лингвистики, его успехи на поприще общественной деятельности, его исследования по географии и метеорологии принесли ему прочную славу, тот факт, что он был прежде всего химиком, был совершенно забыт. Только Меншуткин несколько лет назад вновь открыл его как химика, напечатал на русском языке его рассеянные в разных местах сочинения и собрал все, что можно найти из его рукописей, писем и лабораторных записных книжек» [Smith 1912: 112]. Эссе Смита стало первым содержательным исследованием научной деятельности Ломоносова, появившимся на английском языке, и его

сов вызывал всеобщее восхищение как в свое время, так и у последующих поколений его равнодушных соотечественников, является аксиомой, возможно, присутствующей во всех работах. Что ставит под сомнение некоторые из утверждений последующих историков, так это их заявления о его прямом влиянии на более поздних ученых.

Менее интересным аспектом тропа повторного открытия является существующий в архивах кладезь документов, которые обнаружил и опубликовал Меншуткин, тем самым доказав дальновидность Ломоносова просто по их там присутствию, дающему возможность их последующего комментирования Меншуткиным. Гораздо более интересным является «восстановление» Меншуткиным значения Ломоносова как одной из самых выдающихся научных фигур последних двух столетий во всем мире, а не только в России, а также и то, как Меншуткин укрепил веру в значимость Ломоносова в российской науке, которая сохранялась десятилетиями. Это кажется не столько раскрытием реального человека, сколько «изобретением» идеализированной фигуры, поэтому метафора «открытия заново» еще более уместна.

Работу Меншуткина с наследием Ломоносова можно классифицировать следующим образом: выявление и публикация ранее неопубликованных или явно забытых научных трактатов Ломоносова, накопление обширных комментариев к указанным статьям, написание узко специализированных эссе о химических и физических исследованиях Ломоносова и написание более «популярных» биографических исследований. Меншуткин опубликовал более 20 (в основном научных) сочинений, охватывающих с разной степенью полноты все аспекты натурфилософии Ломо-

заключительный тезис о том, что совершенное Меншуткиным «открытие заново Ломоноссоффа [так в оригинале] сразу прибавило химика первой величины и личность удивительной силы к ограниченной галерее величайших людей мира» [там же: 119], был, что неудивительно, тепло встречен более поздними энтузиастами достижений Меншуткина в изучении Ломоносова. Об этом см. [Погодин, Раскин 1965: 260; Смолеговский, Соловьев 1983: 115].

носова²³. Поскольку в данной работе предпринята попытка раскрыть наиболее распространенную мифологию, связанную с Ломоносовым, внимание будет уделено исключительно популяризации Меншуткиным предмета своих исследований.

На праздновании дня рождения Ломоносова 8 ноября 1911 года в Академии наук Меншуткин произнес речь, которая в ретроспективе кажется самой яркой или, во всяком случае, исторически насыщенной речью этого мероприятия. Озаглавленная «Ломоносов как естествоиспытатель» [Меншуткин 1911a]²⁴, речь представляет собравшимся важнейшие темы, которые Меншуткин затем разрабатывал на протяжении почти четырех десятилетий работы по исследованию деятельности Ломоносова. Более того, в ней великолепно изложена полная биография Ломоносова, опубликованная оратором в том же году [Меншуткин 1911b].

Из-за важности юбилеев для создания и распространения образа Ломоносова, а также потому, что они четко позиционируют представления об ученом в привязке к времени и месту, речь Меншуткина позволяет исключительно хорошо увидеть, как изображали Ломоносова в последние годы Российской империи.

Пытаясь осознать профессиональную жизнь Ломоносова, особенно ее все более непостижимое разнообразие, Меншуткин ссылается на письмо Ломоносова к Шувалову, в котором Ломоносов якобы изложил свои собственные предпочтения в пользу наук по сравнению с другими задачами, которым он неохотно уделял столь много времени. Меншуткин, однако, переформулировал его таким образом, чтобы оно соответствовало современным требованиям:

Деятельность М. В. Ломоносова в области русской литературы и филологии получила еще при жизни его вполне заслуженную оценку; и до настоящего времени почти у всех

²³ Библиографию работ Меншуткина, посвященных Ломоносову, см. в [там же: 177–181].

²⁴ Изданная речь занимает 12 страниц.

с его именем связывается представление о писателе, создавшем новые формы стихов и положившем начало современному русскому языку. Между тем Ломоносов свое время посвящал главным образом работам по своей профессии — химии и физике; но деятельность его, как естествоиспытателя, стала известной во всей полноте только в последнее время [Меншуткин 1911а: 1].

Меншуткин превратил эту общеизвестную точку зрения в призыв к переоценке подлинной природы значения Ломоносова в российской истории. Сам он никогда бы не отступил от ее подспудных требований о том, что научные достижения Ломоносова должны получить дальнейшее, действительно новое, освещение. Не менее важным является выдвинутое им утверждение, которое он первый существенно развил и которое сделал центральным в своем подходе к изучению деятельности Ломоносова, состоящее в том, что лишь с учетом последних достижений в науке провидческие исследования Ломоносова могут быть оценены с надлежащей точки зрения.

Как и его предшественники, Меншуткин уделяет значительное количество времени тому, чтобы познакомить слушателей с поразительными подробностями ранней биографии Ломоносова [там же: 1–5]. Воодушевленный рассказами, восхваляющими молодые годы Ломоносова, он нисколько не отступает от сложившегося мифа. Конечно, воспитательная цель изображения Ломоносова в манере, выражающей изумление, ничуть не утратила своей ценности. Более того, как химик, Меншуткин также ясно видел важность того, чтобы такая яркая фигура, как Ломоносов, слыла родоначальником его профессии. Происхождение Ломоносова, бывшего родом с далекой северной периферии (что важно и поразительно, он был из крестьян), его интерес к природе, его любовь к учебе, его раннее и страстное желание изучать науки — все эти сведения, почерпнутые Меншуткиным в более ранних жизнеописаниях Ломоносова, в особенности в биографиях XVIII века Штелина и Веревкина, очевидно, пригодились оратору как по части «фактической» информации, так и по части идеализации.

Работа Ломоносова в качестве профессора химии и создание им первой химической лаборатории в России, а также выполнение более общих задач в качестве администратора и организатора науки после его возвращения с Запада в Санкт-Петербург отмечаются с почтением [там же: 5]. Меншуткин в общих чертах обрисовал и несколько разрозненных обязанностей Ломоносова, не относящихся к естественным наукам. Это были виды деятельности, отнимавшие много времени и «постоянно отвлекавшие его от его профессии», такие как «литературные занятия, работы по истории, филологии и политической экономии», но, учитывая все эти, казалось бы, второстепенные задачи, «вообще нужно только удивляться, как много он успел сделать в области естествознания» [там же: 6]²⁵. Однако это были не просто тривиальные развлечения, ибо «в течение всей своей жизни Ломоносов всегда стремился принести посильную пользу делу просвещения русского народа». Его труды в Академии наук по популяризации науки («он был первым, читавшим в Петербурге популярные публичные лекции по физике»), его переводческая работа и разнообразные опубликованные труды, его руководство гимназией и университетом Академии и, наконец, его стремление основать Московский университет — все это помогало привить русскому обществу осознание важности науки и образования.

Этого не могло произойти без огромных усилий со стороны Ломоносова, и Меншуткин, в отличие от своих предшественников, был гораздо более поглощен попытками понять и прояснить мотивы его часто воинственных столкновений с коллегами и современниками. Как замечает Меншуткин, чтобы получить более полное представление об этом человеке, необходимо упомянуть и о «менее приятных сторонах его характера» [Меншуткин 1911a: 7]. Из-за стремительного взлета Ломоносова, начав-

²⁵ Литературные, исторические и филологические исследования Ломоносова уже упоминались, а что касается его работы в области «политической экономии», то Меншуткин, скорее всего, ссылается на статью Ломоносова (адресованную в форме эпистолярного послания Шувалову) «О сохранении и размножении российского народа» (1761), см. в [Ломоносов 1950–1983, 6: 381–403, 596–600].

шего свой путь с географических и социальных окраин российского общества, взлета, который всегда воспринимался как исключительное событие, а также его не слишком покладистого характера в результате, без сомнения, низкого происхождения (опять же, это была устоявшаяся точка зрения, которая иногда использовалась для объяснения темперамента ученого), у него сложилось «высокое мнение о самом себе». Оно «заставляло его считать свое заключение по всякому вопросу окончательным и непреложным, а всякое возражение — личной обидой».

Из-за такого тщеславия возникали «бесконечные столкновения» с другими членами Академии, в которых «он видел препятствие к распространению просвещения в России, которые являлись [по его мнению] гонителями наук». За эту, возможно, задиристую и неуживчивую черту характера Ломоносову пришлось заплатить высокую цену, поскольку эти стычки, которые «стали особенно частыми и резкими в старости» и которые наряду с «влиянием постоянных денежных забот», а также результатом «пристрастия к спиртным напиткам» постепенно подорвали его здоровье и привели к почти полному прекращению им продуктивной работы в последние годы жизни. Для Ломоносова суровым результатом его собственного холерического характера и алкоголизма стало то, что он умер, как выразился Меншуткин, «еще сравнительно не старым» 4 апреля 1765 года.

Ранние биографы часто намекали на неприятный характер Ломоносова и его непрекращающиеся сражения с различными врагами, как реальными, так и предполагаемыми. Однако они были менее откровенны в рассуждениях о последствиях такого поведения для Ломоносова и еще меньше в отношении его влияния на Академию наук. Очевидное новаторство Меншуткина здесь, возможно, было связано не столько с какими-либо интуитивными открытиями, которые он использовал в своих исследованиях характера Ломоносова, сколько с эволюцией самого биографического жанра²⁶. Однако несмотря на то, что он раскрыл

²⁶ Однако, по крайней мере, в том, что касается личности Ломоносова, современные попытки разгадать ее тайну мало чем отличаются от ранних набегов Меншуткина на эту тему. Учитывая этот пробел в связанных с Ломоносовым

не слишком достойные восхищения аспекты жизни Ломоносова, они все равно были включены в его лекцию в героическом контексте²⁷. В конце концов, Ломоносов боролся за развитие русской науки. А потому, хотя Ломоносову, по-видимому, мешал вспыльчивый характер, который часто не позволял добиться того, чего он мог бы достичь, разве это не придавало его реальным успехам еще более эффектную ауру?

Изучая научную деятельность Ломоносова, Меншуткин был убежден, что «он был несомненно одним из самых выдающихся химиков». И даже более, по его мнению «одного того, что сделал

исследованиях, «психологический портрет» Ломоносова в [Карпеев 1999б], тема, которую он также затрагивает в [Карпеев 2005: 9–25], может только приветствоваться. К сожалению, в этих сочинениях, первых, посвященных этой, по общему признанию, трудной теме, написанных способным ученым, исследователем Ломоносова, нет той аналитической изощренности, которую, например, Ф. Мануэль несколько десятилетий назад привнес в свое исследование Ньютона (см. [Manuel 1968]) или которую Д. Бэнвилл осуществил в своем ярком переосмыслении фигуры И. Кеплера [Banville 1981]. Эта часть трилогии «Revolutions Trilogy» Бэнвилла (другие, на мой взгляд, менее удачные романы посвящены Ньютону и Копернику) изящно передает противоречивую личность Кеплера, а также визуализирует и контекстуализирует то, что значило быть натурфилософом во время так называемой научной революции. Бэнвилл рассказывает об удивительной жизни ученого, не теряя при этом понимания идей, страстей и амбиций, которыми жил Кеплер, или открытий, которые мы обычно воспринимаем как его наследие.

²⁷ Описание Меншуткиным бурной жизни Ломоносова является искренним, и, хотя он часто выражает некоторое неодобрение, он, в конце концов, не осуждает ученого. Даже по таким вопросам, как клеветническое (и пьяное) поведение Ломоносова на заседаниях Академии, его неспособность заглянуть вину, что в конечном итоге привело к тому, что ученый был помещен под домашний арест (заключение длилось с мая 1743 по январь 1744 года), Меншуткин не смог заставить себя однозначно осудить его. На самом деле он совершенно справедливо подчеркнул, что Ломоносов использовал время своего ареста с большой пользой для продвижения собственных исследований. (Об этом совсем кратко говорится в речи [Меншуткин 1911а: 5]; более полный отчет см. в более крупной работе [Меншуткин 1911б: 30–35].) Период с 1742 по 1744 год был в жизни Ломоносова хаотичным временем, отмеченным не только его заключением, но и предшествовавшей ему серией жестоких столкновений с коллегами по Академии (главным образом с «немецким» садовником Академии). Документацию об этих инцидентах см. в [Пекарский 1870–1873, 2: 329–348].

Ломоносов в области химии и физики, вполне достаточно, чтобы назвать его одним из величайших естествоиспытателей XVIII века» [Меншуткин 1911а: 9]. Меншуткин заявляет, что главным завещанием Ломоносова последующим поколениям натурфилософов стала его новаторская разработка механической философии (широко распространенной в его время), чтобы объяснять различные вещи, и в частности наиболее поразительную природу тепла. Предполагаемое предвосхищение Ломоносовым принципа сохранения энергии, наряду с аналогичными представлениями, приближенными к кинетической теории газов, неразрывно связаны с его механическим/корпускулярным взглядом на устройство мира природы [там же: 8–9]. Меншуткин утверждал, что это были революционные гипотезы, намного превосходящие все, что предлагали современники Ломоносова, и что они остаются чрезвычайно актуальными даже сегодня. Если бы это было так, то, конечно, выводы Меншуткина были бы совершенно логичны, а Ломоносов являлся бы теоретиком-первопроходцем.

Ломоносов смог добиться таких выдающихся успехов в изучении природы тепла и газа благодаря его пониманию необходимости для химиков использовать в своей работе приемы физики и математики, приемы, «которые являются методами XIX столетия, но никак не XVIII, когда их еще почти не применяли» [там же: 11–12]. Применение им методов этих точных наук к химии позволило ему встать «на вполне оригинальную, самобытную точку зрения» [там же: 9, 12]. Более того, единство физики и химии, достигнутое Ломоносовым, сделало его первым в России физико-химиком²⁸. Недавние события в развитии химии, и особенно физической химии, сделали этот момент самоочевидным для слушателей Меншуткина. Таким образом, работа Ломоносова, как с точки зрения методов, которые он использовал, так и с точки зрения сформулированных им предположений, была

²⁸ Марковников, возможно, был первым известным ученым, утверждавшим, что «Ломоносов был первым русским физико-химиком». См. [Марковников 1901а: 15]. Однако он не утверждал, как это сделал Меншуткин, что Ломоносов был первым физико-химиком и точка.

предшественницей современных исследований. Химия оказалась той наукой, для которой Меншуткин присвоил Ломоносова наиболее решительно.

Меншуткин завершил свою речь рассмотрением значения юбилея 1865 года для оценки Ломоносова как ученого. Якобы направленный против довольно слабого предыдущего понимания деятельности Ломоносова, этот отрывок на самом деле был главным образом важен для выявления того, куда Меншуткин попытается направить славу Ломоносова:

В 1865 году, когда исполнилось столетие со дня кончины его, в торжественных заседаниях Академии и Университетов производилась оценка его трудов учеными того времени. В их речах мы находим мало указаний на то, что сегодня мы выставляем как наиболее важное в трудах Ломоносова, как то: механические теории тепла и газов, физическую химию; эти мысли не казались в 1865 году особенно выдающимися; хотя и прошло сто лет после смерти его, и совершенно аналогичные физические теории уже были незадолго до того предложены известными учеными XIX века, но они в то время не получили еще распространения, и понадобилось несколько лет, прежде, чем они вошли в научный обиход. Расцвет же физической химии принадлежит только концу прошлого столетия; эти факты показывают, насколько гений Ломоносова опередил свой век [Меншуткин 1911а: 12].

На протяжении долгих лет, посвященных Меншуткиным увековечиванию памяти Ломоносова, его наиболее четкой целью было желание придать биографии Ломоносова более современный набор научных символов. Утверждения Меншукина относительно теоретической проницательности Ломоносова трудно, а возможно, даже до некоторой степени излишне опровергать полностью, поскольку они сформулированы в такой общей манере, что остаются открытыми для практически неограниченной интерпретации²⁹. Таким образом, проверке будет подвергнута не

²⁹ На мой взгляд, лучшим введением в механическую/корпускулярную теорию XVII и XVIII веков остается [Boas 1952]. Книга Боас — одно из редких западных исследований, включающих обсуждение, пусть и краткое, деятельности

правильность утверждений Меншуткина, а, скорее, их влияние на представления об их предмете.

Биография «Михайло Васильевич Ломоносов: жизнеописание» 1911 года, наряду с ее более поздними, слегка переработанными или, лучше сказать, расширенными изданиями, стала самой последовательной «большой» работой о жизни Ломоносова, которая когда-либо появлялась. Взявшись за этот проект по просьбе комиссии по организации юбилея Ломоносова в 1911 году, Меншуткин написал ее с расчетом на непрофессиональную аудиторию³⁰. Все его работы, написанные до и в течение 1911 года, отражены в этой биографии³¹. До определенного момента ее

Ломоносова. За исключением ее оценки близости Ломоносова к Ньютону (по-видимому, возникшей под влиянием Меншуткина), ее суждения весьма проницательны. Как она кратко заключает, во времени Ломоносова или вскоре после него «другие системы [в частности, дальтоновская в конце XVIII века] были меньше озабочены механическими объяснениями и больше характеристиками самих атомов» [Boas 1952: 523]. Спорным и неубедительным ответом Боас является работа [Ланжевен 1977: 49, 55–57].

³⁰ Информативным в плане краткого изложения целей Меншуткина, не только в отношении этой биографии, но и в отношении изучения деятельности Ломоносова в целом, был проект, который он представил при ее написании в Академию наук в 1910 году. В основном Меншуткин был заинтересован в создании работы на «легкодоступном языке», которая вызвала бы всплеск интереса к изучению корней российской науки. Ломоносов был представлен стержнем, вокруг которого будет происходить оценка российского научного прошлого, поскольку «многие взгляды и мысли Ломоносова, развитые им в своих диссертациях и научных исследованиях, стали ныне всеобщим достоянием и не кажутся, как это было при жизни его, странными и непонятными». Он также планировал заниматься вопросами «характера и образа жизни» Ломоносова, что, предположительно, наряду с надлежащим освещением его выдающихся достижений как ученого, вызовет значительный интерес к биографии Ломоносова среди общественности. Цит. по: [Погодин, Раскина 1965: 258–259].

³¹ Участие Меншуткина в изучении деятельности Ломоносова было, пожалуй, наиболее интенсивным в 1911 году. В дополнение к активной роли в комиссии по планированию юбилея (он был включен в организационный комитет Академии наук вскоре после его образования), он также с 1907 года все больше погружался в возглавляемую стареющим филологом и давним исследователем Ломоносова В. И. Ламанским работу по подготовке к публикации двух окончательных «научных» томов для давно ожидаемого завер-

обычно называли самой популярной в России книгой «научного» или «академического» типа³². Было это так или нет, зависит как от достоверности довольно поверхностного анализа ее тиража в прессе, так и понимания слова «тип». Тем не менее она неизменно рассматривалась как таковая. Здесь будет использовано издание вышеупомянутой биографии 1937 года [Меншуткин 1937]³³. За исключением редкого включения Меншуткиным риторики, вдохновленной советской властью или вызванной советскими требованиями³⁴, эта работа просто усиливает, остав-

шения полного собрания сочинений Ломоносова. Они должны были выйти к 1911 году, но сначала из-за редакционных проблем, потом из-за неблагоприятной обстановки в России, а затем и в Советском Союзе были изданы только в 1934 году. О составлении этих двух томов см. предисловие Меншуткина к [Ломоносов 1891–1948, 6: V–IX]. Кроме того, Меншуткин опубликовал две статьи: «О корпускулярной философии Ломоносова» и «М. В. Ломоносов и флогистон» для [Ломоносовский сборник 1911: 151–162]. Они обе в значительной степени вошли в биографию Ломоносова того же года. В том же году Меншуткин опубликовал работу «Труды М. В. Ломоносова по физике и химии» [Меншуткин 1911в]. В ней полностью или частично приведены переводы нескольких «физико-химических» трудов Ломоносова, причем все они прокомментированы Меншуткиным.

³² В конечном итоге она вышла тиражом в 80 000 экземпляров. См. [Погодин, Раскин 1965: 259; Радовский 1961: 256; Смолеговский, Соловьев 1983: 102]. Сам Меншуткин подчеркивал популярность книги в своей автобиографии: СПбФ АРАН. Ф. 327. Оп. 1. № 110. Л. 23об; [Смолеговский, Соловьев 1983: 29].

³³ Следует отметить, что это издание было переведено на английский язык в 1952 году под названием «Russia's Lomonosov» [Menshutkin 1952] и, безусловно, является основным источником о жизни Ломоносова за пределами России.

³⁴ Например, в предисловии, посвященном празднованию в 1936 году 225-летия со дня рождения Ломоносова. В нем присутствует обязательная цитата из передовицы в газете «Правда» (18 ноября 1936 года), посвященная Ломоносову, в которой восхваляется «гениальный сын великого русского народа». Частично заимствуя указание «Правды» на ценность Ломоносова как символа для «советской молодежи», он далее пишет: «Жизнь и деятельность Ломоносова, великого патриота, гениального ученого, страстного борца за подлинную науку и культуру, весьма поучительна и для нашей эпохи, в особенности для подрастающего поколения» [Меншуткин 1937: 3–5]. Замените «советской» на «русской», и вы поймете, что подобный язык встречается

для без изменений, образ Ломоносова, который Меншуткин со-
здал в своем исследовании 1911 года. Однако какие бы незначи-
тельные различия между текстами ни существовали, они, на самом
деле, связаны не столько со сталинскими политическими требо-
ваниями, заставляющими Меншуткина пересматривать основы
своей более ранней работы, сколько с простым увеличением
деталей — и они, следует еще раз подчеркнуть, не включают ка-
ких-либо существенных изменений в основных аргументах или
выводах. Использование издания 1937 года также косвенно
подтверждает мое суждение о том, что появление советской
власти существенно не повлияло на содержание мифа о Ломоно-
сове. Однако последствия воздействия мифологии, связанной
с именем Ломоносова, и ее чрезмерного влияния в советскую
эпоху — это совсем другое дело.

«Жизнеописание Михаила Васильевича Ломоносова» Меншут-
кина — это полная биография, включающая необходимый пере-
сказ историй, посвященных идеализированной юности и перио-
ду учебы Ломоносова, которые были основополагающими для
всех представлений о нем вскоре после его смерти. Его более
поздним трудам в Академии наук и во всех бесчисленных научных
и ненаучных областях, которые были очерчены предыдущими
биографами, уделяется щедрое внимание, необходимое для ра-
боты, в основе которой, в конце концов, в основном все еще ле-
жала агиография. Сопоставлениям Ломоносова с Франклином
(в области электрических исследований) и Ломоносова с Ньюто-
ном (в области оптических исследований) уделяется, возможно,
больше внимания (и научной «полировки»), чем где-либо ранее.
Другие аспекты, необходимые для описания жизни Ломоносова,
такие как основание им Московского университета, также удо-
стоены щедрой похвалы.

в предыдущих работах о Ломоносове на протяжении почти двух столетий.
Номер «Правды» от 18 ноября 1936 года в основном посвящен восхвалению
(довольно грубому) вклада Ломоносова в российскую науку и культуру
и восхвалению продолжавшейся всю его жизнь борьбы с врагами русского
прогресса, при этом Ломоносов и Россия (и/или Советский Союз), что не-
удивительно, объединены в один образ.

Что, на первый взгляд, особенно поражает в работе Меншуткина, так это его попытка найти последовательность в научной деятельности Ломоносова — или, возможно, было бы лучше рассматривать это как его попытку объединить ошеломляющее разнообразие профессиональной жизни Ломоносова в более четко очерченное целое. Поскольку его в основном интересовало наследие Ломоносова как химика, и в меньшей степени наследие как физика, он в первую очередь стремился установить, что его химические и физические труды концептуально подпадают под довольно доступную рубрику. В сочетании с тем, что должно было стать основной частью работы, доступной и унифицированной, это давало неограниченное наследие, которое также, как это ни парадоксально, было довольно просто определено.

В целях лучшей организации своей работы Меншуткин ввел относительно прозрачное хронологическое деление, которое разделило работу Ломоносова в Академии наук на время занятий физикой (1741–1748), химией (1748–1757) и, наконец, и наиболее аморфно, на «прикладные науки» и деятельность в административной сфере (1757–1765) [Меншуткин 1937: 68]. Эта схематизация, которая присутствует и у более поздних авторов, менее актуальна, чем стремление Меншуткина объединить химические и физические исследования Ломоносова в теоретически объединенный свод знаний. Это стремление продемонстрировать их гармонию было жизненно важным, даже если оно ограничивалось химическими и физическими трактатами Ломоносова, поскольку сама энциклопедичность профессиональной деятельности Ломоносова делала их все более трудными для оценки, особенно если кто-то был заинтересован в переосмыслении жизни ученого.

Ознакомившись с трудами Ломоносова, Меншуткин обнаружил, что ученый пытался объединить «его научные произведения, особенно по физике и химии, в одно стройное целое» [там же]. Физикой и химией область научных занятий Ломоносова не ограничивалась. Меншуткин настаивал на том, что математика также была им присуща и они отличались не неразборчивой разнородностью, а, скорее, тем, что за исследованиями стояла определенная цель:

Сперва Ломоносов думал написать большое сочинение, объединяющее все названные науки на почве теории корпускул. Такую «корпускулярную философию» (как он ее называет в одном из писем Л. Эйлеру) он порывался написать несколько раз в течение своей жизни; но всегда те или иные причины заставляли его остановиться в самом начале, едва набросав план сочинения. Однако отдельные главы этого великого начинания почти все перед нами: это те диссертации, те слова и суждения, которые он сообщал публике, главным образом на торжественных заседаниях Академии [там же: 67].

На Меншуткине лежала обязанность не только попытаться передать множество ценных идей, которые можно было найти в десятках разрозненных диссертаций, многие из которых не были закончены, чему помогла бы классификация их всех в рамках риторического приема предполагаемой всеобъемлющей теории, но и объяснить, почему эти идеи не были должным образом признаны как в России, так и за рубежом. Действительно ли Ломоносов планировал написать работу, объединяющую все его идеи, учитывая расплывчатость ссылок на нее, например, в письме к Эйлеру [Ломоносов 1950–1983, 6: 381–403, 596–600], установить довольно трудно. Меншуткин вводит элементы, которые будут определять его попытки авторитетно описать жизнь Ломоносова: интеллектуальное единство, признанный авторитет Эйлера, способный подтвердить ценность идей Ломоносова, и повторное открытие его основного вклада в науку.

В дополнение к формулировке великой атомно-корпускулярной теории, объединяющей теоретические усилия Ломоносова, именно представление его как физико-химика, предтечи соответствующей профессии, и личности, олицетворяющей слияние физики, математики и химии в одно целое, теперь считалось наиболее ценным в развитии его научного наследия. Меншуткин не принимает научные выводы Ломоносова некритически, как нечто непререкаемое, но даже накладывая некоторые ограниче-

ния на их практическое значение, считает, что они обладают поразительным потенциалом.

Концентрируясь должным образом на безоговорочно механических или корпускулярных объяснениях природных явлений Ломоносовым как на теоретическом подходе, к которому можно, по крайней мере приблизительно, отнести почти все его химические и физические труды, Меншуткин описывает его фундаментальные положения следующим образом:

Ломоносовское начало есть химический элемент, как он охарактеризован Робертом Бойлем в 1661 г.: простое тело, не разлагаемое химическим анализом. Это представление в XVIII в. мало-помалу прокладывает себе дорогу у химиков, пока оно не было положено в основание учения о химических элементах А. Лавуазье, через несколько десятков лет. Весьма интересно, что Ломоносов дальше говорит об «элементах» и «корпускулах»: элементы — это, по существу, атомы химиков, корпускулы — молекулы. Мы имеем здесь первое сочетание, первое объединение двух представлений об элементах, ведущих свое начало с глубокой древности: одного — говорившего об элементах-качествах, и другого, согласно которому элементами являются атомы — мельчайшие, дальше не делимые первоначальные частички всех тел. Объединение этих двух точек зрения и проведено Ломоносовым, вводящим, как основное представление, понятие о корпускуле-молекуле, имеющей точно такой же количественный состав, какой имеет и все соответствующее тело [Меншуткин 1937: 142].

Так что предложенное Меншуткиным прочтение было не просто грубым предвосхищением более поздних идей — для этого он был слишком осторожным историком науки. Скорее, он поместил корпускулярные взгляды Ломоносова во впечатляющую генеалогию атомного мышления и, что более убедительно, на прямой линии, начерченной между концепциями Бойля и Лавуазье. Ассоциация с Бойлем важна не только тем, что позиционирует, по-видимому, эквивалентные гипотезы Ломоносова, но и тем, что подчеркивает собственное образование Ломоносо-

ва и вероятное влияние на него³⁵. Что касается Лавуазье, то это еще одно связующее звено между Ломоносовым и научными деятелями, пользующимися более традиционным признанием.

В основе изложения материала Меншуткиным лежит вопрос о том, почему Бойль, Лавуазье и множество других, чьи прозрения теоретически не были заметно более продвинутыми, чем у Ломоносова, получили всю известность. В аргументах Меншуткина

³⁵ Натурфилософия Бойля оказала наибольшее влияние на научные взгляды Ломоносова, особенно в области химии и физики. Ломоносов, по существу, ссылаясь на работы Бойля чаще, чем на любого другого натурфилософа того времени. Однако к началу XVIII века престиж Бойля был полностью заслонен авторитетом Ньютона. Эйлер и Вольф, очевидно, были более значимыми фигурами для Санкт-Петербургской академии. Глубокий интеллектуальный долг Ломоносова перед Бойлем лучше всего подтверждается чтением его корпускулярных работ (см., в частности, ломоносовские «Размышления о причине теплоты и холода» и «Физические размышления о причине теплоты и холода» в [Ломоносов 1950–1983, 2: 7–55, 63–103, 647–653]). На самом деле, механическая перспектива у Ломоносова была в значительной степени заимствована из идей Бойля, как бы сильно он ни расходился с Бойлем в своих выводах, таких как те, которые касались природы огня или, скорее, существования теплорода, в его теоретизировании. В работах Г. Лестера [Leicester 1967; Lomonosov 1970: 13–46, *passim*] исследуется зависимость Ломоносова от Бойля. Относительно знакомства Ломоносова с работами Бойля обратитесь, хотя и с некоторой долей скептицизма, к книге [Коровин 1961: 92–101]. Среди работ Бойля, на которые опирался Ломоносов, назовем следующие: «Certain physiological essays and other tracts, written at distant times and on several occasions... The second edition, wherein some of the tracts are enlarged by experiments, and the work is increased by the addition of a discourse about the absolute rest in bodies» (1669; он использовал латинское издание 1677 года); «Essays on the strange subtilty, great efficacy and determinate nature of effluviums...» (1673; он использовал латинское издание 1677 года); «Historia fluiditatis et firmitatis» (1667 и 1677); «New experiments physicomachanical touching the spring of the air and its effects (made for the most part in a new pneumatical engine)» (1660; он использовал латинское издание 1661 года); «A continuation of new experiments physico-mechanical touching the spring and weight of the air and their effects. The 1- [2] part...» (1669–1682; он использовал латинские издания 1682 и 1685 годов); «The origins of formes and qualities (according to the corpuscular philosophy) illustrated by considerations and experiments, plus The second edition, augmented by discourse of subordinate frames» (1666–1667; он использовал латинские издания 1671 и 1688 годов). Изложение Бойлем корпускулярной концепции природы, наряду с разъяснением его места в истории атомного философствования, подробно рассматривается в работах [Newman 2006] и [Boas 1952].

чувствуется потребность объяснить, почему идеи Ломоносова, предшествовавшие более поздним достижениям и теперь признанные, по крайней мере, не слишком критично настроенными поклонниками Ломоносова как основополагающие для объяснения подразделений материи, оставались непризнанными так долго. Один из ответов можно было бы найти в не слишком развитых методах времен Ломоносова, или, как характерно рассуждал Меншуткин:

Теория Ломоносова приближается к теории Дальтона, который назвал корпускулу или молекулу сложного тела сложным атомом. Но, как предшественник Дальтона, в своем распоряжении Ломоносов не имел тех точных количественных фактов, которыми уже располагал Дальтон и которые явились результатом развития химического количественного анализа в последней четверти XVIII в. А без этих количественных фактов была немыслима разработка химической атомной теории: только эти факты дали ей необходимую точку опоры [Меншуткин 1937: 142].

В этом и кроется суть анализа Меншуткина, поскольку несмотря на то, что он указывает на блеск идей Ломоносова, он также видит их ограниченность, учитывая эпоху, в которую тот жил. Хотя это может объяснить, почему Дальтон, например, получил свою долю почестей, Меншуткиным не приводится обоснование того, почему и Бойль, и Лавуазье получили их в немалом количестве. Таким образом, ответ, постоянно звучащий при изучении деятельности Ломоносова, заключается в том, что вина Ломоносова заключается не в каком-либо возможном отсутствии проницательности с его стороны, что помешало работе ученого быть воспринятой должным образом, а в менее развитом состоянии химии в XVIII веке. Это, конечно, все равно вызывает вопрос о том, почему гипотезы Ломоносова были отвергнуты, в то время как гипотезы, предложенные многими его менее достойными современниками, нашли поддержку.

Однако в других случаях, пытаясь объяснить кажущуюся безвестность Ломоносова, в частности отсутствие признания его

атомно-корпускулярной теории, Меншуткин утверждает, что «труды Ломоносова не играли никакой роли» в научных дебатах его времени, поскольку большинство его соответствующих трактатов «оставались при его жизни неопубликованными» [там же: 76]. В оговорке, которая в одной и той же форме разбросана по всей биографии, он замечает, что они «были изданы в моем переводе только в 1904 году». Хотя нет необходимости подробно останавливаться на вопросе, рассмотренном ранее, скажу, что самая важная корпускулярная работа Ломоносова, «Размышления о причине теплоты и холода», была опубликована в «*Novi Commentarii*» (1750) и пользовалась в то время довольно широкой известностью, хотя и сопряженной с немалой критикой [Павлова 1962: 151–158].

В рассуждениях Меншуткина, однако, легко заметны нестыковки. С одной стороны, он утверждает, что неспособность должным образом признать заслуги Ломоносова перед Россией была в первую очередь вызвана неразвитостью наук того времени, что просто не позволило принять прозорливого исследователя. Это, безусловно, означает, что значение работ или достижений Ломоносова не могло быть оценено по достоинству до той поры, пока химия и физика не созреют до уровня, на котором понимание ценности его работы станет возможным. С другой стороны, Меншуткин выдвигает идею о том, что единственным основанием почти полной анонимности Ломоносова было либо ненадлежащее освещение его трактатов в печати, либо то, что они остались неопубликованными и забытыми в архивах. Это, в свою очередь, должно было, по-видимому, вдохновить или стимулировать поиск более поздними учеными еще большего количества сохранившихся работ Ломоносова. Однако рассуждения Меншуткина подрывает один досадный факт: наиболее важные корпускулярные диссертации Ломоносова на самом деле были опубликованы в Европе. Не испугавшись несущественных препятствий на пути формирования образа Ломоносова, Меншуткин заявляет, что если бы корпускулярная точка зрения Ломоносова «была опубликована в связи со всеми дальнейшими ее развитиями, она, может быть, имела бы немалое значение для

разработки химии и физики» [Меншуткин 1937: 76]. Но она не была должным образом распространена, так что именно Меншуткину предстояло осветить наследие Ломоносова в то время, когда Дальтон и его преемники сделали его ценность чисто академической.

Решающее значение для подхода Меншуткина имеет также концепция количественных методов, к которой он неоднократно возвращается. Биографы Ломоносова с XVIII века осознали необходимость применения математического подхода к его биографии, поскольку, если бы его методы были рациональными или «правильными», его символическая ценность для последующих поколений была бы еще больше. Механистический взгляд Ломоносова на природу позволял очень либерально трактовать его вероятное влияние, а также легко отвергать его, но если бы он также обладал сопутствующими аналитическими способностями, то его корпускулярная теория была бы еще более уважаема позднейшими химиками и физиками.

По словам Меншуткина, Ломоносов осознал необходимость снабжать свою работу математическими доказательствами под влиянием Вольфа [там же: 75]. Хорошо зная о недостатках использования самим Вольфом математического анализа, Меншуткин всячески избегал любого строгого обсуждения самой математической темы. Вместо этого он приписывал методологии Вольфа, или, скорее, его «математической философии», глубокое влияние на форму аргументов Ломоносова, поскольку она позволила Ломоносову «в строгой логической последовательности развивать и излагать свои мысли, являющиеся оригинальными». Это не означало, что натурфилософия Ломоносова была близка к натурфилософии Вольфа, поскольку Меншуткин убедительно доказывал, что, несмотря на некоторое поверхностное сходство, это не так [там же: 42, 75, 77]. Однако неявное подчеркивание математических методов Вольфа, даже если те имели мало общего с применением анализа к природным явлениям, как раз и было тем, что он явно хотел донести до читателя.

Ломоносовское «Слово о пользе химии» (1751), одно из наиболее цитируемых произведений ученого, довольно подробно

изложено в работе Меншуткина. То, что Ломоносов говорит о математике, стало ценным источником для более поздних ученых, хотя его слова раскрывают эту тему немногим больше, чем ссылка на Вольфа. «Бесполезны тому очи, кто желает видеть внутренность вещи, лишаясь рук к отверстию оной», — пишет Ломоносов, в то время как «бесполезны тому руки, кто к рассмотрению открытых вещей очей не имеет. Химия руками, Математика очами Физическими по справедливости назваться может» [там же: 144–145]. Но химия и математика пока еще далеки друг от друга, поскольку химик «Математику как бы только в некоторых тщетных размышлениях о точках и линиях упражняющемуся смеется»; в то время как математик «Химику как бы одною только практикою отягощенного и между многими беспорядочными опытами заблуждающего презирует». Это отчуждение особенно вредит химии, поскольку в отличие от физики, которая неотделима от математики, «совершенное учение Химии с глубоким познанием Математики еще соединено не бывало», и до тех пор, пока это не будет сделано, она не сможет предоставить необходимые экспериментальные доказательства, столь жизненно важные для ее дальнейшего развития как науки.

Краткие комментарии Ломоносова представляют собой замечательное введение не только в его очевидное осознание долгосрочного значения математического анализа, но и в интеграцию им, или, скорее, Меншуткиным, химии, физики и математики в область физической химии. Много времени посвящено подробному описанию усилий Ломоносова по созданию химической лаборатории, включая обременительную подготовку, фактически изобретение, большого количества лабораторного оборудования (проекты которого разыскал Меншуткин), обучение студентов и создание общих курсов и лекций по физической химии [там же: 150–161]. Короче говоря, как пишет Меншуткин, Ломоносов заложил основы изучения химии в России. Учитывая, что на самом деле он читал лекции по химии меньше года и, за исключением безвременно скончавшегося Клементьева, не оставил после себя никакой «школы», очевидно, что Меншуткин в значительной степени полагается в этой дискуссии на весьма умо-

зрительное толкование того, каким мог быть потенциал химической лаборатории, а не о том, чего на самом деле достиг там Ломоносов³⁶.

Меншуткин использовал ломоносовское «Слово о пользе химии», чтобы обрисовать, как определяется физическая химия. То, что Меншуткин так часто обращался к этой работе, еще раз подчеркивает, что не найденные документы Ломоносова определяли представления Меншуткина о нем, а, скорее, мотив их давнего скрытого значения. Что же касается физической химии, то вот как ее описал Ломоносов:

Физическая химия — наука, объясняющая на основании положений и опытов физики причину того, что происходит через химические операции в сложных телах. Она может быть названа химической философией, но в совершенно ином смысле, чем та мистическая философия, где не только не дают объяснений, но даже и самые операции производят тайным образом [Меншуткин 1937: 155]³⁷.

Этот удивительно туманный отрывок дает еще одно подтверждение концепции превосходства метода над содержанием. В нем подчеркивается необходимость тщательного изучения тех частиц, которые занимают центральное место в корпускулярных представлениях Ломоносова, и делать это нужно на имплицитно математической основе, что повысит уровень химии, хотя, как правило, и в неточном направлении. Как пред-

³⁶ Еще более подробное описание того, как химическая лаборатория и Ломоносов сформировали как современную, так и более позднюю российскую химию, см. в [Раскин 1962].

³⁷ Как отметил Г. Лестер, важно иметь в виду, что «физическая химия», термин, который Ломоносов часто использовал для описания своей лабораторной работы, был применен им, потому что «он чувствовал, что теоретическая или философская сторона химии требует строгого подхода, если химия должна стать истинной наукой. ...Однако было бы неплохо признать, что, как сказал сам Ломоносов, этот термин для него означал то же самое, что и “химическая философия”, то есть теоретическая химия в противоположность практической, а не то, что современный химик подразумевает под этим выражением» [Lomonosov 1970: 18–19].

положил Меншуткин, какова бы ни была суть химических диссертаций Ломоносова, он предлагал рационализированный подход к химии с помощью физики. Это прекрасно согласуется с образовательным аспектом Ломоносова как химика. Стоит отметить, что устранение так называемых оккультных сил было доктринальным для «механически мыслящих» натурфилософов XVII и XVIII веков.

Физическая химия — это дисциплина, с которой Меншуткин больше всего ассоциировал Ломоносова, причем до такой степени, что ее происхождение стало в его повествовании неотличимым от образа Ломоносова. Но даже при этом химия еще не достигла необходимой стадии (и этот элемент, опять же, подчеркивается во всем анализе Меншуткина), чтобы позволить физико-химическим экспериментам Ломоносова предложить удовлетворительную серию доказательств. Ломоносову пришлось изобрести не только само химическое оборудование, но и методы анализа. Учитывая эти серьезные ограничения, по части его наследия как физико-химика Меншуткину пришлось с грустью признать, что

здесь, как и в других областях научной работы Ломоносова, мы имеем очень ценные мысли, гениальные предвидения тех путей, по которым должно идти развитие науки; но практические осуществления этих мыслей и намерений не дают результатов за полным отсутствием необходимых для этого приборов, приспособлений и методов исследования. Мысли опережают практические возможности на полтора века [Меншуткин 1937: 158]³⁸.

Таким образом, несмотря на все новаторство усилий Ломоносова как физико-химика, никаких существенных или даже измеримых последствий не произошло. Однако по прошествии более

³⁸ Именно в издаваемой Оствальдом книжной серии «Ostwalds Klassiker der exakten Wissenschaften» (1910, № 178) несколько работ Ломоносова по химии и физике, частично переведенных на немецкий Меншуткиным, впервые были представлены нерусской аудитории (за исключением, конечно, некоторых оригинальных публикаций на латыни в «Novi Commentarii»).

века, точнее, в 1880-х годах, зачатки физической химии, столь многообещающе обрисованные Ломоносовым, вновь появились на свет, когда В. Оствальд («тоже русский по происхождению», как сообщает нам Меншуткин) стал «одним из первых и главных деятелей в этом направлении» [Меншуткин 1937: 160]. Затем он продолжает и рассказывает читателю, что сам сообщил Оствальду о ранней работе Ломоносова в 1905 году.

Несмотря на отсутствие какого-либо немедленного интеллектуального отклика на «химическую философию» Ломоносова, в последующие десятилетия, когда химия стала более обоснованной количественно (или математически):

тот тройственный союз, который когда-то провозглашал Ломоносов: химия — физика — математика, стал совершившимся фактом. Как при помощи физики в химию были введены вес, мера, число и последняя превратилась в точную науку, так теперь химия начала проникать все больше в физику, образуя химическую физику. Обе науки немислимы одна без другой и без математики, как это ясно видел Ломоносов, обе дополняют друг друга и ведут к совместным завоеваниям в области неизвестного. Он был первый физико-химик, отец физической химии [там же].

Физическая химия наиболее убедительно подтверждает мнение Меншуткина о том, что работа Ломоносова велась унифицированным и рационализированным способом, который можно повторить, когда эта наука будет возрождена. Поэтому, хотя отсутствие признания Ломоносова современниками было неизбежно, учитывая, что как физико-химик он был уникален для своего времени, в долгосрочной перспективе (что для науки является более важным показателем) его достижения не смогут быть оспорены. В изложении Меншуткина также проявляется его стремление установить логически вытекающую связь между Ломоносовым и более поздними физико-химиками, связь, которую, возможно, иногда трудно обнаружить, но которая тем не менее в конечном итоге побудила поколения (неназванных) российских ученых пойти по стопам Ломоносова.

Один из аспектов работы Ломоносова как физико-химика, имевший широкий резонанс в литературе, касается его вероятного предвосхищения закона сохранения материи. Меншуткин также не отрицает фундаментальной роли Лавуазье в выдвижении гипотез, которые десятилетия спустя сольются в очевидный «закон». Однако он был полон решимости продемонстрировать, что Ломоносов работал в аналогичных областях и выдвинул идеи, которые, как бы условно они ни были сформулированы, указывают на то, что он разделяет заслуги Лавуазье в создании условий для «революции» (мой термин) в химическом мышлении [там же: 145–150]. Чтобы подтвердить свои рассуждения, Меншуткин в основном использовал стройную серию замечаний, которые Ломоносов впервые изложил в письме Эйлеру в 1748 году и которые были повторены им почти дословно в диссертации, прочитанной в Академии наук в 1760 году³⁹. Меншуткин также ссылаясь на ряд экспериментов, проведенных Ломоносовым, несмотря на недостаточное количество свидетельств, чтобы утверждать, что какие-либо существенные эксперименты действительно имели место, или связать их незначительный, возможно, выполненный объем с более поздними исследованиями, предпринятыми Лавуазье.

Что действительно существует, так это часто повторяемая фраза Ломоносова, в которой он формулирует даже в его пору совершенно очевидное высказывание:

Все перемены в Натуре случившиеся такого суть состояния, что сколько чего у одного тела отнимется, столько присо-
вокупится к другому. Так, ежели где убудет несколько ма-
терии, то умножится в другом месте; [дополнительно]
сколько часов положит кто на бдение, столько же сну от-
нимет. Сей всеобщий естественный закон простирается
и в самые правила движения: ибо тело, движущее своею

³⁹ Полный текст письма Эйлеру см. в [Ломоносов 1891–1948, 8: 72–91, 18–22; Ломоносов 1950–1983, 10: 439–458, 801]. Речь, озаглавленную «Рассуждение о твердости и жидкости тел», можно найти в [Ломоносов 1950–1983, 3: 377–409, 559–565].

силою другое, столько же оные у себя теряет, сколько сообщает другому, которое от него движение получает [Меншуткин 1937: 146]⁴⁰.

Ф. Помпер подверг это утверждение Ломоносова и, в более общем плане, предположение о том, что Ломоносов в некотором смысле предвосхитил Лавуазье, тщательному анализу, и учитывая, что связанные с ним аргументы в значительной степени основаны на приведенном выше отрывке, нашел их необоснованными, что совершенно неудивительно [Pomper 1962]. Меншуткин, в отличие от многих более поздних историков науки⁴¹,

⁴⁰ Меншуткин цитирует вышеупомянутое обращение Ломоносова к Академии в 1760 году, о котором см. [Ломоносов 1950–1983, 3: 383].

⁴¹ Было бы чрезвычайно трудно найти работу, посвященную Ломоносову или истории российской науки, опубликованную в Советском Союзе, в которой каким-либо образом не приводился бы аргумент в поддержку приоритета Ломоносова в открытии «закона сохранения материи». Хотя и вдохновленная спекуляциями Меншуткина, статья Вавилова «Закон Ломоносова» («Правда», 5 января 1949 года), возможно, является образцом наиболее экстремального заявления на тот счет. Учитывая культурную ксенофобию, которой были отмечены послевоенные годы в Советском Союзе, в течение которых возвеличивание (и выдумывание) российских и советских достижений было обычным делом, сопровождавшимся также очернением Запада (о культуре позднего сталинизма см. [Brooks 2000: 195–232]), утверждение Вавилова о том, что установленный «факт сохранения массы [или материи] при химических превращениях, ставший в XIX веке основным законом химии», ошибочно был приписан «французскому химику А. Лавуазье», хотя на самом деле, как указывает Вавилов, «Сам Лавуазье никогда не претендовал на открытие этого закона. Честь его открытия принадлежит М. В. Ломоносову», может не показаться заявлением чересчур необычным. Однако положение Вавилова как президента Академии наук, а также то, что он был уважаемым историком науки, придавало его словам дополнительный вес (или, возможно, лучше сказать, придавало им авторитетность). Отсылая читателя к тому же фрагменту из письма Ломоносова к Эйлеру, который выделил Меншуткин, а также к его речи 1760 года, Вавилов также приписывает Ломоносову, среди прочего, изложение принципа «сохранения энергии». Кожевников считает, что в своей статье в «Правде» Вавилов «замаскировал за барочной фразеологией отсутствие основания для претензий на приоритет Ломоносова в открытии законов сохранения материи и энергии» [Kojevnikov 2004: 181]. Короче говоря, Вавилов, захваченный «подъемом националистической волны» в послевоенном советском обществе, выполнил свой долг, сделав

никогда не утверждал, что Ломоносов был прямым предшественником Лавуазье; вместо этого он предположил, что они работали в схожих областях и пришли к в целом сопоставимым выводам.

Даже такое расплывчатое утверждение может быть оспорено, однако рассматривать его далее кажется бессмысленным.

Какое же место Меншуткин, делая, наконец, паузу, чтобы оглянуться не только на предмет своих исследований, но и на собственные 40 лет кропотливого труда, отводит Ломоносову — как в истории науки, так и в истории России?

Мы сейчас ценим в Ломоносове прежде всего выдающегося философа-мыслителя. Еще на студенческой скамье отгадал он ту основную тему исследования, которая должна больше всего содействовать развитию физики и химии: изучение мельчайших частичек, из которых сложены все тела, их свойств. Сводя все явления [в природе] к свойствам частичек, образующих тела, он сам пришел к некоторым весьма замечательным выводам и предугадал общие условия и пути развития и химии, и физики вплоть до наших дней. Во многих других науках он высказал также весьма интересные мысли, оправдавшиеся лишь много лет спустя. Его многосторонний гений проявляется всюду, и везде он был впереди своего времени на годы, на десятилетия, на столетие... [Меншуткин 1937: 230–231].

подобное далекоидущее заявление от имени Ломоносова. Отзвук этого мнения присутствует в [Тропп 2011: 34]. В более поздние, политически более безопасные времена к теме Ломоносова и Лавуазье можно было отнестись с большим здравомыслием. См., например, [Капица 1977]. Капица предполагает, что «открытие Ломоносовым закона сохранения материи теперь хорошо изучено, и несомненность того, что Ломоносов первым его открыл, полностью установлена. ...Опыт Ломоносова аналогичен знаменитому опыту Лавуазье, но опыт Лавуазье был сделан на 17 лет позже. Я не буду подробно повторять всю эту историю, большинство знают ее» [там же: 177]. Таким образом, признавая очевидное открытие Ломоносова, хотя и избегая какой-либо его интерпретации, Капица мог в какой-то степени перейти к другим темам. Можно добавить, что эссе Капицы — это честное прочтение наследия Ломоносова; комплиментарное, но не лишенное критики, особенно в том, что касается отсутствия у Ломоносова строгой математической подготовки [там же: 180].

Таково подведение Меншуткиным итогов сказанного им о Ломоносове, и его слова несколько не отличаются от тех выводов, которые он предложил в своей речи 1911 года. В его описаниях нет резкого расхождения с тем, как Ломоносов был представлен в более ранних исследованиях, что не мешало Меншуткину довольно безапелляционно отвергнуть их.

Долгоживущее дополнение Меншуткина к легенде о Ломоносове связано, по иронии судьбы, с его вниманием к наиболее пагубным последствиям того, что труды Ломоносова не встретили понимания в XVIII веке. В то время, когда состояние химии и физики, по мнению Меншуткина, было настолько мрачным (особенно в России), и когда уровень работ, выполненных в Академии, понизился со времен Эйлера и Бернулли, имя Ломоносова неизбежно отделилось от его достижений. Как современные ему, так и последующие поколения ученых, «не постигая значения его работ по химии и физике... считали их не стоящими особого внимания» и игнорировали их, к большому несчастью для России. Но как они могли осознать важность деяний Ломоносова, если даже «сегодня» мы только начинаем осознавать, главным образом благодаря собственным усилиям автора, чего достиг Ломоносов как химик и физик? Здесь мы имеем замечательное сочетание повышения статуса Ломоносова с продвижением статуса самого Меншуткина, а также статуса химии и физики.

Однако был один человек, который мог понять истинную научную ценность работ Ломоносова, «который вполне оценил его, который понимал все значение сделанного им и который был посвящен во все подробности научной мысли его», и это был Эйлер [там же]. Будучи общепризнанным математиком и натурфилософом, а также человеком, который был так тесно связан с российской наукой, Эйлер оставался ученым, которого чаще всего привлекали для формирования образа Ломоносова⁴². В то

⁴² Репутация Эйлера никогда заметно не тускнела в советскую эпоху; напротив, даже во времена часто агрессивных попыток очистить историю российской науки от внешних влияний он оставался «отцом-основателем» математики

время как Меншуткин довольно подробно цитировал мемуары Штелина о волевом характере Ломоносова, а Пушкин оставался мощным культурным ресурсом, из сочинений которого Меншуткин черпал положительные характеристики⁴³, Эйлер, по-видимому, был исключительно проницательным судьей талантов Ломоносова, как и оказал на него самого несомненное влияние. Однако, за исключением упоминания нескольких кратких замечаний Эйлера о научных способностях Ломоносова, точная природа этого влияния не объясняется.

Даже при выражении самого горячего одобрения роли Ломоносова в русской истории повествование Меншуткина окружено атмосферой меланхолии, поскольку, несмотря на усилия Ломоносова, на его пути существовали непреодолимые трудности. То, что он, казалось бы, так далеко опередил свое время, было препятствием, которое он вряд ли мог преодолеть. Независимо от временного потускнения его образа в анналах мировой науки, факт остается фактом: если бы «Ломоносов мог очутиться среди нас, то нашел бы тысячи исследователей, разрабатывающих тему, которую он всегда выставлял как основную в познании вещества: изучение “нечувствительных частичек, образующих тела”, при помощи методов физики, математики и химии» [там же: 235–236].

Более прозаические трудности, такие как отвергнутые предложения Ломоносова о реорганизации Академии наук, также оказались для него неразрешимыми вызовами. То, что они, вероятно, были мотивированы как беспокойством по поводу его

в России. Подчеркивая его посмертный авторитет, в 1957 году 250-летие со дня его рождения было отмечено в Ленинграде пышными торжествами. В том же году тело Эйлера было перенесено из лютеранской части Смоленского кладбища на кладбище, примыкающее к Александро-Невскому монастырю, и повторно захоронено на почетном месте «близ надгробия Ломоносова» [Петров 1958: 603].

⁴³ О характеристиках Ломоносова, данных Штелином и Пушкиным, см. [Меншуткин 1937: 226–235, *passim*]. 1937 год был годом широко отмечавшегося Пушкинского юбилея, поэтому ассоциации между ним и Ломоносовым встречались в литературе повсеместно.

собственного подорванного статуса в руководстве Академии в последние годы его жизни, так и заботой о его поддержании, не имеет большого значения, поскольку его рвение имело целью развитие просвещения в России. Вторя сетованию Ломоносова, обращенному к Штелину, которое Меншуткин перепечатывает [там же: 235], появляется еще одна предсмертная жалоба Ломоносова: «За то терплю, что стараюсь защитить труд Петра Великого, чтобы научились Россияне, чтобы показали свое достоинство... Я не тужу о смерти: пожил, потерпел и знаю, что обо мне дети отечества пожалеют» [там же: 223]⁴⁴.

Наш автор уважает гордость Ломоносова за свои достижения. Почет, признание авторитетными фигурами и поиск статуса были важными мотивами во всех биографических воспроизведениях жизни Ломоносова, во многом, по-видимому, потому, что они так глубоко отражали собственные проблемы биографа⁴⁵. Во введении к этой работе отмечается, что Меншуткин закончил свою биографию, включив отрывок из перевода Ломоносова «Eхegi monumentum» Горация. Включение его Меншуткиным в текст своей книги является подходящей метафорой не только для собственного наследия Ломоносова, но и для роли ее автора в увековечении памяти первого российского ученого.

Следует отметить, что 1937 год был весьма продуктивным для Меншуткина, поскольку в дополнение к биографии и своей по-

⁴⁴ Приведен отрывок из незаконченного доклада (по-видимому, составленного Ломоносовым между 26 февраля и 4 марта 1765 года), который должен был быть отправлен Екатерине II и в котором описываются обстоятельства, препятствующие работе Ломоносова в Академии наук [Ломоносов 1950–1983, 10: 357, 764–766]. Это один из многих документов (писем), составленных в том же довольно холерическом и жалостливом духе, которые он написал за время своего пребывания в Академии.

⁴⁵ Для интересного сравнения следует обратить внимание на возрождение интереса к жизни В. И. Вернадского в 1960-х и 1970-х годах в Советском Союзе, которое К. Бейлс язвительно описывает как попытку советских интеллектуалов «укрепить в русской культуре идеологию профессионализма с сильными исконно русскими корнями, которая поможет защитить их свободу исследования, то есть свободу обсуждать и распространять идеи без произвольного вмешательства со стороны политических властей» [Bailes 1990: IX].

стоянной и обильной переводческой и редакторской работе он помогал Л. Б. Модзалевскому в составлении подробного справочника по рукописным фондам Ломоносова в Архиве Академии наук в Ленинграде [Модзалевский 1937]. Он оказался жизненно важным при составлении того, что, вероятно, останется окончательной версией собрания сочинений Ломоносова (выпущено Академией наук в 11 томах в период с 1950 по 1983 год)⁴⁶. Несмотря на большое количество трудов о Ломоносове, опубликованных после смерти Меншуткина⁴⁷, его работа в качестве интерпретатора непреходящих достижений Ломоносова в области естественных наук по-прежнему явно пользуется доверием. Такие последующие исследователи Ломоносова, как Вавилов, Морозов, Павлова, Раскин, Соловьев и Карпеев, в значительной степени опирались на видение Меншуткиным научных достижений Ломоносова.

Прошло уже столетие с тех пор, как Меншуткин начал работать над образом Ломоносова как отца русских науки и образования, и он оставил после себя этот образ значительно дополненным. Его существенный вклад заключался в предоставлении более точно разработанного научного аппарата, разъясняющего (и творчески обновляющего) корпускулярную философию Ломоносова. Изначально его труды были направлены на то, чтобы предложить химикам и физикам (или физико-химикам, если хотите) устоявшийся символ, который может оказаться полезным в их собственных усилиях по закреплению своего статуса в российском обществе. Это была лишь часть процесса взросле-

⁴⁶ Изучение томов, посвященных физике и химии (т. 1–4), демонстрирует зависимость редакторов от Меншуткина как в комментариях, так и в переводах.

⁴⁷ Среди них слегка расширенная версия его биографии 1937 года (см. [Меншуткин 1947]). Дополнения в этой работе были в основном сделаны Берковым и отражают его интерес к русской литературной жизни XVIII века. Что касается более широкой библиографии работ о Ломоносове, то их количество исчисляется несколькими тысячами, причем значительно больше половины издано после конца 1930-х годов (подробнее об этом см. выше сноску во введении). Юбилей Ломоносова 1961 года, в частности, ознаменовался впечатляющим всплеском новых посвященных ему работ.

ния профессиональной интеллигенции, но его жизненно важная часть.

Огромное уважение, с которым относились к «идее» науки в Советском Союзе, позволяло продолжать использовать представление о Ломоносове как о ее «отце-основателе». Более того, Ломоносов был «крестьянин» и «русский патриот», а эти черты его биографии легко сочетались как с квазимарксистскими критериями, которым должна была соответствовать жизнь знаковых фигур, так и с все более напористым русским национализмом, который стал особенно выраженным в конце 1940-х годов, чтобы сделать из него один из культурных авторитетов, непревзойденный символ российского (и советского) прогресса перед лицом, по-видимому, постоянных внешних угроз и пренебрежения⁴⁸. Попытки перекроить образ Ломоносова по доволь-

⁴⁸ Были проведены интенсивные кампании, особенно в первые годы холодной войны, по восхвалению российского научного прошлого. Одним из наиболее заметных побочных продуктов этого процесса стала попытка создания советского пантеона героев науки, убедительно описанная Кременцовым: «Бесчисленные биографии отцов-основателей, опубликованные в конце 1940-х и начале 1950-х годов, напоминали жития святых. Все они были выстроены по одному и тому же плану: отец-основатель каждой области, как оказалось, был (за очень немногими исключениями) русским, являлся материалистом, симпатизировал социализму, плодотворно работал на общее благо и критиковал зарубежную науку (а также часто подвергался со стороны ее представителей поношению, оскорблениям, дурному обращению или недостаточному признанию). Если его отец умер до революции, значит, он боролся против царского правительства (или, по крайней мере, не симпатизировал ему)» [Krementsov 1997: 223]. Очевидно, легко увидеть, что биография Ломоносова идеально соответствовала таким предписаниям, даже требованию относительно «социализма», которое можно было подкорректировать. Помимо работы Кременцова весьма информативными являются следующие исследования по советской науке и идеологии непосредственно в послевоенный период: [Pollock 2006; Josephson 2000; Горелик 2008; Holloway 1994; Кожевников 2004; Сонин 1994: 87–204]. Наконец, В. Д. Есаков получил доступ ко все еще частично закрытым архивам и составил сборник «Академия наук в решениях Политбюро ЦК РКП(б)-ВКП(б): 1922–1952» [Есаков 2000]. Книга Есакова иллюстрирует то значение, которое советские власти на самом высоком уровне придавали как управлению наукой, так и истории науки, начиная с первых лет строительства социализма и заканчивая сталинизмом в его наивысшей точке.

Советская марка 1956 года



но туманной советской модели, чего требовал новый идеологический диктат, глубоко подорвали устойчивость его исторической репутации. Миф о Ломоносове в конечном итоге был настолько искажен экстравагантным выставлением напоказ, централизованными манипуляциями и, вероятно, самое главное, его тесной ассоциацией с самим неудавшимся советским «экспериментом», что он, возможно, безвозвратно утратил ту неоспоримую ценность, которую ему придавали поколения россиян.

Эпилог

Дальнейшая судьба мифа

Обеспокоенный живучестью «предвосхищающих мифов и других форм мифической истории», которые часто определяют жанр научной биографии, и считая, что они «обычно представляют героя как гения, борющегося с современным ему невежественным миром, который поставил всевозможные препятствия на пути его блестящих идей, которые являются именно блестящими, потому что предвосхитили современные знания или могут быть истолкованы подобным образом», Х. Краг утверждает: «очевидно, что долг историка — развенчивать мифы там, где они могут быть обнаружены» [Kragh 1987: 168–169]¹. Исключая довольно анахроничный позитивизм такого подхода к мифу², можно также утверждать, что ликвидация таких символов³, как

¹ Как дополнительно отметил Краг, описывая большую часть литературы о Ломоносове, «такие препятствия на самом деле часто не будут иметь никакой достоверной основы, а будут просто средством, усиливающим наше восхищение героем (если он их преодолевает) или оправдывающим его неспособность достигнуть успеха (если, несмотря на все, он их не преодолевает)». См. также [Kragh 2007].

² Менее архаичные аргументы приводятся в [Rupke 2008].

³ Такие усилия, по-видимому, не поколебали энтузиазма в отношении множества достойных людей, обладающих, казалось бы, прочным статусом. Лучшим примером может служить Ньютон, поскольку было бы трудно назвать другого ученого, который был бы объектом, по крайней мере, в течение последних нескольких десятилетий, более согласованного научного внимания, и часто очень критического. Но в противоречии с утверждением Р. Холла о том, что в результате более изощренного подхода к написанию биографий (здесь он, в частности, имеет в виду [Manuel 1968]), которые

бы искусно она ни была произведена, еще больше подорвет тот интерес к истории науки, который всегда пытались поддерживать приверженцы этой области исследований. Представляется более уместным попытаться, как это было предпринято в данном исследовании, в первую очередь понять, почему тот или иной миф возник.

Лишенная более поздних советских идеологических прикрас, мифология, связанная с именем Ломоносова, по сути, осталась такой же, какой она была при кончине Меншуткина, и воспроизводила тщательно продуманный образ, прославляющий отца российской науки. Представления Штелина, Веревкина и Новикова о Ломоносове, построенные вокруг легендарных достижений и неустанной борьбы, продолжали оставаться основополагающими для построения его идеализированной биографии. Более поздние оценки Муравьева и Радищева (оценка последнего использовалась довольно выборочно) наряду с громкими похвалами Севергина, Пушкина и Погодина еще больше закрепили статус Ломоносова как бесстрашного борца за распространение просвещения в России. Его роль в деятельности Академии наук и в создании Московского университета была центральной. Наконец, Меншуткин предложил, каким бы тенденциозным оно ни было, научное исследование самой научной деятельности

пытались раскрыть характер Ньютона, а также открытия соответствующих архивов, «мифы и предубеждения были развеяны... и старое представление о нем как о супермене и национальном герое исчезло» [Hall 1999: 192], для этого наблюдателя мифология, сложившаяся вокруг Ньютона, кажется такой же живой, как и прежде. Заявление Холла также поднимает более важный вопрос о том, почему усилия, направленные на то, чтобы сделать Ньютона более человечным, должны являться целью исследований. Сам Холл опровергает свои собственные выводы о том, что агиография Ньютона ушла в прошлое, отмечая, что «в награду за труд исследователя неприкрашенный Ньютон, помимо того, что удовлетворяет желание отстаивать истину, позволяет понять свой великолепный, выдающийся интеллект лучше, чем когда-либо прежде». П. Фара в [Fara 20026], исследуя печатные работы и визуальные изображения, прослеживает необычайный взлет репутации Ньютона за последние три столетия. Прекрасно иллюстрированный рассказ о становлении Ньютона как олицетворения современности представляет собой [Feingold 2004].

Ломоносова, никогда не упуская при этом из виду необходимость включения деталей его химических и физических трактатов в устоявшееся повествование о жизни ученого. Во многом благодаря трудам Меншуткина имя Ломоносова стало принадлежностью целого ряда научных дисциплин, в особенности химии и физики, но также и геологии, минералогии, географии и так далее, которые начали активно развиваться в России в конце XIX века⁴.

Состояла ли цель каждого отдельного мифотворца в том, чтобы повысить статус натурфилософа в XVIII и XIX веках, или внушить режиму (или обществу, как бы оно ни определялось) сохраняющуюся актуальность Академии наук и Московского университета, или, в конце концов, укрепить социально-профессиональное положение химика и физика в позднеимперской России и в первые годы существования Советского Союза, короче говоря, каковы бы ни были его мотивы, общий эффект состоял в том, чтобы настаивать на важности науки и на практической необходимости поддерживать ее в модернизирующейся стране. Несмотря на проблематичность определения нации или национализма, или, если на то пошло, модернизации, уже в самых ранних биографиях Ломоносова его русский характер всегда

⁴ П. Абир-Ам описывает определенный процесс, структурирующий развитие научных празднований, начиная с тех, которые были посвящены «великим умам и институтам», и которые стали обычными в начале прошлого века, переходя к празднованиям научных открытий, ставшим обычным явлением в научной жизни за последние полвека, и заканчивая современной «манией памятных дат», которая часто является публичным лицом науки. Однако этот путь может легко привести к сужению сферы символического охвата образа «ученого-героя», поскольку, как убедительно указывает автор, «по иронии судьбы, в то время как персонифицированное величие, каким бы субъективным оно ни было, обеспечивает более широкую идентификацию с большим количеством социальных групп, более предметные памятные объекты (такие как дисциплины и институты), по всей видимости, апеллируют в первую очередь к научным элитам, заинтересованным в контроле за общественным имиджем этих объектов как вкладчиков в научный прогресс и социальное благосостояние» [Abir-Am, Elliot 1999: 29]. Концептуально, если не строго хронологически, схематизация Абир-Ам параллельна оформлению в прошлом организованных торжеств в культе Ломоносова.

противопоставлялся разного рода врагам (изначально не обязательно иностранным), которые пытались каким-то образом подорвать его усилия, предпринимаемые во имя своего народа. Замените слово «русский» на слово «советский», сделайте гораздо более резкий акцент на предполагаемых антагонистах, почти все из которых были нерусскими, наряду с соответствующим акцентом на особенностях российской научной традиции, предположительно уникальной, и мы получим множество дополнений к мифу о Ломоносове, возникших за последние полвека.

Это не значит, что образ Ломоносова не был обильно окутан советской риторикой: его биография действительно стала отправной точкой для обширных усилий по первоначальному выявлению в русской культуре материалистически ориентированных, глубоко антиклерикальных, просвещенных мыслителей, чьи отношения с государством были чреваты политическим конфликтом. Таким образом, Ломоносов как распространитель просвещения в России (неотъемлемый компонент мифа на протяжении последних двух столетий) был переосмыслен как символ просвещения советской эпохи, человек, чьим качествам можно было подражать и которые надлежало усвоить. Нет необходимости подчеркивать сомнительность подобной исторической терминологии, ее фарсовый характер стал еще более очевидным в постсоветской России.

Предыдущие главы продемонстрировали ценную работу, проведенную советскими учеными в области исследований, связанных с биографией Ломоносова. Лучшие из них, однако, отмечены тем специфичным монографическим стилем, который в политически более чувствительные времена обеспечивал относительно безопасный научный маршрут для историков российской науки и культуры. Эти исследования предоставляют бесценные детали, особенно библиографические, для заинтересованного исследователя, хотя их влияние на восприятие образа Ломоносова, по-видимому, было сильно приглушено, поскольку именно безупречные биографии (нечто в духе обожествления), а не детали их трактатов, продолжали привлекать внимание и питать воображение более поздних поколений.

Агиографы советской эпохи пытались сделать представления о Ломоносове частью всеобъемлющей культурной миссии, направленной на создание «нового советского человека», проникнутого революционным коммунистическим сознанием и сопутствующей ему страстью преодолевать все вызовы или, скорее, «срывать маску» со всех врагов. Под влиянием требований «партийности» («партийного мышления»)⁵, которые влекли за собой предполагаемое подчинение научной и культурной жизни партийному диктату, какими бы неувольными они порой ни были, развивалось все более однозначное изображение жизни Ломоносова.

Хотя биография Ломоносова была написана задолго до начала советских культурных экспериментов, контуры его жизни рассматривались партийными идеологами как убедительная модель, в соответствии с которой должны были формироваться неутомимые, практично мыслящие, патриотичные (понятие патриотизма также определялось неоднозначно) и образованные новые поколения советских людей⁶. Конечно, это конкретное видение, наряду с более широкой общественной эсхатологией, никогда не выходило за рамки намерения. Когда советский проект потерпел неудачу с точки зрения внутренней поддержки, которую идеология могла обеспечивать до начала 1970-х годов, то, что осталось в дополнение к действительно неудобоваримому количеству произведений, посвященных Ломоносову, оказалось остатком более публичного стиля почитания, того, что отличало советское отношение к официально одобренным культовым фигурам. Это почитание, принявшее ошеломляющий размах, было организовано исключительно одним государством.

Согласованные попытки прославить Ломоносова в многочисленных общественных местах были предприняты начиная примерно с 1940 года, когда Московский университет был назван

⁵ О философских основах партийности и ее связи с наукой см. [Joravsky 1961; Joravsky 1955].

⁶ В качестве примера можно привести [Кузнецов 1961]. Широко цитируемая работа Кузнецова была опубликована к 250-летию со дня рождения Ломоносова.

в его честь. Они включали в себя не только повсеместную установку памятников ему по всему Советскому Союзу, но и обязательное присвоение его имени городам и деревням (наиболее известен из них Ораниенбаум, расположенный к западу от Ленинграда, ставший городом Ломоносов в 1948 году), а также станциям метро, школам и улицам. Имели также место не слишком тонкие попытки связать имя Ломоносова с советскими научными достижениями и претензиями на них. Имя ученого получил также кратер на Луне. Подобных примеров бесчисленное множество⁷.

Следует выделить две несопоставимые попытки отдать дань уважения Ломоносову. Первая из них, Музей Ломоносова, созданный по инициативе Вавилова в Санкт-Петербурге, размещенный в 1949 году в башне Кунсткамеры (старейший музей России, основан в 1714 году Петром Великим как библиотека и собрание редкостей), должен был служить храмом для изучения жизни и творчества Ломоносова и, возможно, какое-то время действительно выполнял эту функцию⁸. Примечательным апогеем попыток популяризировать и канонизировать образ Ломоносова как предшественника нового советского человека стал фильм 1955 года «Михайло Ломоносов» (режиссер Михаил Шапиро)⁹. Фильм является великолепной иллюстрацией того, как партийность действовала на практике.

На протяжении всего фильма преобладает безжалостно шовинистический образ крестового похода Ломоносова по продвижению российской науки, несмотря на барьеры, воздвигнутые вероломными иностранцами, корыстолюбивыми дворянами и невежественными священнослужителями. Отношение к Эйлеру и Рихману, несмотря на то что они не русские, уважительное,

⁷ Введением в данную тему может служить [Ченакал 1965: 229–294].

⁸ Музей Ломоносова, организационно существующий под эгидой Российской академии наук, возглавляет Т. М. Моисеева. Он остается центром публикации материалов, связанных с Ломоносовым, пусть и удаленным. Об истории музея, а также описание его фондов см. в [Ченакал 1967; Бренева, Моисеева 1995; Хартанович, Копанева 2011].

⁹ «Михайло Ломоносов», реж. М. Шапиро (Ленинград, 1955), видеокассета.

хотя они показаны как персонажи, действующие исключительно в тени достижений Ломоносова. Миллер, Шумахер и почти все другие «иностранцы» академики изображены как совершенные злодеи. С конца 1940-х до середины 1950-х годов было выпущено несколько подобных фильмов о различных ученых, и эти ленты все без исключения предлагают шаблонные описания победоносной борьбы российских ученых против былого невежества, алчности и низкопоклонства перед «иностранной» наукой (классика жанра — «Мичурин», 1948, и «Академик Иван Павлов», 1949). Хотя сегодня к этим фильмам можно отнестись с иронией из-за грубых идеологических пристрастий их авторов, их сюжеты остаются захватывающими¹⁰.

И Музей Ломоносова, и фильм «Михайло Ломоносов» решительно, без намека на нюансы, соединяют образ Ломоносова с «модернизационными» усилиями Петра Великого. Хотя, учитывая прошлые соответствующие дискурсы, подобная ассоциация возникла уже давно. Подобные неуклюжие попытки «обожествления» были в советские времена наиболее заметной чертой проявления почтения к Ломоносову, и они были наполнены

¹⁰ Гораздо менее любопытен девятисерийный фильм-байопик «Михайло Ломоносов» (реж. А. А. Прошкин; Москва, 1984–1986), который был показан по советскому телевидению в середине 1980-х годов. С его многочисленным актерским составом, известными ведущими актерами и большим бюджетом фильм Прошкина внешне кажется более сложным, чем постановка Шапиро. Тем не менее в нем воспроизводятся те же клише, только более статично и в несколько раз длиннее, чем в предыдущем фильме. Обе версии, 1955 и 1984–1986 годов, были показаны в ноябре 2011 года (к 300-летию со дня рождения Ломоносова) на Первом канале ОРТ. Фильмы также были представлены на празднике «День Ломоносова», организованном Русским центром при Ереванском государственном университете. Около десятка студентов факультета русской филологии обсуждали фильмы. Для всех, кроме энтузиастов — никто из которых, кроме меня, не присутствовал на вышеупомянутых показах, — фильм Прошкина показался просто утомительным. Лишенный даже комичной тяжеловесности «Ломоносова» Шапиро, он отражает идеологически истощенное позднесоветское общество. О социалистическом проекте и создании исторических фильмов в эпоху Сталина и за ее пределами см. проницательную книгу Е. А. Добренко [Dobrenko 2008].

потенциально неприятными последствиями для мифа, который они должны были прославлять. Предпринятые в сочетании со слишком большой шумихой вокруг имени ученого, они в значительной степени способствовали появлению цинизма, который пропитывал предписанный властями пиетет в последние годы существования Советского Союза¹¹. Каким бы ни был первоначальный импульс для столь масштабных усилий по восхвалению Ломоносова, их влияние на осознание его исторического величия было гораздо меньшим, чем предполагалось. Нет ничего пара-

¹¹ Различие, отмеченное П. Нора между «навязанными символами» и «сконструированными символами» во французской культуре, является полезным организующим приемом при изучении мифа. Навязанные символы, такие как Пантеон и Эйфелева башня, — это те, где «символическое и мемориальное намерение заложено в самом объекте», и которые часто быстро превращаются в «официальные государственные символы». Сконструированные символы, например Жанна д'Арк и Декарт, возникают в результате «непредвиденных механизмов, сочетаний обстоятельств, течения времени, человеческих усилий и самой истории», которые превращают их «в важные и долговечные символы французскости». См. предисловие к [Nora 1998: X]. Когда мифы полностью подпадают под власть государства или квазигосударственных институтов, они, конечно, перестают расти, и их символическая ценность постепенно подрывается. Так было в случае с Ломоносовым, и почти так произошло с Пушкиным. См. [Levitt 1989: 147–175; Sandler 2004; Debreczeny 1997: 223–246] о попытках поздней империи и Советского Союза контролировать наследие Пушкина. Для более подробного изучения роли Пушкина в советскую эпоху см. [Молок 2000]. О согласованных советских усилиях — в конечном счете неудачных — по созданию эффективного мифа вокруг фигуры Павлика Морозова см. [Kelly 2005]. Поддерживаемое партией/государством обожание Сталина описано в [Plamper 2012]. Даются впечатляющие образы Петра Великого в русской жизни; поразительна также эволюция иконографии Ленина в Советском Союзе. Вполне религиозное почитание большевистского лидера исследуется в [Тумаркин 1997], а также в [Великанова 2001]. Стоит подчеркнуть, что истоки «культы» Ленина свидетельствуют как о сконструированных, так и о навязанных его элементах. Подобное перекрестное опыление также имело место и в случае Пушкина, что механизм, описанный Нора, отчасти допускает. Возможно, еще слишком рано с точностью оценивать, каковы будут взгляды людей постсоветской эпохи на эти фигуры. Представления о Пушкине и Петре Великом никогда не были настолько перенасыщены гротесками позднейших мифотворцев, как представления о Ломоносове и Ленине, — в них сохранилось значительное «независимое» содержание.

доксального в том, что сила и значение мифа о Ломоносове начали разрушаться в то самое время, когда голоса, превозносящие его, стали звучать громче всего: это почитание было однородным, напрашивавшимся на критическую оценку.

Во вполне типичном, но ярком и показательном анекдоте (в одном из тех, которые имели широкое хождение в последние десятилетия существования Советского Союза), С. Д. Довлатов пишет о создании бригадой камнерезов мраморного рельефа Ломоносова, предназначенного для размещения на новой станции метро в Ленинграде:

Ломоносов был изображен в каком-то подозрительном халате. В правой руке он держал бумажный свиток. В левой — глобус. Бумага, как я понимаю, символизировала творчество, а глобус — науку.

Сам Ломоносов выглядел упитанным, женственным и неопрятным. Он был похож на свинью. В сталинские годы так изображали капиталистов. Видимо, Чудновскому [скульптору] хотелось утвердить примат материи над духом [Довлатов 1986: 23–24]¹².

В описании Довлатова читателя поражает не презрение, а, скорее, безразличие. По ходу работы Ломоносов принимал свой знакомый вид¹³, и он был не из приятных: «Облик Ломоносова становился все более четким. И, надо заметить, все более оттал-

¹² Довлатов, эмигрировавший из Советского Союза в Нью-Йорк в 1978 году, впервые стал известен в литературе благодаря похвале Иосифа Бродского. На протяжении более чем трех десятилетий его труды пользовались последовавшей после его смерти большой популярностью в России и других странах бывшего Советского Союза.

¹³ В течение двух столетий визуальные репродукции редко отклонялись от оригинального изображения пухлого лица Ломоносова, появившегося в XVIII веке. Об истории живописных портретов Ломоносова см. [Глинка 1961]. Впечатляющая статуя Ломоносова была установлена во время празднования юбилея Ломоносова в 1986 году на видном месте рядом с Кунсткамерой. Непростые усилия по выбору приемлемой модели описаны в [Рытикова 2011]. В случае этого памятника Ломоносову не хватает его обычного парика: очевидно, парики больше подходят щеголеватому слуге, чем трудолюбивому ученому.

квивающим» [Довлатов 1986: 25–26]. Наконец, когда голову закончили и установили ее на место в метро, можно было судить, что «издалека Ломоносов выглядел более прилично». Хотя это апокрифическое повествование очень похоже на непочтительный рассказ Довлатова об открытии памятника Ленину в Челябинске [там же: 21], оно действительно передает кажущуюся бесцельность публичных образов Ломоносова. Но даже и как объект для анекдотов, в сочинении которых преуспевали советские граждане, Ломоносов постепенно канул в забвение¹⁴.

Хотя рассказ Довлатова был всего лишь предлогом для атаки на маразматические условия советской жизни в целом и на дряхлость ленинградского чиновничества в частности, он завершается забавным характерным замечанием: «А нашего Ломоносова через два месяца сняли. Ленинградские ученые написали письмо в газету. Жаловались, что наша скульптура принижает великий образ» [Довлатов 1986: 31]. Таким образом, научное сообщество, столь же замешанное в существующих ритуалах, как и культурные и политические власти, сочло своим долгом защитить авторитет Ломоносова. Хотя рассказ, очевидно, не был задуман Довлатовым как нечто большее, чем очередная комедийная критика общественных норм, он намекает на один из способов, которым последующие поколения могли бы сохранить память о Ломоносове.

Если механизмы, которые отбирают материал для мифов и впоследствии формируют их, трудно определить с точностью (на самом деле они лучше всего видны при расширенном изучении как репрезентативных тропов, так и ответов на них), то размышления о будущем мифа в равной степени чреваты кон-

¹⁴ Конечно, юмор сам по себе не подрывает силу мифа; более того, он, вероятно, усиливает ее за счет включения определенной многозначности. Эпиграммы, каламбуры, шутки и тому подобное, которые подчеркивали «низкое происхождение» Ломоносова и его предполагаемую склонность к пьянству, были основным элементом литературной полемики XVIII века и позволили, пусть и непреднамеренно, внести больше человеческого в более позднюю биографию Ломоносова. Именно отсутствие юмора, среди прочих симптомов, вероятно, указывает на упадок мифа.

цептуальными ловушками. Следует сразу признать, что символическое значение Ломоносова подорвали не внимание ученых (как предполагали Краг и большинство историков науки) и не соответствующие усилия по деконструкции мифа. Более того, мнение о том, что бóльшая часть ответственности лежит главным образом на официальном характере увековечивания его памяти, оспаривается тем поклонением, которое в русской культуре по-прежнему выпадает на долю определенных фигур и особенно Пушкина¹⁵.

Виновато нечто гораздо более существенное. В отличие от биографии Пушкина и, что более уместно для изучения научных мифов, биографий таких личностей, как Ньютон, Декарт, Галилей, Коперник и Франклин, вполне возможно, что с далеко идущей интерпретационной «эксгумацией» Ломоносова как ученого, осуществленной Меншуткиным, способность мифологии вдохновлять интеллигенцию и создавать преданных поклонников просто исчерпала себя. Добавьте к этому, что с крахом советского эксперимента, повлекшим за собой, конечно, подрыв официальной культуры, которая так энергично пропагандировала поклонение Ломоносову как «сыну великого русского народа», в значительной степени равнодушная публика перестала сталкиваться с требованием обращать в сторону Ломоносова даже поверхностный взгляд¹⁶.

¹⁵ Хотя очевидным возражением может быть то, что Пушкин представляет собой особую модель, я бы тем не менее сказал, что это сравнение поучительно. Двухсотлетие со дня рождения Пушкина было отпраздновано с большой помпой в 1999 году. Обзор литературы, посвященной юбилею, см. в «Московском пушкинисте» (серия, выпущенная в 1995 году) и почти в каждом номере «Нового литературного обозрения» (особенно обзор новых книг). Его публикация продолжалась несколько лет, следовавших за юбилеем. О том, как образ Пушкина использовался в недавнем русском националистическом дискурсе, см. [Slater 1999].

¹⁶ Оценивая острую «десакрализацию» декабристов за последние 20 лет, Л. А. Тригос нерешительно делает очевидный вывод о том, что «ассоциация декабристов с легитимизирующими советский режим мифами, возможно, запятнала их до такой степени, что они не смогли реинтегрироваться» [Trigos 2009: 182].

В постсоветской России Ломоносов превратился из ослепительного символа российских научных триумфов в человека, который, хотя и остается отцом российской науки и образования, не вызывает дискуссий. Похоже, в ближайшее время ему будут посвящать лишь формальные собрания, проводимые оставшимися наследниками мифа, большинство из которых обитает либо в Институте истории науки и техники, либо в близлежащем Музее Ломоносова¹⁷. Таким образом, даже в академических кругах, последнем бастионе подобного антиквариата, присутствуют тревожные признаки сокращения числа энтузиастов (или учеников) Ломоносова. История жизни и творчества Ломоносова претерпела лишь резкое падение внимания к ней, в отличие от широкого круга фигур российского прошлого, отношение к которым менялось согласно требованиям времени¹⁸. Это касалось как тех, кем пренебрегали, так и тех, кто долгое время был объектом пристального внимания, что вызывало всплеск часто непревзойденного научного интереса. Систематический поиск как недавно увидевших свет работ, так и предстоящих публикаций, даже в прошедшем «юбилейном» году (2011) 300-летия со дня рождения ученого¹⁹ указывает на поразительную нехватку

¹⁷ Имя Ломоносова по-прежнему неизменно удостоивается почестей, подобных тем, что были возданы президентом Российской академии наук Ю. С. Осиповым на церемонии празднования 275-й годовщины Академии в 1999 году (см. [Осипов 1999: 25–31, passim]), хотя теперь похвалы не просто бесстрастны. Они также больше не затмевают признание деяний других, особенно «иностранных» академиков XVIII века.

¹⁸ Досадным исключением из этого правила является Радищев, биография которого была сильно искажена в советский период, когда он был, в вульгарной трактовке, отлит по образцу «революционного демократа». Труды Радищева на самые разнообразные темы, особенно его «Путешествие из Петербурга в Москву», заслуживают, нет, требуют широкого пересмотра.

¹⁹ В ознаменование 300-летия со дня рождения Ломоносова Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге в ноябре 2011 года провел научную конференцию и выставку под названием «Михаил Ломоносов и время Елизаветы I». Это мероприятие, с его слишком очевидными отголосками выставки с аналогичным названием, состоявшейся вскоре после юбилея 1911 года, является наиболее примечательным своей ограниченностью. Ни один из международных докладчиков не выступил с докладом, и в прочитанных лекциях

инновационного научного интереса к научной биографии Ломоносова²⁰.

С высокой долей вероятности суть дальнейшей судьбы репутации Ломоносова составят героические элементы его биографии, которые были описаны его современниками, а затем историзированы сначала Радищевым, а затем, в XX веке, наиболее убедительно, хотя и единично, Любимовым. В то время как Радищев и Любимов восхищались символической ценностью Ломоносова для русских, они явно отвергали любое представление о длительном и прямом влиянии. Будут ли воскрешены силы, которые поместили Ломоносова в пантеон великих русских и удержали его в нем, силы, которые проистекали из его способности приводить в восторг целые поколения, неясно. Но поскольку Россия, пытаясь догнать Запад или по крайней мере осознавая необходимость сближения с ним, проходит через многие из тех же ис-

не было предпринято никаких попыток устранить наиболее заметный пробел в ломоносоведении: неспособность разместить наследие Ломоносова в обширном корпусе литературы по истории европейской науки. Это, конечно, потребовало бы не только знания иностранных языков и работ на них, но и включения их в свой труд. О Ломоносовской конференции см. http://www.heritagemuseum.org/html_En/00/hm0_4_499.html (дата обращения: 12.05.2023). К выставке был издан красиво иллюстрированный каталог [Гусева 2011]. Каким бы впечатляющим ни было визуальное представление, сопроводительный текст не вдохновляет.

²⁰ Книга [Hoffmann 2011], кульминация десятилетий интереса автора к России XVIII века, была издана в год 300-летия Ломоносова. Текст Хоффманна, представляющий собой являющуюся результатом тщательного исследования, авторитетно написанную хронику богатой и разнообразной жизни Ломоносова, предлагает, однако, очень мало нового в интерпретации, особенно в том, что касается научного наследия Ломоносова. Хоффманн также не помещает Ломоносова в контекст более широких течений «просвещенной» Европы. Помимо предсказуемых переизданий трудов Ломоносова, наряду с некоторыми каноническими текстами (такими как биография Меншуткина 1911 года), наиболее значимыми публикациями на русском языке, выпущенными к юбилею, являются справочники. За последние два года были опубликованы специализированные исследования о библиотеке Ломоносова, документы, связанные с его работой в Академии наук, и руководства по его переписке (все цитируемые здесь). Ни один из них не может быть истолкован как прорыв в науке.

пытаний, которые отмечали ее развитие со времен Петра Великого, вполне вероятно, что Ломоносов может снова послужить примером.

Нации нуждаются в мифах, а мифы о героях или отцах-основателях являются обычным делом²¹. Мифы могут рассказать о многом из истории страны и о людях, конструирующих такие символы. Они есть потребность, которой с трудом могли бы соответствовать биографии и связанные с ними повествования. Таким образом, вопрос, к которому следует вернуться, заключается не в истинности ценности мифических представлений, а, скорее, в том, как они используются. Я надеюсь, что два столетия ломоносовской мифологии во многом раскрыли то, как российские ученые, поэты, историки и журналисты, среди прочего, оценивали важность науки и образования для своей страны, и более того, как они рассматривали развитие науки, считая ее жизненно важной для развития России и укрепления ее национальной гордости. В случае с Ломоносовым мы имеем дело не только с «фальсификацией» истории (если использовать любимый советский термин, употреблявшийся для описания так называемой буржуазной историографии), хотя в иконографии его жизни ее было немало. Что еще более важно, он является фигурой, долгое время воплощавшей идеалы, которые многие русские мыслители стремились распространить в своей стране.

²¹ О многочисленных повторениях мифов — главным образом религиозных, национальных и государственных — которые составляют биографию Александра Невского, и их многовековом использовании в «российском» дискурсе см. [Schenck 2004]. Петровское и послепетровское использование образа Александра Невского в соответствии с требованиями империи/государства (начиная с главы 5) особенно актуально для исследователей избрания сопоставимых русских «национальных героев».

Библиография

Справочные руководства

Беляева 2010 — Беляева И. М., ред. Библиотека М. В. Ломоносова: научное описание рукописей и печатных книг. М., 2010.

Берков et al. 1968 — Берков П. Н. et al., ред. История русской литературы XVIII века: библиографический указатель. Л., 1968.

Карпеев 1999а — Карпеев Е. П., ред. Ломоносов: краткий энциклопедический словарь. СПб., 1999.

Кладо и др. 1967 — Кладо Т. Н. и др., ред. Леонард Эйлер: переписка, аннотированный указатель. Л., 1967.

Коровин 1950 — Коровин Г. М., ред. Михаил Васильевич Ломоносов: указатель основной научной литературы. М. — Л., 1950.

Коровин 1961 — Коровин Г. М. Библиотека Ломоносова: материалы для характеристики литературы, использованной Ломоносовым в его трудах, и каталог его личной библиотеки. М. — Л., 1961.

Кулябко, Бешенковский 1975 — Кулябко Е. С., Бешенковский Е. Б. Судьба библиотеки и архива М. В. Ломоносова. Л., 1975.

Кунцевич 1918 — Кунцевич Г. З., ред. Библиография изданий сочинений М. В. Ломоносова на русском языке. Петроград, 1918.

Летопись РАН 2000 — Летопись Российской Академии наук. Т. 1: 1724–1802. СПб.: Наука, 2000.

Летопись РАН 2002 — Летопись Российской Академии наук. Т. 2: 1803–1860. СПб.: Наука, 2002.

Ломоносовские торжества 1911 — Ломоносовские торжества. (Библиографическая заметка) // Памяти М. В. Ломоносова. Сборник статей к двухсотлетию со дня рождения Ломоносова. СПб., 1911. С. 88–105.

Мартынов 2010 — Мартынов Г. Г., ред. Михаил Васильевич Ломоносов: переписка 1737–1765. М., 2010.

Межев 1871 — Межев В. И. Юбилеи Ломоносова, Карамзина и Крылова: библиографический указатель книг и статей, вышедших по поводу юбилеев. СПб., 1871.

Модзалевский 1937 — Модзалевский Л. Б., ред. Рукописи Ломоносова в Академии наук СССР: научное описание / Предисл. Б. Н. Меншуткина. М. — Л., 1937.

Модзалевский 1958 — Модзалевский Л. Б. Ломоносов и его ученик Поповский (о литературной преемственности) // XVIII век. Т. 3. 1958. С. 111–169.

Модзалевский, Тункина 2011 — Модзалевский Л. Б., Тункина И. В., ред. М. В. Ломоносов и его литературные отношения в Академии наук. Из истории русской литературы и просвещения середины XVIII в. СПб., 2011.

Пономарев 1872 — Пономарев С. И., ред. Материалы для библиографии литературы о Ломоносове. СПб., 1872.

Путеводитель 1912 — Путеводитель по выставке «Ломоносов и елизаветинское время». СПб., 1912.

Сводный каталог 1962–1975 — Сводный каталог русской книги гражданской печати XVIII века, 1725–1800. 6 томов. М., 1962–1975.

Столпянский 1911 — Столпянский П. Н. Некоторые данные к биографии Ломоносова, извлеченные из «С.-Петербургских ведомостей» за XVIII век // Ломоносовский сборник. СПб., 1911. С. 267–282.

Указатель 1911 — Указатель юбилейной литературы о Ломоносове // Памяти М. В. Ломоносова. Сборник статей к двухсотлетию со дня рождения Ломоносова. СПб., 1911. С. 106–122.

Фомин и др. 1915 — Фомин А. Г., Дукмейер К., Эллис Г., Мартен А., Иенсен А., ред. Материалы по библиографии о Ломоносове на русском, немецком, французском, итальянском и шведском языках. Петроград, 1915.

Ченакал и др. 1961 — Ченакал В. Л., Топчиев А. В., Фигуровский Н. А., ред. Летопись жизни и творчества М. В. Ломоносова. М. — Л., 1961.

Архивные источники

Учитывая высочайший статус Ломоносова в российской и советской истории, тот факт, что его труды были предметом пристального внимания, публиковались и переиздавались снова и снова, не должен вызывать удивления. Действительно, за три года исследований в Санкт-Петербурге, где находятся почти все труды Ломоносова, я обнаружил только одну статью, приписываемую Ломоносову, и одно стихотворение, происхождение которого, по общему признанию, неясно, которые из-

бежали включения в последнее издание его собрания сочинений. Основным хранилищем документов Ломоносова является СПбФ АРАН (Санкт-Петербургский филиал Архива Российской академии наук). Как собственные труды Ломоносова (научные, литературные и административные), так и многие документы, связанные с его работой в Академии наук, находятся в фондах 1, 3 и 20. Ссылки на архивные и документальные собрания, касающиеся Ломоносова, в данной работе относятся либо к СПбФ АРАН, либо к Отделу рукописей Российской национальной библиотеки в Санкт-Петербурге, о чем говорится в сносках.

Цитируемые работы

XVIII век 1935–2011 — XVIII век. 26 томов. М. — Л. — СПб., 1935–2011.
Агеева 2008 — Агеева О. Г. Императорский двор России: 1700–1796 годы. М., 2008.

Аксаков 1846 — Аксаков К. С. Ломоносов в истории русской литературы и русского языка. М., 1846.

Алексеев 1984 — Алексеев М. П. Пушкин и наука его времени // М. П. Алексеев. Пушкин: сравнительно-исторические исследования / под ред. Степанова Г. В., Баскакова В. Н. Л., 1984. С. 22–173.

Андреев А. И. 1951 — Андреев А. И. О дате рождения Ломоносова // Ломоносов: сборник статей и материалов. Т. 3. М. — Л., 1951. С. 364–369.

Андреев 2000 — Андреев А. Ю. Московский университет в общественной и культурной жизни России начала XIX века. М., 2000.

Андреев 2005 — Андреев А. Ю. Русские студенты в немецких университетах XVIII — первой половины XIX века. М., 2005.

Анисимов 1985 — Анисимов Е. В. И. И. Шувалов — деятель русского просвещения // Вопросы истории. 1985 (июль). № 7. С. 94–104.

Анисимов 1987 — Анисимов Е. В. М. В. Ломоносов и И. И. Шувалов // Вопросы истории естествознания и техники. 1987. № 1. С. 73–83.

Анисимов 1999 — Анисимов Е. В. Дыба и кнут: политический сыск и русское общество в XVIII веке. М., 1999.

Бабкин 1940 — Бабкин Д. С. Образ Ломоносова в портретах XVIII в. // Ломоносов: сборник статей и материалов. Т. 1. М.–Л., 1940. С. 302–317.

Бабкин 1946 — Бабкин Д. С. Биографии М. В. Ломоносова, составленные его современниками // Ломоносов: сборник статей и материалов. Т. 2. М. — Л., 1946. С. 5–70.

Баландин 2011 — Баландин Р. К. Михаил Ломоносов. М.: Вече, 2011.

Барсуков 1888–1910 — Барсуков Н. П. Жизнь и труды М. П. Погодина. 22 т. СПб., 1888–1910.

Бартенев 1872 — Бартенев П. И., ред. Архив князя Воронцова. Т. 5. Москва, 1872.

Бартенев 1857 — Бартенев П. И. И. И. Шувалов // Русская беседа. 1857. Кн. I. Отд. VI. С. 1–80.

Белинский 1953–1955 — Белинский В. Г. Полное собрание сочинений. Т. 2, 8–9. М., 1953–1955.

Белявский 1955 — Белявский М. Т. М. В. Ломоносов и основание Московского университета. М., 1955.

Белявский 1956 — Белявский М. Т. Петр Челищев и его «Путешествие по северу России» // Вестник Московского университета. Историко-филологическая серия. 1956. № 2. С. 19–47.

Берков 1936 — Берков П. Н. Ломоносов и литературная полемика его времени. М. — Л., 1936.

Берков 1946 — Берков П. Н. Ломоносовский юбилей 1865 г. (Страница из истории общественной борьбы шестидесятых годов) // Ломоносов: сборник статей и материалов. Т. 2. М. — Л., 1946. С. 216–247.

Берков 1961 — Берков П. Н., ред. Проблемы русского просвещения в литературе XVIII века. М. — Л., 1961.

Берков 1962 — Берков П. Н., ред. Литературное творчество М. В. Ломоносова: исследования и материалы. М. — Л., 1962.

Биярский 1865 — Биярский П. С. Материалы для биографии Ломоносова. СПб., 1865.

Благой 1972 — Благой Д. Д. От Кантемира до наших дней. Т. 1. М., 1972.

Бобынин 1962 — Бобынин В. В. Румовский, Степан Яковлевич // Русский биографический словарь. Т. 17. СПб., 1918. Репринтное издание: Нью-Йорк, 1962. С. 441–450.

Боголюбов и др. 1988 — Боголюбов Н. Н., Михайлов Г. К., Юшкевич А. П., ред. Развитие идей Леонарда Эйлера и современная наука: сборник статей. М., 1988.

Бренева, Моисеева 1995 — Бренева И. В., Моисеева Т. М. Музей М. В. Ломоносова: путеводитель. СПб., 1995.

Брокгауз, Ефрон 1896 — Любимов, Николай Алексеевич // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. Т. 18. СПб., 1896. С. 209.

Брокгауз, Ефрон 1897 — Муравьев (Михаил Никитич) — общественный деятель и писатель (1757–1800) // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. Т. 20. СПб., 1897. С. 189–190.

Бронникова 2004 — Бронникова Е. В., ред. Михаил Васильевич Ломоносов: из наследия Ломоносова, слово современников о Ломоносове, «память вечная», «высокий лик в грядущем поколении...». М., 2004.

Бубнов 1986 — Бубнов Н. Ю. Ломоносов: первые шаги в науку // А. А. Зайцева, ред. Ломоносов и книга: сборник научных трудов. Л., 1986. С. 28–35.

Будилович 1869 — Будилович А. С. М. В. Ломоносов как натуралист и филолог. СПб., 1869.

Вавилов 1961 — Вавилов С. И. Михаил Васильевич Ломоносов. М. — Л., 1961.

Васецкий 1961 — Васецкий Г. С. Мировоззрение М. В. Ломоносова. Москва, 1961.

Васецкий, Микулинский 1959 — Васецкий Г. С., Микулинский С. Р., ред. Избранные произведения русских естествоиспытателей первой половины XIX века. М., 1959.

Васильев 2008 — Васильев В. Н., ред. Леонард Эйлер: К 300-летию со дня рождения. Сборник статей. СПб., 2008.

Великанова 2001 — Великанова О. В. Общественное восприятие культа Ленина на основе архивных материалов (текст на русском языке). Lewiston, NY: The Edwin Mellen Press, 2001.

Вельтман 1840 — Вельтман А. Ф., ред. Портфель служебной деятельности Ломоносова // Очерки России. Кн. 2. М., 1840. С. 5–85.

Веревкин 1784 — Веревкин М. И. Жизнь покойного Михаила Васильевича Ломоносова // Полное собрание сочинений Ломоносова. Часть 1. СПб., 1784. С. III–XVIII.

Винтер, Юшкевич 1958 — Винтер Э., Юшкевич А. П. О переписке Леонарда Эйлера и Г. Ф. Миллера // Леонард Эйлер: сборник статей в честь 250-летия со дня рождения, представленных Академии наук СССР / под ред. Лаврентьева М. А., Юшкевича А. П. и Григорьева А. Т. М., 1958. С. 465–497.

Глинка 1961 — Глинка М. Е. М. В. Ломоносов (опыт иконографии). М. — Л., 1961.

Голдин 2011 — Голдин В. И., ред. Михаил Ломоносов: ученый-энциклопедист, поэт, художник, радетель просвещения. М., 2011.

Голицын 1853 — Голицын Ф. Н., князь. Жизнь обер-камергера Ивана Ивановича Шувалова // Москвитянин. 1853. № 6. С. 87–98.

Голубцов 1911 — Голубцов Н. А., ред. Ломоносовский сборник. Архангельск, 1911.

Горелик 2008 — Горелик Г. Е. Советская жизнь Льва Ландау. М., 2008.

Грай 1988 — Грай К. Леонард Эйлер и Берлинская академия наук // Боголюбов Н. Н., Михайлов Г. К., Юшкевич А. П., ред. Развитие идей Леонарда Эйлера и современная наука: сборник статей. М., 1988. С. 85–89.

Гребенюк 1987 — Гребенюк В. П. Петр I в творчестве М. В. Ломоносова, его современников, предшественников и последователей // Ломоносов и русская литература / Ред. Курилов А. С. М.: Наука, 1987. С. 64–80.

Грот 1865 — Грот Я. К. Очерк академической деятельности Ломоносова, читанный академиком Я. К. Гротом в торжественном собрании Императорской академии наук 6 апреля 1865 года. СПб., 1865.

Гуковский 1927 — Гуковский Г. А. Русская поэзия XVIII века. Л., 1927.

Гусева 2011 — Гусева Н. Ю., ред. М. В. Ломоносов и елизаветинское время: Каталог выставки. СПб., 2011.

Дальманн, Смагина 2007 — Дальманн Д., Смагина Г., ред. Г. Ф. Миллер и русская культура. СПб., 2007.

Данилевский 1954 — Данилевский В. В. Ломоносов на Украине. Л., 1954.

Данилов 1915 — Данилов В. В. Дедушка русских исторических журналов (Отечественные записки П. П. Свиньина) // Исторический вестник: историко-литературный журнал. 1915. Вып. 141. С. 109–129.

Дашкова 2003 — Дашкова Е. Р. Записки княгини. Воспоминания. Мемуары. Мн.: Харвест, 2003.

Деборин 1935 — Деборин А. М., ред. Леонард Эйлер, 1707–1783: сборник статей и материалов к 150-летию со дня смерти. М. — Л., 1935.

Довлатов 1986 — Довлатов С. Д. Чемодан. Тенафлай, Нью-Джерси: Эрмитаж, 1986.

Егоров 1986 — Егоров Б. Ф. Ломоносовский юбилей 1865 г. // М. В. Ломоносов и русская культура: тезисы докладов конференции, посвященной 275-летию со дня рождения М. В. Ломоносова (28–29 ноября 1986 г.). Тарту, 1986. С. 56–59.

Елисеев 1975 — Елисеев А. А. Г. В. Рихман. М., 1975.

Есаков 2000 — Есаков В. Д., ред. Академия наук в решениях Политбюро ЦК РКП(б) — ВКП(б): 1922–1952. М., 2000.

Есипов 2006 — Есипов В. М. Пушкин в зеркале мифов. М., 2006.

Ефремов 1867 — Ефремов П. А., ред. Материалы для истории русской литературы. СПб., 1867.

Живов 1996 — Живов В. М. Язык и культура в России XVIII века. М., 1996.

Живов 1997 — Живов В. М. Первые русские литературные биографии как социальное явление: Тредиаковский, Ломоносов, Сумароков // Новое литературное обозрение. 1997. № 25. Р. 24–83.

Живов 2002 — Живов В. М. Разыскания в области истории и предыстории русской культуры. М., 2002.

Жучков 2001 — Жучков В. А., ред. Кристиан Вольф и философия в России. СПб., 2001.

Замкова 1965 — Замкова В. В. Физическая терминология в «Вольфианской экспериментальной физике» М. В. Ломоносова // Материалы и исследования по лексике русского языка XVIII века / под ред. Сорокина Ю. С. М. — Л., 1965.

Западов 1992 — Западов В. А. История создания «Путешествия из Петербурга в Москву» и «Вольности» // Радищев А. Н. Путешествие из Петербурга в Москву. Вольность / Под редакцией Западова В. А. СПб., 1992. С. 475–560.

Зелов 2010 — Зелов Д. Д. Официальные светские праздники как явление русской культуры конца XVII — первой половины XVIII века, 2-е изд. М., 2010.

Зубов 1954 — Зубов В. П. Ломоносов и славяно-греко-латинская академия // Труды Института истории естествознания и техники. 1954. № 1. С. 5–52.

Зубов 1956 — Зубов В. П. История естественных наук в России (XVIII в. — первая половина XIX в.). М., 1956.

Идельсон 1940 — Идельсон Н. И. Теория Ломоносова о строении кометы. Новые данные к «Слову о явлениях воздушных, от электрической силы происходящих» (26 ноября 1753 г.) // Ломоносов: сборник статей и материалов. Т. 1. М.–Л., 1940. С. 81–82.

История Московского университета 1955 — История Московского университета. Т. 1. М., 1955.

Капица 1956 — Капица П. Л. Научная деятельность В. Франклина // Вестник Академии наук СССР. 1956. Вып. 2. С. 65–75.

Капица 1977 — Капица П. Л. Ломоносов и мировая наука. Речь на сессии Отделения физико-математических наук АН СССР, посвященной 250-летию со дня рождения М. В. Ломоносова // П. Л. Капица. Эксперимент. Теория. Практика. Статьи, выступления. М.: Наука, 1977. С. 255–272.

Карамзин 1964 — Карамзин Н. М. Избранные сочинения. Т. 2. М. — Л., 1964.

Карпеев 1999б — Карпеев Е. П. «Се человек...» (заметки к психологическому портрету М. В. Ломоносова) // Вопросы истории естествознания и техники. 1999. Вып. 1. С. 106–121.

Карпеев 2005 — Карпеев Е. П. Русская культура и Ломоносов. СПб., 2005.

Киприянова 1988 — Киприянова Т. Г. Новые архивные сведения по истории создания «Арифметики» Л. Магницкого // Естественнонаучные представления Древней Руси / под редакцией Симонова П. А. М., 1988. С. 279–282.

Клейн 2005 — Клейн И. Пути культурного импорта. Труды по русской литературе XVIII века. М., 2005.

Клейн 2010 — Клейн И. Русская литература в XVIII веке. М., 2010.

Кобеко 1881 — Кобеко Д. Ф. Ученик Вольтера граф Андрей Петрович Шувалов // Русский архив. Кн. 3. 1881. С. 241–290.

Ковалевский 1910 — Ковалевский М. М. Московский университет в конце 70-х и начале 80-х годов прошлого века (личные воспоминания) // Вестник Европы: журнал науки — политики — литературы. 1910 (май). С. 178–221.

Кольцов 1965 — Кольцов А. В. Проекты организации Ломоносовского института в Академии наук в начале XX в. // Ломоносов: сборник статей. Т. 6. М. — Л., 1965. С. 294–300.

Копанева, Коренева 1998 — Копанева Н. П., Коренева С. Б., ред. Г. В. Лейбниц и Россия. СПб., 1998.

Копелевич 1974 — Копелевич Ю. Х. Возникновение научных академий: середина XVII — середина XVIII в. Л., 1974.

Копелевич 1977 — Копелевич Ю. Х. Основание Петербургской Академии наук. Л., 1977.

Копелевич 2003 — Копелевич Ю. Х. Леонард Эйлер — действительный и почетный член Петербургской академии наук // Академическая наука в Санкт-Петербурге в XVIII–XX веках: исторические очерки / под ред. Е. А. Троппа и Г. И. Смагиной. СПб., 2003. С. 55–72.

Кореакова 1916 — Кореакова В. Веревкин, Михаил Иванович // Русский биографический словарь. Т. 3А. Петроград, 1916. С. 582–585.

Кочеткова 1987 — Кочеткова Н. Д. М. В. Ломоносов в оценке русских писателей-сентименталистов // Ломоносов и русская литература / Ред. Курилов А. С. М.: Наука, 1987. С. 267–280.

Кузнецов 1961 — Кузнецов Б. Г. Творческий путь Ломоносова. М., 1961.

Кулакова 1962 — Кулакова Л. И. А. Н. Радищев о М. В. Ломоносове // Литературное творчество М. В. Ломоносова: исследования и материалы / под ред. П. Н. Беркова. М. — Л., 1962. С. 219–236.

Кулакова 1967 — Кулакова Л. И. Поэзия М. Н. Муравьева // М. Н. Муравьев: стихотворения / под ред. Кулаковой Л. И. Л., 1967. С. 5–49.

Кулакова 2006 — Кулакова И. П. Университетское пространство и его обитатели: Московский университет в историко-культурной среде XVIII века. М., 2006.

Кулябко 1962 — Кулябко Е. С. Ломоносовский юбилей 1911 г. // Литературное творчество М. В. Ломоносова: исследования и материалы / ред. Берков П. Н. М. — Л., 1962. С. 300–312.

Кулябко 1966 — Кулябко Е. С. Неизвестное письмо И. И. Шувалова к М. В. Ломоносову // XVIII век. Т. 7. М. — Л. — СПб., 1966. С. 99–105.

Куник 1865 — Куник А. А., ред. Сборник материалов для истории Императорской академии наук в XVIII веке. В 2 частях. СПб., 1865.

Лаврентьев 1997 — Лаврентьев А. В. Люди и вещи. Памятники русской истории и культуры XVI–XVIII вв., их создатели и владельцы. М., 1997.

Лаврентьев и др. 1958 — Лаврентьев М. А., Юшкевич А. П., Григорьян А. Т., ред. Леонард Эйлер: сборник статей в честь 250-летия со дня рождения, представленных Академии наук СССР. М., 1958.

Ламанский 1865 — Ламанский В. И. Ломоносов и Петербургская академия наук. Материалы к столетию памяти его, 1765–1865 года, апреля 4-го дня. М., 1865.

Ламанский 1883 — Ламанский В. И. Михаил Васильевич Ломоносов: биографический очерк. Репринтное издание. СПб., 1883.

Ланжевен 1977 — Ланжевен Л. М. В. Ломоносов и Р. Бойль (корпускулярная теория материи и механистическая концепция мира) / Перевод с фр. и англ. М. Г. Новлянской, ред. и прим. С. А. Погодина // Ломоносов: сборник статей и материалов. Т. 7. Л., 1977.

Лебедев 1990 — Лебедев Е. Н. Ломоносов. М., 1990.

Левин 1990 — Левин Ю. Д. Восприятие английской литературы в России. Л., 1990.

Левшин 2003 — Левшин Л. В. Сергей Иванович Вавилов, 1891–1951. М., 2003.

Лепехин 1805 — Путешествия академика Ивана Лепехина в 1772 году. Часть IV. СПб., 1805.

Лестер 1962 — Лестер Г. М. Знакомство ученых Северной Америки колониального периода с работами М. В. Ломоносова и Петербургской

Академии наук // Вопросы истории естествознания и техники. 1962. Вып. 12. С. 142–147.

Ломоносов 1757–1765 — Ломоносов М. В. Собрание разных сочинений в стихах и в прозе. В 2 томах. М., 1757–1765.

Ломоносов 1778 — Ломоносов М. В. Собрание разных сочинений в стихах и в прозе. В 3 томах. М., 1778.

Ломоносов 1784–1787 — Ломоносов М. В. Полное собрание сочинений Михаила Васильевича Ломоносова, с приобщением жизни сочинителя и с добавлением многих его нигде еще не напечатанных творений. В 6 т. СПб., 1784–1787.

Ломоносов 1846 — Ломоносов М. В. Собрание сочинений известнейших русских писателей. № 1: Избранные сочинения М. В. Ломоносова, с его портретом, биографией, списком с почерка и с изложением содержания статей о Ломоносове, напечатанных в разных периодических и др. изданиях / под ред. Перевлесского П. М. М., 1846.

Ломоносов 1891–1948 — Ломоносов М. В. Сочинения М. В. Ломоносова, 8 томов. СПб. — М. — Л., 1891–1948.

Ломоносов 1940–2011 — Ломоносов: сборник статей и материалов. 10 т. М. — Л. — СПб., 1940–2011.

Ломоносов 1950–1983 — Ломоносов М. В. Полное собрание сочинений. В 11 томах. М. — Л., 1950–1983.

Ломоносов 2010 — Ломоносов М. В. Михаил Васильевич Ломоносов: переписка, 1737–1765. М., 2010.

Ломоносов 2011 — М. В. Ломоносов в книжной культуре России. М., 2011.

Ломоносовский сборник 1901 — Ломоносовский сборник: материалы для истории развития химии в России. М.: Товарищество тип. Мамонтова, 1901.

Ломоносовский сборник 1911 — Ломоносовский сборник. СПб., 1911.

Лотман 1997 — Лотман Ю. М. Отражение этики и тактики революционной борьбы в русской литературе конца XVIII века // Ю. М. Лотман. О русской литературе: статьи и исследования (1958–1993). СПб.: Искусство—СПб., 1997. С. 211–238.

Лотман 2002 — Лотман Ю. М. Поэтика бытового поведения в русской культуре XVIII в. // Ю. М. Лотман. История и типология русской культуры. СПб., 2002. С. 241–245.

Лотман, Успенский 1996а — Лотман Ю. М., Успенский Б. А. К Семиотической типологии русской культуры XVIII века // Из истории русской

культуры / под ред. Кошелова А. Д. Т. 4: XVIII — начало XIX века. М., 1996. С. 425–447.

Лотман, Успенский 1996б — Лотман Ю. М., Успенский Б. А. Отзвуки концепции «Москва — третий Рим» в идеологии Петра Первого. (К проблеме средневековой традиции в культуре барокко) // Избранные труды: в 3 т. Т. 1: Б. А. Успенский. Семиотика истории. Семиотика культуры. М., 1996. С. 124–141.

Лотман, Успенский 1996в — Лотман Ю. М., Успенский Б. А. Роль дуальных моделей в динамике русской культуры (до конца XVIII века) // Избранные труды. В 3 т. Т. 1: Б. А. Успенский. Семиотика истории. Семиотика культуры. М., 1996. С. 238–380.

Лотман, Успенский 1996г — Лотман Ю. М., Успенский Б. А. Миф — имя — культура // Избранные труды: в 3 т. Т. 1: Б. А. Успенский. Семиотика истории. Семиотика культуры. М., 1996. С. 432–459.

Лукина 1961 — Лукина Т. А. Экспедиции академика Лепехина в XVIII в. // Труды Института истории естествознания и техники. 1961. Вып. 41. С. 324–352.

Лукьянов 1954 — Лукьянов П. М. А. Н. Радищев и химия // Труды Института истории естествознания и техники. 1954. Вып. 2. С. 158–167.

Лыцов 1983 — Лыцов В. П. М. В. Ломоносов в русской историографии 1750–1850-х годов. Воронеж, 1983.

Лыцов 1992 — Лыцов В. П. М. В. Ломоносов в русской историографии 1860–1870-х годов. Воронеж, 1992.

Лыцов 1993 — Лыцов В. П. Жизнь и деятельность М. В. Ломоносова в освещении П. П. Пекарского. Воронеж, 1993.

Львович-Кострица 1892 — Львович-Кострица А. И. М. В. Ломоносов, его жизнь, научная, литературная и общественная деятельность: биографический очерк. СПб., 1892.

Любимов 1855 — Любимов Н. А. Ломоносов как физик // В воспоминание 12-го января 1855 года. Учено-литературные статьи профессоров и преподавателей Московского университета. М., 1855. С. 3–35.

Любимов 1872 — Любимов Н. А. Жизнь и труды Ломоносова: с приложением его портрета. М., 1872.

Лясковский 1865 — Лясковский Н. Е. Ломоносов как химик // Празднование столетней годовщины Ломоносова 4 апреля 1765–1865 г. Императорским Московским университетом в торжественном собрании апреля 11-го дня. М.: Университетская типография, 1865. С. 57–66.

Макаров 1950 — Макаров В. К. Художественное наследие М. В. Ломоносова: мозаики. М. — Л., 1950.

Макогоненко 1956 — Макогоненко Г. П. Радищев и его время. М., 1956.

Макогоненко 1980 — Макогоненко Г. П., ред. Письма русских писателей XVIII века. Ленинград, 1980.

Марковников 1901a — Марковников В. В. Вступительное слово при открытии первого заседания // Ломоносовский сборник: материалы для истории развития химии в России. М.: Товарищество тип. Мамонтова, 1901. С. 13–19.

Марковников 1901б — Марковников В. В. Полуторастолетие русской химической лаборатории // Ломоносовский сборник: материалы для истории развития химии в России. М.: Товарищество тип. Мамонтова, 1901. С. 1–7.

Мартынов 1968 — Мартынов И. Ф. «Опыт исторического словаря о российских писателях» Н. И. Новикова и литературная полемика 60–70-х годов XVIII века // Русская литература. 1968. № 3. С. 184–191.

Мартынов 2010 — Мартынов Г. Г., ред. Михаил Васильевич Ломоносов: переписка 1737–1765. М., 2010.

Мартынов 2011 — Мартынов Г. Г., ред. Михаил Ломоносов: глазами современников. М., 2011.

Машкова 1957 — Машкова М. В. П. П. Пекарский (1827–1872): краткий очерк жизни и деятельности. М., 1957.

Мельников 1865 — Мельников П. И. Описание празднества, бывшего в С.-Петербурге 6–9 апреля 1865 г. по случаю столетнего юбилея Ломоносова. СПб., 1865.

Меншуткин 1904 — Меншуткин Б. Н. Ломоносов как физико-химик: к истории химии в России. СПб., 1904.

Меншуткин 1908 — Меншуткин Б. Н. Жизнь и деятельность Николая Александровича Меншуткина. СПб., 1908.

Меншуткин 1911a — Меншуткин Б. Н. Ломоносов как естествоиспытатель. СПб., 1911.

Меншуткин 1911б — Меншуткин Б. Н. Михайло Васильевич Ломоносов: жизнеописание. СПб., 1911.

Меншуткин 1911в — Меншуткин Б. Н. Труды М. В. Ломоносова по физике и химии // Труды Ломоносова в области естественно-исторических наук. СПб., 1911. С. 1–103.

Меншуткин 1936 — Меншуткин Б. Н. Труды М. В. Ломоносова по физике и химии. М. — Л., 1936.

Меншуткин 1937 — Меншуткин Б. Н. Жизнеописание Михаила Васильевича Ломоносова. 2-е изд. М. — Л., 1937.

Меншуткин 1947 — Меншуткин Б. Н. Жизнеописание Михаила Васильевича Ломоносова, 3-е изд. / под редакцией Беркова П. Н., Вавилова С. И., Модзалевского Л. Б. М. — Л., 1947.

Минаева 2011 — Минаева О. Д. «Отечества умножить славу...»: биография М. В. Ломоносова. М., 2011.

Моисеева 1971 — Моисеева Г. Н. Ломоносов и древнерусская литература. Л., 1971.

Молок 2000 — Молок Ю. А. Пушкин в 1937 году: материалы и исследования по иконографии. М., 2000.

Морозов 1962 — Морозов А. А. М. В. Ломоносов: путь к зрелости, 1711–1741. М. — Л., 1962.

Морозов 1965 — Морозов А. А. Михаил Васильевич Ломоносов, 5-е изд. М., 1965.

Морозов 1975 — Морозов А. А. Родина Ломоносова. Архангельск, 1975.

Моряков 1986 — Моряков В. И. А. Н. Радищев о М. В. Ломоносове // Вестник Московского университета. 1986 (июль-август). Серия 8: История. № 4. С. 34–43.

Мументалер 2009 — Мументалер Р. Швейцарские ученые в Санкт-Петербургской академии наук. XVIII век / пер. с нем. яз. Тарасовой И. Ю. СПб., 2009.

Муравьев 1774 — Муравьев М. Н. Похвальное слово Михайле Васильевичу Ломоносову, писал лейб-гвардии Измайловского полку каптенармус Михайло Муравьев. СПб., 1774.

Муравьев 1796 — Муравьев М. Н. Заслуги Ломоносова в учености // М. Н. Муравьев. Опыты истории, письмен и нравоучения. СПб., 1796. С. 132–139.

Муравьев 1810 — Муравьев М. Н. Опыты истории, словесности и нравоучения / Сочинение Никиты Михайловича Муравьева, изданные по его кончине. М.: Унив. тип., 1810.

Муравьев 1819–1820 — Муравьев М. Н. Полное собрание сочинений М. Н. Муравьева. В 3 т. СПб., 1819–1820.

Муравьев 1847 — Муравьев М. Н. Сочинения М. Н. Муравьева. В 2 т. СПб., 1847.

Муравьев 1967 — Муравьев М. Н. М. Н. Муравьев: стихотворения / под ред. Кулаковой Л. И. Л., 1967.

Николаев 2007 — Николаев С. И., ред. Петр I в русской литературе XVIII века: тексты и комментарии. СПб., 2007.

Николаев 2011 — Николаев С. И. Ранняя иконография Ломоносова в свете иконологии // XVIII век: сб. [ст. и материалов]. Сб. 26: Старое и новое в русском литературном сознании XVIII века. СПб., 2011. С. 73–84.

Новик 1999 — Новик В. К. Академик Франц Эпинус (1724–1802): краткая биографическая хроника // Вопросы истории естествознания и техники. 1999. № 4. С. 4–35.

Новиков 1987 — Новиков Н. И., ред. Опыт исторического словаря о российских писателях. СПб., 1772. Репринтное издание: Л., 1987.

О физических сочинениях 1829 — О физических сочинениях Ломоносова // Атеней. 1829 (январь). Вып. 2. С. 109–120.

Орел, Смагина 2003 — Орел В. М., Смагина Г. И., ред. Комиссия по истории знаний 1921–1932 гг. Из истории организации историко-научных исследований в Академии наук: сборник документов. СПб., 2003.

Осипов 1999 — Осипов Ю. С. Академия наук в истории Российского государства. М., 1999.

Осповат 2007 — Осповат К. Ломоносов и «Письмо о пользе стекла»: поэзия и наука при дворе Елизаветы Петровны // Новое литературное обозрение. 2007. № 87. С. 148–183.

Островитянов 1958–1964 — Островитянов К. В., ред. История Академии наук СССР. В 2 т. М. — Л., 1958–1964.

Павленко 2003 — Павленко Н. И. Михаил Погодин. М., 2003.

Павлова 1960 — Павлова Г. Е. Проекты иллюминаций Ломоносова // Ломоносов: сборник статей и материалов. Т. 4. М. — Л., 1960. С. 219–237.

Павлова 1962 — Павлова Г. Е., ред. М. В. Ломоносов в воспоминаниях и характеристиках современников. М. — Л., 1962.

Павлова 1979 — Павлова Г. Е. Степан Яковлевич Румовский, 1734–1812. М., 1979.

Павлова 1986 — Павлова Г. Е. Ломоносов в характеристиках и воспоминаниях современников // Вопросы истории естествознания и техники. 1986. № 3. С. 59–69.

Павлова, Федоров 1986 — Павлова Г. Е., Федоров А. С. Михаил Васильевич Ломоносов, 1711–1765. М., 1986.

Памяти Ломоносова 1865 — Памяти Ломоносова, 6-го апреля 1865 года. Харьков, 1865.

Пекарский 1862 — Пекарский П. П. Наука и литература в России при Петре Великом. Т. 1: Введение в историю просвещения в России XVIII столетия. СПб., 1862.

Пекарский 1865 — Пекарский П. П. Дополнительные известия для биографии Ломоносова. СПб., 1865.

Пекарский 1867 — Пекарский П. П. О речи в память Ломоносова, произнесенной в Академии наук доктором Ле-Клерком // Записки Императорской Академии наук. Т. 10. Кн. 2. 1867. С. 178–181.

Пекарский 1870–1873 — Пекарский П. П. История Императорской Академии наук в Петербурге. В 2 т. СПб., 1870–1873.

Петр Великий 2003 — Петр Великий: pro et contra. Личность и деяния Петра I в оценке русских мыслителей и исследователей: антология. СПб.: РХГА, 2003.

Петров 1958 — Петров А. Н. Памятные эйлеровские места в Ленинграде // Леонард Эйлер: сборник статей в честь 250-летия со дня рождения, представленных Академии наук СССР / ред. Лаврентьев М. А., Юшкевич А. П., Григорьян А. Т. М., 1958. С. 597–604.

Перевощиков 1831 — Перевощиков Д. М. Рассмотрение Ломоносова разсуждения: «О явлениях воздушных, от электрической силы происходящих» // Телескоп. 1831. № 4. С. 486–513.

Перевощиков 1833 — Перевощиков Д. М. Руководство к опытной физике. М., 1833.

Петухов 1894 — Петухов Е. В. Михаил Никитич Муравьев: очерк его жизни и деятельности // Журнал Министерства народного просвещения. 1894 (август). Вып. 294. Раздел 2. С. 265–296.

Писаренко 2003 — Писаренко К. А. Повседневная жизнь русского двора в царствование Елизаветы Петровны. М., 2003.

Писаренко 2008 — Писаренко К. А. Елизавета Петровна. СПб.: Вече, 2008.

Плюханова 1979 — Плюханова М. Б. «Историческое» и «мифологическое» в ранних биографиях Петра I // Вторичные моделирующие системы. Тарту, 1979. С. 82–88.

Погодин 1846 — Погодин М. П. Петр Великий // М. П. Погодин. Историко-критические отрывки. Москва, 1846. С. 333–363.

Погодин 1855 — Погодин М. П. Воспоминание о Ломоносове // Москвитянин. 1855. № 2. С. 1–16.

Погодин, Раскин 1965 — Погодин С. А., Раскин Н. М. Б. Н. Меншуткин как исследователь трудов Ломоносова по химии и физике // Ломоносов: сборник статей и материалов. Т. 6. М. — Л., 1965. С. 245–266.

Погосян 1997 — Погосян Е. А. Восторг русской оды и решение темы поэта в русском панегирике 1730–1762 гг. Тарту, 1997.

Полевой 1836–1887 — Полевой К. А. Михаил Васильевич Ломоносов. 2 тома. Т. 1. М., 1836; Т. 2. СПб., 1887 (репринт).

Полярная звезда 1960 — Полярная звезда, изданная А. Бестужевым и К. Рылеевым. М. — Л., 1960.

Празднование столетней годовщины 1865 — Празднование столетней годовщины Ломоносова 4 апреля 1765–1865 г. Императорским Московским университетом в торжественном собрании апреля 11-го дня. М., 1865.

Протоколы 1899 — Протоколы заседаний Конференции Императорской Академии наук с 1725 по 1803 год. Т. 2. 1744–1770. СПб., 1899.

Пумпянский 1983 — Пумпянский Л. В. Ломоносов и немецкая школа разума // XVIII век. Т. 14. 1983. С. 3–44.

Путилов 2000 — Путилов Б. Н., ред. Петр Великий в преданиях, легендах, анекдотах, сказках, песнях. СПб., 2000.

Пушкин 1825 — Пушкин А. С. О предисловии г-на Лемонте к переводу басен И. А. Крылова // Московский телеграф. 1825. Часть 5. № 17. С. 40–46.

Пушкин 1937–1949 — Пушкин А. С. Полное собрание сочинений. Т. 11–14. М. — Л., 1937–1949.

Радищев 1938–1952 — Радищев А. Н. Полное собрание сочинений. В 3 т. М. — Л., 1938–1952.

Радищев 1992 — Радищев А. Н. Путешествие из Петербурга в Москву. Вольность / Под редакцией Запотова В. А. СПб., 1992.

Радищев 2011 — Радищев А. Н. Слово о Ломоносове // Михаил Ломоносов глазами современников / ред. Б. А. Градова. М., 2011.

Радищев П. 1858 — Радищев П. А. А. Н. Радищев // Русский вестник. 1858 (декабрь). Вып. 18. Кн. 1. С. 395–432.

Радовский 1958 — Радовский М. И. Вениамин Франклин и его связи с Россией. М. — Л., 1958.

Радовский 1961 — Радовский М. И. М. В. Ломоносов и Петербургская академия наук. М. — Л., 1961.

Райков 1947 — Райков Б. Е. Очерки по истории гелиоцентрического мировоззрения в России: из прошлого русского естествознания, 2-е изд. М. — Л., 1947.

Райнов 1940 — Райнов Т. И. Русское естествознание второй половины XVIII в. и Ломоносов // Ломоносов: сборник статей и материалов. Т. 1. М. — Л., 1940. С. 318–388.

Раскин 1952 — Раскин Н. М. Василий Иванович Клементьев — ученик и лаборант М. В. Ломоносова. М. — Л., 1952.

Раскин 1962 — Раскин Н. М. Химическая лаборатория М. В. Ломоносова. Химия в Петербургской академии наук во 2-й половине XVIII в. М. — Л., 1962.

Ребеккины 1998 — Ребеккины Д. Русские исторические романы 30-х годов XIX века // Новое литературное обозрение. 1998. № 34. С. 416–433.

Рихман 1956 — Рихман Г.-В. Труды по физике. М., 1956.

Ровинский 1903 — Ровинский Д. А. Обозрение иконописания в России до конца XVIII века. Описание фейерверков и иллюминаций. М., 1903.

Рысс 1951 — Рысс Е. Б. Библиография основной литературы о М. В. Ломоносове за 1911–1916 гг. // Ломоносов: сборник статей. Т. 3. М. — Л. 1951. С. 587–606.

Рытикова 2011 — Рытикова В. В. Образ М. В. Ломоносова в монументальных замыслах ленинградских скульпторов 1960–1980-х гг. // Ломоносов: сборник статей. Т. 10. СПб., 2011. С. 325–342.

Рычаловский 2006 — Рычаловский Е. Е., ред. История Московского университета (вторая половина XVIII — начало XIX века). Сборник документов. Том 1: 1754–1755. М., 2006.

Свиньин 1815 — Свиньин П. П. Опыт живописного путешествия по Северной Америке. СПб.: Тип. Ф. Дрехслера, 1815.

Свиньин 1827 — Свиньин П. П. Известие о вновь открытых рукописях Ломоносова // Отечественные записки. 1827 (сентябрь). Вып. 31. № 89. С. 489–494.

Свиньин 1834 — Свиньин П. П. Потомки и современники Ломоносова // Библиотека для чтения. 1834. Т. 2. Отд. 1. С. 213–220.

Севергин 1805 — Севергин В. М. Слово похвальное Михаилу Васильевичу Ломоносову. СПб., 1805.

Семенников 1921 — Семенников В. П. Книгоиздательская деятельность Н. И. Новикова и типографической компании. Петроград, 1921.

Серман 2001 — Серман И. З. «Слово о Ломоносове» и его место в «Путешествии из Петербурга в Москву» // Проблемы изучения русской литературы XVIII века: Межвузовский сборник научных трудов / под ред. Анненковой Е. И. и Буранок О. М. Самара, 2001. С. 222–232.

Сивков 1914 — Сивков К. В. Путешествия русских людей за границу в XVIII веке. СПб., 1914.

Смагина 1996 — Смагина Г. И. Академия наук и российская школа. Вторая половина XVIII века. СПб., 1996.

Смагина 2003 — Смагина Г. И., ред. Немцы в России: три века научного сотрудничества. СПб., 2003.

Смагина 2011 — Смагина Г. И. Княгиня и ученый: Е. Р. Дашкова и М. В. Ломоносов. СПб., 2011.

Смирнов 1855 — Смирнов С. К. История Московской славяно-греко-латинской академии. М., 1855.

Смолеговский, Соловьев 1983 — Смолеговский А. М., Соловьев Ю. И. Борис Николаевич Меншуткин: химик и историк науки. М., 1983.

Соболева 1971 — Соболева Е. В. Борьба за реорганизацию Петербургской академии наук в середине XIX века. Л., 1971.

Соболева 1983 — Соболева Е. В. Организация науки в пореформенной России. Л., 1983.

Соколов 1854 — Соколов А. П., ред. Проект Ломоносова и экспедиция Чичагова. СПб., 1854.

Соколова 1977 — Соколова Н. В. Краткий обзор английской литературы XVIII–XIX вв. о М. В. Ломоносове // Ломоносов: сборник статей и материалов. Т. 7. Л., 1977. С. 160–177.

Соловьев 1983 — Соловьев Ю. И. М. В. Ломоносов в оценке А. С. Пушкина // Вопросы истории естествознания и техники. 1983. № 4. С. 65–69.

Соловьев 1985 — Соловьев Ю. И. История химии в России. М., 1985.

Соловьев, Ушакова 1961 — Соловьев Ю. И., Ушакова Н. Н. Отражение естественнонаучных трудов М. В. Ломоносова в русской литературе XVIII и XIX вв. М., 1961.

Сомов 1983 — Сомов В. А. Н. Г. Леклерк о М. В. Ломоносове // Ломоносов: сборник статей и материалов. Т. 8. Л., 1983. С. 97–105.

Сонин 1994 — Сонин, А. С. Физический идеализм: история одной идеологической кампании. М., 1994.

Сохатский 1805 — Сохатский П. А. Слово на полувековой юбилей Московского университета. М., 1805.

Стенник 1988 — Стенник Ю. В. Веревкин, Михаил Иванович // Словарь русских писателей XVIII века. № 1. Л., 1988. С. 148–150.

Стенник 1995 — Стенник Ю. В. Пушкин и русская литература XVIII века. СПб., 1995.

Стенник 2004 — Стенник Ю. В. Идея «древней» и «новой» России в литературе и общественно-исторической мысли XVIII — начала XIX века. Санкт-Петербург, 2004.

Столетний юбилей 1855 — Столетний юбилей Императорского Московского университета. М., 1855.

Сумароков 1957 — Сумароков А. П. Избранные произведения. Л., 1957.

Сухомлинов 1861 — Сухомлинов М. И. Ломоносов — студент Марбургского университета // Русский вестник. Январь 1861. Вып. 31, № 1. С. 127–165.

Сухомлинов 1878 — Сухомлинов М. И. История Российской Академии. Т. 4. СПб., 1878.

Сухомлинов 1896 — Сухомлинов М. И. К биографии Ломоносова // Известия отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук. Т. 1. Кн. 4. СПб., 1896. С. 779–791.

Тартаковский 1991 — Тартаковский А. Г. Русская мемуаристика XVIII — первой половины XIX в. От рукописи к книге. М., 1991.

Тартаковский 1999 — Тартаковский А. Г. А. С. Пушкин и А. Н. Радищев // Отечественная история. № 1–2. 1999 (январь–февраль). С. 64–90; 1999 (март–апрель). С. 142–170.

Татаринцев 1974 — Татаринцев А. Г. «Слово о Ломоносове» А. Н. Радищева. (К проблеме творческой истории «Путешествия») // Вопросы русской и зарубежной литературы. Пермь, 1974. С. 17–36.

Терц 2005 — Терц А. (Синявский А. Д.) Прогоулки с Пушкиным. М., 2005.

Толстой 1885 — Толстой Д. А. Академический университет в XVIII столетии по рукописным документам Архива Академии наук. СПб., 1885.

Топоров 2001–2007 — Топоров В. Н. Из истории русской литературы. Т. 2: Русская литература второй половины XVIII века: исследования, материалы, публикации. М. Н. Муравьев: введение в творческое наследие. Кн. 1–3. М., 2001–2007.

Тропп 2003 — Тропп Э. А., ред. Академическая наука в Санкт-Петербурге в XVIII–XX веках: исторические очерки. СПб., 2003.

Тропп 2011 — Тропп Е. А. Физика и химия М. В. Ломоносова // Ломоносов: сборник статей. Т. 10. М. — Л. — СПб., 2011. С. 12–19.

Тропп, Смагина 2010 — Тропп Э. А., Смагина Г. И., ред. Академия наук в истории культуры России XVIII–XX веков. СПб., 2010.

Тумаркин 1997 — Тумаркин Н. Ленин жив! Культ Ленина в Советской России / Перевод с английского Сухарева С. Л. СПб.: Академ. проект, 1997.

Тункина 2000 — Тункина И. В. Лаврентий Лаврентьевич Блюментрост // Во главе первенствующего ученого сословия России: очерки жизни и деятельности президентов Императорской Санкт-Петербургской Академии наук. 1725–1917 гг. / под ред. Соловьева В. С. СПб., 2000. С. 13–28.

Тюличев 1988 — Тюличев Д. В. Книгоиздательская деятельность Петербургской академии наук и М. В. Ломоносов. Л., 1988.

Урания 1998 — Урания. Карманная книжка на 1826 год для любителей и любителей русской словесности. М., 1826. Репринт: М., 1998.

Успенский 2008 — Успенский Б. А. Вокруг Тредиаковского: труды по истории русского языка и русской культуры. М., 2008.

Ушакова, Фигуровский 1981 — Ушакова Н. Н., Фигуровский Н. А. Василий Михайлович Севергин, 1765–1826 гг. М., 1981.

Фигуровский 1957 — Фигуровский Н. А., ред. История естествознания в России. Т. 1. Часть 2. М. — Л., 1957.

Фоменко 1981 — Фоменко И. Ю. Исторические взгляды М. Н. Муравьева // XVIII век. Т. 13. 1981. С. 167–184.

Харера 2011 — Харера К. Я. Штелин и М. В. Ломоносов. Новый взгляд на их взаимоотношения по архивным источникам // Ломоносов: сборник статей. Т. 10. СПб., 2011. С. 180–182.

Хартанович 1999 — Хартанович М. Ф. Ученое сословие России: Императорская Академия наук второй четверти XIX в. СПб., 1999.

Хартанович, Копанева 2011 — Хартанович М. Ф., Копанева Н. П., ред. Михаил Васильевич Ломоносов. К 300-летию со дня рождения: по материалам Музея М. В. Ломоносова. СПб., 2011.

Цверва 1977 — Цверва Г. К. Георг Вильгельм Рихман (1711–1753). Л., 1977.

Челищев 1886 — Челищев П. И. Путешествие по северу России в 1791 году. Дневник П. И. Челищева. СПб., 1886.

Ченакал 1951 — Ченакал В. Л. Новые материалы о переписке Ломоносова с Леонардом Эйлером // Ломоносов: сборник статей и материалов. Т. 3. М. — Л., 1951. С. 249–259.

Ченакал 1958 — Ченакал В. Л. Эйлер и Ломоносов // Лаврентьев М. А., Юшкевич А. П., Григорьян А. Т., ред. Леонард Эйлер: сборник статей в честь 250-летия со дня рождения, представленных Академии наук СССР. М., 1958. С. 423–463.

Ченакал 1965 — Ченакал В. Л., ред. М. В. Ломоносов в портретах, иллюстрациях, документах. М. — Л., 1965.

Ченакал 1967 — Ченакал В. Л., ред. Музей М. В. Ломоносова в Ленинграде. Л., 1967.

Шарф 2003 — Шарф К. Основание Берлинской и Петербургской академий наук и их отношения в XVIII в. в европейской перспективе // Немцы в России: три века научного сотрудничества / под ред. Г. И. Смагиной. СПб., 2003. С. 7–38.

Шевырев 1855 — Шевырев С. П. История Императорского Московского университета, 1755–1855. М., 1855.

Шептунова 1995 — Шептунова З. И. Историографический анализ работ по истории химии в России, XVIII — начало XX в. М.: Наука, 1995.

Шмурло 1912 — Шмурло Е. Ф. Петр Великий в оценке современников и потомков. СПб., 1912.

Штелин 1850 — Штелин Я. фон. Черты и анекдоты для биографии Ломоносова, взятые с его собственных слов Штелиным // Москвитянин. 1850. № 1. С. 1–14.

Штелин 1853 — Штелин Я. фон. Конспект похвального слова Ломоносову // Москвитянин. 1853. № 3. С. 22–25.

Штелин 1990 — Штелин Я. фон. Записки Якоба Штелина об изящных искусствах в России, в 2 т. / под ред. Малиновского К. В. М., 1990.

Шубинский 2006 — Шубинский В. И. Михаил Ломоносов: всероссийский человек. СПб., 2006.

Шувалов 1962 — Шувалов, Иван Иванович // Русский биографический словарь. Т. 23. СПб., 1911; репринтное издание: Нью-Йорк, 1962. С. 476–486.

Юшкевич 1949 — Юшкевич А. П. Эйлер и русская математика в XVIII в. // Труды Института истории естествознания. 1949. № 3. С. 45–116.

Юшкевич 1968 — Юшкевич А. П. История математики в России до 1917 года. М., 1968.

Abir-Am 1982 — Abir-Am P. G. How Scientists View Their Heroes: Some Remarks on the Mechanism of Myth Construction // Journal of the History of Biology. 1982 (Summer). Vol. 15. № 2. P. 281–315.

Abir-Am, Elliot 1999 — Abir-Am P. G., Elliot C. A., eds. Osiris 1999. № 14: Commemorative Practices in Science: Historical Perspectives on the Politics of Collective Memory. Chicago: University of Chicago Press Journals, 1999.

Andrews 2003 — Andrews J. T. Science for the Masses: The Bolshevik State, Public Science, and The Popular Imagination in Soviet Russia, 1917–1934. College Station, TX: Texas A & M University Press, 2003.

Anisimov 1995 — Anisimov E. V. Empress Elizabeth: Her Reign and Her Russia, 1741–1761 / ed. and trans. by John T. Alexander. Gulf Breeze, FL: Academic International Press, 1995.

Aubin, Bigg 2007 — Aubin D., Bigg C. Neither Genius nor Context Incarnate: Norman Lockyear, Jules Janssen and the Astrophysical Self // The His-

tory and Poetics of Scientific Biography / Ed. by Söderqvist T. Burlington, VT: Ashgate, 2007. P. 41–70.

Auburger 1985 — Auburger L. Russland und Europa: Die Beziehungen M. V. Lomonosovs zu Deutschland. Heidelberg: Groos, 1985.

Azouvi 1998 — Azouvi F. Descartes // *Realms of Memory: The Construction of the French Past*. Vol. 3: Symbols / ed. P. Nora, trans. A. Goldhammer. New York: Columbia University Press, 1998. P. 483–521.

Baehr 1991 — Baehr S. L. The Paradise Myth in Eighteenth-Century Russia: Utopian Patterns in Early Secular Russian Literature and Culture. Stanford: Stanford University Press, 1991.

Bailes 1990 — Bailes K. E. Science and Russian Culture in an Age of Revolutions. V. I: Vernadsky and His Scientific School, 1863–1945. Bloomington, IN: Indiana University Press, 1990.

Baily 1835 — Baily F. An Account of the Revd. John Flamsteed, The First Astronomer-Royal Compiled from His Own Manuscripts, and Other Authentic Documents, Never Before Published. To which is Added His British Catalogue of Stars, Cor. and Enl. 1835.

Banville 1981 — Banville J. Kepler: A Novel. London: Secker & Warburg, 1981.

Barber 1955 — Barber W. H. Leibniz in France: From Arnauld to Voltaire. A Study in French Reactions to Leibnizianism, 1670–1760. Oxford: Clarendon Press, 1955.

Barthes 1972 — Barthes R. *Mythologies* / Translated by Annette Lavers. New York: Hill and Wang, 1972.

Bartlett, Hartley 1990 — Bartlett R., Hartley J. M., eds. Russia in the Age of Enlightenment: Essays for Isabel de Madariaga. New York: St. Martin's Press, 1990.

Bensaude-Vincent, Vincent 2008 — Bensaude-Vincent B., C. Vincent, eds. Science and Spectacle in the European Enlightenment. Burlington, VT: Ashgate, 2008.

Beretta 2001 — Beretta M. Imaging a Career in Science: The Iconography of Antoine Laurent Lavoisier. Canton, MA: Science History Publications, 2001.

Bethea 1998 — Bethea D. M. Realizing Metaphors: Alexander Pushkin and the Life of the Poet. Madison: University of Wisconsin Press, 1998.

Biagioli 1993 — Biagioli M. Galileo Courtier: The Practice of Science in the Culture of Absolutism. Chicago: University of Chicago Press, 1993.

Biagioli 2006 — Biagioli M. Galileo's Instruments of Credit. Chicago: University of Chicago Press, 2006.

Black 1986 — Black J. L. G.-F. Müller and the Imperial Russian Academy. Kingston and Montreal: McGill-Queen's University Press, 1986.

Boas 1952 — Boas M. The Establishment of the Mechanical Philosophy // *Osiris*. 1952. № 10. P. 412–541.

Boss 1972 — Boss V. Newton and Russia: The Early Influence, 1698–1796. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1972.

Boss 1991 — Boss V. Milton and the Rise of Russian Satanism. Toronto: University of Toronto Press, 1991.

Bradley, Sandifer 2007 — Bradley R. E., Sandifer C. E., eds. Leonhard Euler: Life, Work, and Legacy. Amsterdam: Elsevier, 2007.

Brewster 1855 — Brewster D. Memoirs of the Life, Writings, and Discoveries of Sir Isaac Newton. 2 vols. Edinburgh: Thomas Constable, 1855.

Brooks 1985 — Brooks J. When Russia Learned to Read: Literacy and Popular Literature, 1861–1917. Princeton: Princeton University Press, 1985.

Brooks 1989 — Brooks N. M. The Formation of a Community of Chemists in Russia: 1700–1870. Ph.D. dissertation, Columbia University, 1989.

Brooks 1998a — Brooks N. M. Alexander Butlerov and the Professionalization of Science in Russia // *Russian Review*. 1998 (January). Vol. 57. № 1. P. 10–24.

Brooks 1998b — The Evolution of Chemistry in Russia During the Eighteenth and Nineteenth Centuries // *The Making of the Chemist: The Social History of Chemistry in Europe, 1789–1914* / ed. David Knight and Helge Kragh. Cambridge: Cambridge University Press, 1998. P. 163–176.

Brooks 2000 — Brooks J. Thank You, Comrade Stalin! Soviet Public Culture from Revolution to Cold War. Princeton: Princeton University Press, 2000.

Calinger 1971 — Calinger R. S. The Introduction of the Newtonian Natural Philosophy into Russia and Prussia (1725–1772). Ph.D. dissertation, University of Chicago, 1971.

Calinger 1975/1976 — Calinger R. S. Euler's «Letters to a Princess of Germany» as an Expression of his Mature Scientific Outlook // *Archive for History of Exact Sciences* / ed. C. Truesdell. Vol. 1. 1975/1976. P. 211–233.

Calinger 1996 — Calinger R. S. Leonhard Euler: The First Petersburg Years (1727–1741) // *Historia Mathematica*. 1996. Vol. 23. P. 121–166.

Cantor 1996 — Cantor G. The Scientist as Hero: Public Images of Michael Faraday // *Telling Lives in Science: Essays on Scientific Biography* / ed. M. Shortland and R. Yeo. Cambridge: Cambridge University Press, 1996. P. 171–191.

Carver 1980 — Carver J. S. A Reconsideration of Eighteenth-Century Russia's Contributions to Science // *Canadian-American Slavic Studies*. 1980 (Fall). Vol. 14. № 3. P. 389–405.

Chaplin 2006 — Chaplin J. E. *The First Scientific American: Benjamin Franklin and the Pursuit of Genius*. New York: Basic Books, 2006.

Cherniavsky 1969 — Cherniavsky M. *Tsar and People: Studies in Russian Myths*, 2nd ed. New York: Random House, 1969.

Chrissidis 2000 — Chrissidis N. A. *Creating the New Educated Elite: Learning and Faith in Moscow's Slavo-Greco-Latin Academy, 1685–1694*. Ph.D. dissertation, Yale University, 2000.

Clark et al. 1999 — Clark W., Golinski J., Schaffer S., eds. *The Sciences in Enlightened Europe*. Chicago: University of Chicago Press, 1999.

Cohen 1990 — Cohen I. B. *Benjamin Franklin's Science*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1990.

Collis 2007 — Collis R. *The Petrine Instauration: Religion, Esotericism and Science at the Court of Peter the Great, 1689–1735*. Turku, Finland: Turku University, 2007.

Cracraft 1988 — Cracraft J. *The Petrine Revolution in Russian Architecture*. Chicago: University of Chicago Press, 1988.

Cracraft 1991 — Cracraft J. ed. *Peter the Great Transforms Russia*, 3rd ed. Lexington, MA: D.C. Heath and Co., 1991.

Cracraft 1997 — Cracraft J. *The Petrine Revolution in Russian Imagery*. Chicago: University of Chicago Press, 1997.

Cracraft 2004 — Cracraft J. *The Petrine Revolution in Russian Culture*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2004.

Dashkova 1995 — Dashkova E. *The Memoirs of Princess Dashkova* / ed. and trans. by K. Fitzlyon; introduction by J. M. Gheith; afterword by A. Woronzoff-Dashkoff. Durham, NC: Duke University Press, 1995.

David-Fox 1998 — David-Fox M. *Symbiosis to Synthesis: The Communist Academy and the Bolshevization of the Russian Academy of Sciences, 1918–1929* // *Jahrbucher fur Geschichte Osteuropas*. 1998. Vol. 46. № 2. P. 219–243.

Dear 2001 — Dear P. *Revolutionizing the Sciences: European Knowledge and Its Ambitions, 1500–1700*. Princeton: Princeton University Press, 2001.

Debreczeny 1997 — Debreczeny P. *Social Functions of Literature: Alexander Pushkin and Russian Culture*. Stanford: Stanford University Press, 1997.

Delbourgo 2006 — Delbourgo J. *A Most Amazing Scene of Wonders: Electricity and Enlightenment in Early America*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2006.

Dobrenko 2008 — Dobrenko E. *Stalinist Cinema and the Production of History: Museum of the Revolution*. New Haven: Yale University Press, 2008.

Dvoichenko-Markov 1947 — Dvoichenko-Markov E. [Dvoichenko-Markoff E.] Benjamin Franklin, the American Philosophical Society, and the Russian Academy of Science // *Proceedings of the American Philosophical Society*. 1947. Vol. 91. № 3. P. 250–257.

Dvoichenko-Markov 1950 — Dvoichenko-Markov E. The American Philosophical Society and Early Russian-American Relations // *Proceedings of the American Philosophical Society*. 1950. Vol. 94. № 6. P. 549–610.

Evdokimova 1999 — Evdokimova S. *Pushkin's Historical Imagination*. New Haven: Yale University Press, 1999.

Fara 2002a — Fara P. *An Entertainment for Angels: Electricity in the Enlightenment*. Cambridge: Icon Books, 2002.

Fara 2002b — Fara P. *Newton: The Making of Genius*. London: Macmillan, 2002.

Feingold 2004 — Feingold M. *The Newtonian Moment: Isaac Newton and the Making of Modern Culture*. Oxford: Oxford University Press, 2004.

Fellmann 1995 — Fellmann E. A. *Leonhard Euler*. Hamburg: Rowohlt Taschenbuch, 1995.

Franklin 1968 — Franklin B. *The Papers of Benjamin Franklin*. Vol. 12: January 1 through December 31, 1765 / edited by L. W. Labaree. New Haven: Yale University Press, 1968.

Freeze 1986 — Freeze G. L. The Soslovie (Estate) Paradigm and Russian Social History // *American Historical Review*. 1986 (February). Vol. 91. № 1. P. 11–36.

Fuss 1783 — Fuss N. *Eloge de Monsieur Léonard Euler, lu à l'Académie impériale des sciences de S.-Petersbourg dans son assemblée du 23 octobre 1783 par M. Nicolas Fuss* // *Nova Acta Academiae scientiarum imperialis Petropolitanae*. 1783. Vol. 1. P. 159–212.

Gascoigne 1996 — Gascoigne J. The Scientist as Patron and Patriotic Symbol: the Changing Reputation of Sir Joseph Banks // *Telling Lives in Science: Essays on Scientific Biography* / ed. M. Shortland and R. Yeo. Cambridge: Cambridge University Press, 1996. P. 243–265.

Gasiorowska 1979 — Gasiorowska X. *The Image of Peter the Great in Russian Fiction*. Madison, WI: University of Wisconsin Press, 1979.

Gasparov et al. 1992 — Gasparov B., Hughes R. P., Paperno I., eds. *Cultural Mythologies of Russian Modernism: From the Golden Age to the Silver Age*. Berkeley, University of California Press, 1992.

Gillis 1994 — Gillis J. R., ed. *Commemorations: The Politics of National Identity*. Princeton: Princeton University Press, 1994.

Gingerich 1999 — Gingerich O. The Copernican Quinquecentennial and its Predecessors: Historical Insights and National Agendas // *Osiris* 1999. № 14: Commemorative Practices in Science: Historical Perspectives on the Politics of Collective Memory / Ed. by Abir-Am P. G., Elliot C. A. Chicago: University of Chicago Press Journals, 1999. P. 37–60.

Gleason 1994 — Gleason W. J. Moral Idealists, Bureaucracy, and Catherine the Great. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press, 1981.

Golinski 2003 — Golinski J. Science as Public Culture: Chemistry and Enlightenment in Britain, 1760–1820. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.

Golinski 2011 — Golinski J. Humphry Davy: The Experimental Self // *Eighteenth-Century Studies*. 2011. Vol. 45. № 1. P. 15–28.

Gordin 2000 — Gordin M. D. The Importance of Being Earnest: The Early St. Petersburg Academy of Sciences // *ISIS*. 2000 (March). Vol. 91. № 1. P. 1–31.

Gordin 2004 — Gordin M. D. A Well-Ordered Thing: Dmitrii Mendeleev and the Shadow of the Periodic Table. New York: Basic Books, 2004.

Gordin 2008 — Gordin M. D. The Heidelberg Circle: German Inflections on the Professionalization of Russian Chemistry in the 1860s // *OSIRIS*. 2008. № 23: *Intelligentsia Science: The Russian Century, 1860–1960* / Ed. by M. D. Gordin, K. Hall, A. Kojevnikov. 2008. P. 23–49.

Graham 1967 — Graham L. R. The Soviet Academy of Sciences and the Communist Party, 1927–1932. Princeton: Princeton University Press, 1967.

Graham 2001 — Graham L. R. The Birth, Withering, and Rebirth of Russian History of Science // *Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History*. 2001 (Spring). Vol. 2. № 2. P. 329–340.

Greenblatt 1980 — Greenblatt S. Renaissance Self-Fashioning: From More to Shakespeare. Chicago: University of Chicago Press, 1980.

Greenfeld 1992 — Greenfeld L. Nationalism: Five Roads to Modernity. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1992.

Griffiths 1982 — Griffiths D. M. In Search of Enlightenment: Recent Soviet Interpretation of Eighteenth-Century Russian Intellectual History. // *Canadian-American Slavic Studies*. 1982 (Fall-Winter). Vol. 16. № 3–4. P. 317–356.

Guerrier 1873 — Guerrier W. Leibniz in seinen Beziehungen zu Russland und Peter dem Grossen. St. Petersburg, 1873.

Hall 1999 — Hall A. R. Isaac Newton: Eighteenth-Century Perspectives. Oxford: Oxford University Press, 1999.

Hankins 1979 — Hankins T. L. In Defense of Biography: The Use of Biography in the History of Science. // *History of Science*. 1979 (March). Vol. 17. № 35. P. 1–16.

Haynes 1994 — Haynes R. D. *From Faust to Strangelove: Representations of the Scientist in Western Literature*. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1994.

Heilbron 1979 — Heilbron J. L. *Electricity in the 17th and 18th Centuries: A Study of Early Modern Physics*. Berkeley: University of California Press, 1979.

Heilbron 1999 — Heilbron J. L. Galvani, Volta, and the Uses of Centennials // *Luigi Galvani International Workshop: Proceedings, Bologna, 9 October 1998* / edited by Marco Bresadola and Guiliano Pancaldi. Bologna: University of Bologna, 1999. P. 17–32.

Higgitt 2007 — Higgitt R. *Recreating Newton: Newtonian Biography and the Making of Nineteenth-Century History of Science*. London: Pickering & Chatto, 2007.

Hoffmann 2005 — Hoffmann P. Gerhard Friedrich Muller (1705–83): Historiker, Geograph, Archivar im Dienste Russlands. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2005.

Hoffmann 2011 — Hoffmann P. Michail Vasil'evic Lomonosov (1711–1765): Ein Enzyklopädist im Zeitalter der Aufklärung. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2011.

Holloway 1994 — Holloway D. *Stalin and the Bomb: The Soviet Union and Atomic Energy, 1939–1956*. New Haven: Yale University Press, 1994.

Home 1973 — Home R. W. Science as a Career in Eighteenth-Century Russia: The Case of F. U. T. Aepinus // *Slavonic and East European Review*. 1973 (January). Vol. 51. № 122. P. 75–94.

Home 1988 — Home R. W. Leonhard Euler's «Anti-Newtonian» Theory of Light // *Annals of Science*. 1988 (September). Vol. 45. № 5. P. 521–533.

Huang 1994 — Huang N.-S. *Benjamin Franklin in American Thought and Culture, 1790–1990*. Philadelphia: American Philosophical Society, 1994.

Hufbauer 1982 — Hufbauer K. *The Formation of the German Chemical Community (1725–1795)*. Berkeley: University of California Press, 1982.

Hughes 1998 — Hughes L. *Russia in the Age of Peter the Great*. New Haven: Yale University Press, 1998.

Hughes 2002 — Hughes L. *Peter the Great: A Biography*. New Haven: Yale University Press, 2002.

Hunter 1994 — Hunter M., ed. *Robert Boyle by Himself and His Friends, with a Fragment of William Wotton's Lost «Life of Boyle»*. London: William Pickering, 1994.

Hunter 1996 — Hunter M. Robert Boyle and the Dilemma of Biography in the Age of Scientific Revolution // *Telling Lives in Science: Essays on Scientific Biography* / ed. M. Shortland and R. Yeo. Cambridge: Cambridge University Press, 1996. P. 115–138.

Huntington 1959 — Huntington W. C. Michael Lomonosov and Benjamin Franklin: Two Self-Made Men of the Eighteenth Century // *Russian Review*. 1959 (October). Vol. 18. № 4. P. 294–306.

Iushkevich, Winter 1959–1976 — Iushkevich A. P., Winter E., eds. *Die Berliner und die Petersburger Akademie der Wissenschaften im Briefwechsel Leonhard Eulers*. 3 volumes. Berlin: Akademie-Verlag, 1959–1976.

Jones 1984 — Jones W. G. Nikolay Nokivov: Enlightener of Russia. Cambridge: Cambridge University Press, 1984.

Jones 1989 — Jones W. G. *Biography in Eighteenth-Century Russia* // *Oxford Slavonic Papers*. 1989. Vol. 22. P. 58–80.

Jones 1990 — Jones W. G. *The Image of the Eighteenth-Century Russian Author* // *Russia in the Age of the Enlightenment: Essays for Isabel de Madariaga* / ed. by Roger Bartlett and Janet Hartley. New York: St. Martin's Press, 1990. P. 63–64.

Joravsky 1955 — Joravsky D. Soviet Views on the History of Science // *ISIS*. 1955. Vol. 46. № 143. P. 3–13.

Joravsky 1961 — Joravsky D. *Soviet Marxism and Natural Science, 1917–1932*. New York: Columbia University Press, 1961.

Joravsky 1998 — Joravsky D. The Perpetual Province: «Ever Climbing up the Climbing Wave». // *Russian Review*. 1998 (January). Vol. 57. № 1. P. 1–9.

Josephson 2000 — Josephson P. *Stalinism and Science: Physics and Philosophical Disputes in the USSR, 1930–1955* // *Academia in Upheaval: Origins, Transfers, and Transformations of the Communist Academic Regime in Russia and East Central Europe* / edited by M. David-Fox and G. Peteri. Westport, T: Bergin & Garvey, 2000. P. 105–138.

Kahn 2000 — Kahn A. Self and Sensibility in Radishchev's *Puteshestvie iz Peterburga v Moskvu*: Dialogism and the Moral Spectator // *Oxford Slavonic Papers*. 1997. Vol. 30. P. 40–66.

Kapitsa 1967 — Kapitsa P. L. *Lomonosov and World Science* // *Collected Papers of P. L. Kapitsa*. Vol. 3 / ed. by D. Ter Haar. Oxford: Pergamon Press, 1967. P. 168–184.

Kelly 2005 — Kelly C. *Comrade Pavlik: The Rise and Fall of a Soviet Boy Hero*. London: Granta, 2005.

Knight, Kragh 1998 — Knight D., Kragh H., eds. *The Making of the Chemist: The Social History of Chemistry in Europe, 1789–1914*. Cambridge: Cambridge University Press, 1998.

Kojevnikov 2004 — Kojevnikov A. B. *Stalin's Great Science: The Times and Adventures of Soviet Physicists*. London: Imperial College Press, 2004.

Korshin 1974 — Korshin P. J. *The Development of Intellectual Biography in the Eighteenth Century* // *Journal of English and Germanic Philology*. 1974 (October). Vol. 73. № 4. P. 513–523.

Koyré 1957 — Koyré A. *From the Closed World to the Infinite Universe*. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1957.

Kragh 1987 — Kragh H. *An Introduction to the Historiography of Science*. Cambridge: Cambridge University Press, 1987.

Kragh 2007 — Kragh H. *Received Wisdom in Biography: Tycho Biographies from Gassendi to Christianson* // *The History and Poetics of Scientific Biography* / Ed. by Söderqvist T. Burlington, VT: Ashgate, 2007. P. 121–133.

Krementsov 1997 — Krementsov N. *Stalinist Science*. Princeton: Princeton University Press, 1997.

Latour 1988 — Latour B. *The Pasteurization of France* / Translated by Alan Sheridan and John Law. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1988.

Leckey 2010 — Leckey C. *What is Prosveshchenie? Nikolai Novikov's Historical Dictionary of Russian Writers Revisited* // *Russian History*. 2010. Vol. 37. P. 360–377.

Leicester 1967 — Leicester H. M. Boyle, Lomonosov, Lavoisier, and the Corpuscular Theory of Matter // *ISIS*. 1967 (Summer). Vol. 58. № 192. P. 240–245.

Levitt 1989 — Levitt M. C. *Russian Literary Politics and the Pushkin Celebration of 1880*. Ithaca, NY: Cornell University Press, 1989.

Levitt 1995 — Levitt M. C., ed. *Dictionary of Literary Biography*. Vol. 150: *Early Modern Russian Writers: Late Seventeenth and Eighteenth Centuries*. Detroit: Gale Research Company, 1995.

Levitt 1998 — Levitt M. C. *An Antidote to Nervous Juice: Catherine the Great's Debate with Chappe d'Auteroche over Russian Culture* // *Eighteenth-Century Studies*. 1998. Vol. 32. № 1. P. 49–63.

Levitt 2012 — Levitt M. C. *The Visual Dominant in Eighteenth-Century Russia*. DeKalb, IL: Northern Illinois University Press, 2012.

Liechtenhan 2002 — Liechtenhan F.-D. Jacob von Stahlin, academicien et courtesan. // *Cahiers du monde russe* 43, no 2–3 (2002): 321–332.

Livingstone 2003 — Livingstone D. N. *Putting Science in its Place: Geographies of Scientific Knowledge*. Chicago: University of Chicago Press, 2003.

Lomonosov 1970 — Lomonosov M. V. Mikhail Vasil'evich Lomonosov on the Corpuscular Theory / translated and with an introduction by H. M. Leicester. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1970.

Lotman, Uspenskii 1984 — Lotman Iu. M., Uspenskii B. A. The Semiotics of Russian Culture / Ed. by Ann Shukman; trans. by N. F. C. Owen. Ann Arbor, MI: Department of Slavic Languages and Literatures, University of Michigan, 1984.

Maggs 1976 — Maggs B. W. Firework Art and Literature: Eighteenth-Century Pyrotechnical Tradition in Russia and Western Europe // Slavonic and East European Review. 1976 (January). Vol. 54. № 1. P. 24–40.

Manuel 1968 — Manuel F. E. A Portrait of Isaac Newton. New York: De Capo, 1968.

Marker 2009 — Marker G. Standing in St. Petersburg Looking West, Or, Is Backwardness All There Is? // Republic of Letters: A Journal for the Study of Knowledge, Politics, And the Arts. 2009 (May). Vol. 1. № 1.

McClellan 1985 — McClellan J. E. III. Science Reorganized: Scientific Societies in the Eighteenth Century. New York: Columbia University Press, 1985.

McClelland 1979 — McClelland J. C. Autocrats and Academics. Chicago: University of Chicago Press, 1979.

McConnell 1964 — McConnell Allen. A Russian Philosopher: Alexander Radishchev. The Hague: M. Nijhoff, 1964.

Menshutkin 1952 — Menshutkin B. N. Russia's Lomonosov: Chemist, Courtier, Physicist, Poet. / Translated by J. E. Thal and E. J. Webster. Princeton: Princeton University Press, 1952.

Mühlpfordt 1952 — Mühlpfordt G. Deutsch-russische Wissenschaftsbeziehungen in der Zeit der Aufklärung. Christian Wolff und die Gründung der Petersburger Akademie der Wissenschaften // 450 Jahre Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Vol. 2 / edited by Leo Stern. Halle 1952. S. 169–197.

Murav'ev 1995 — Murav'ev M. N. Institutiones Rhetoricae. A Treatise of a Russian Sentimentalist / edited and with an introduction by Andrew Kahn. Oxford: Willem A. Meeuws, 1995.

Newman 2006 — Newman W. R. Atoms and Alchemy: Chymistry & the Experimental Origins of the Scientific Revolution. Chicago: University of Chicago Press, 2006.

Nora 1998 — Nora P., ed. Realms of Memory: The Construction of the French Past. Vol. 3: Symbols / translated by A. Goldhammer. New York: Columbia University Press, 1996–1998.

Nye 2006 — Nye M. J. Scientific Biography: History of Science by Another Means? // *ISIS*. 2006 (June). Vol. 97. № 2. P. 322–329.

Okenfuss 1995 — Okenfuss M. J. The Rise and Fall of Latin Humanism in Early Modern Russia: Pagan Authors, Ukrainians, and the Resiliency of Muscovy. Leiden: E. J. Brill, 1995.

Ospovat 2011 — Ospovat K. Mikhail Lomonosov Writes to his Patron: Professional Ethos, Literary Rhetoric and Social Ambition // *Jahrbücher für Geschichte Osteuropas*. 2011. Vol. 59. № 2. P. 240–266.

Outram 1976 — Outram D. Scientific Biography and the Case of Georges Cuvier: With a Critical Bibliography // *History of Science*. 1976 (June). Vol. 14. № 24. P. 101–137.

Outram 1978 — Outram D. The Language of Natural Power: The «Eloges» of Georges Cuvier and the Public Language of Nineteenth-Century Science // *History of Science*. 1978 (September). Vol. 16. № 33. P. 153–178.

Outram 1984 — Outram D. Georges Cuvier: Science, Vocation and Authority in Post-Revolutionary France. Manchester: Manchester University Press, 1984.

Outram 1996 — Outram D. Life-Paths: Autobiography, Science and the French Revolution // *Telling Lives in Science: Essays on Scientific Biography* / ed. M. Shortland and R. Yeo. Cambridge: Cambridge University Press, 1996. P. 85–102.

Pancaldi 2003 — Pancaldi G. Volta: Science and Culture in the Age of Enlightenment. Princeton: Princeton University Press, 2003.

Paul 1980 — Paul C. B. Science and Immortality: The Eloges of the Paris Academy of Sciences (1699–1791). Berkeley: University of California Press, 1980.

Plamper 2012 — Plamper J. The Stalin Cult: A Study in the Alchemy of Power. New Haven: Yale University Press, 2012.

Platt 2011 — Platt K. M. F. Terror and Greatness: Ivan and Peter as Russian Myths. Ithaca, NY: Cornell University Press, 2011.

Poirier 1996 — Poirier J.-P. Lavoisier: Chemist, Biologist, Economist / Translated by R. Balinski. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1996.

Pollock 2006 — Pollock E. Stalin and the Soviet Science Wars. Princeton: Princeton University Press, 2006.

Pomper 1962 — Pomper P. Lomonosov and the Discovery of the Law of the Conservation of Matter in Chemical Transformations // *Journal of the Society for the Study of Alchemy and Early Chemistry (Ambix)*. 1962 (October). Vol. 10. № 3. P. 119–127.

Prince 2006 — Prince S. A., ed. *The Princess & The Patriot: Ekaterina Dashkova, Benjamin Franklin, and the Age of Enlightenment*. Philadelphia: American Philosophical Society, 2006.

Pushkin 1998 — Pushkin A. S. *Pushkin on Literature* / Edited and translated by T. Wolff. Evanston, IL: Northwestern University Press, 1998.

Rabiqueau 1753 — Rabiqueau C. *Lettre électrique sur la mort de M. Richmann*. Paris, 1753.

Raeff 1978 — Raeff M. *Russian Intellectual History and its Historiography* // *Forschungen Zur Osteuropäischen Geschichte*. 1978. Vol. 25. P. 297–303.

Reyffman 1990 — Reyffman I. V. *Vasilii Trediakovsky: The Fool of the «New» Russian Literature*. Stanford: Stanford University Press, 1990.

Riasanovsky 1985 — Riasanovsky N. V. *The Image of Peter the Great in Russian History and Thought*. New York: Oxford University Press, 1985.

Rice 1996 — Rice A. *Augustus De Morgan: Historian of Science* // *History of Science*. 1996 (June 1996). Vol. 34. № 104. C. 201–240.

Richter 1946 — Richter L. *Leibniz und sein Russlandbild*. Berlin: Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin, 1946.

Röhling 1983 — Röhling H. *Illustrated Publications on Fireworks and Illuminations in Eighteenth-Century Russia* // A. G. Cross, ed. *Russia and the West in the Eighteenth Century* / ed. by A. G. Cross. Newtonville, MA: Oriental Research Partners, 1983. P. 94–100.

Rupke 2008 — Rupke N. A. *Alexander von Humboldt: A Metabiography*. Chicago: University of Chicago Press, 2008.

Ryan 1990 — Ryan W. F. *Navigation and the Modernization of Petrine Russia: Teachers, Textbooks, and Terminology* // *Russia in the Age of Enlightenment: Essays for Isabel de Madariaga* / ed. by Roger Bartlett and Janet Hartley. New York: St. Martin's Press, 1990. P. 75–105.

Sandler 2004 — Sandler S. *Commemorating Pushkin: Russia's Myth of a National Poet*. Stanford: Stanford University Press, 2004.

Scheibert 1977 — Scheibert P. *Lomonosov, Christian Wolff und die Universität Marburg* // *Academia Marburgensis: Beiträge zur Geschichte der Philipps-Universität Marburg* / edited by Walter Heinemeyer, Thomas Klein, and Hellmut Seier. Marburg, 1977. P. 231–240.

Schenck 2004 — Schenck F. B. *Aleksandr Nevskij: Heiliger — Fürst — Nationalheld. Eine Erinnerungsfigur im russischen kulturellen Gedächtnis (1263–2000)*. Köln: Böhlau, 2004.

Schönle 2000 — Schönle A. *Authenticity and Fiction in the Russian Literary Journey, 1790–1840*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2000.

Schulze 1985 — Schulze L. The Russification of the St. Petersburg Academy of Sciences and Arts in the Eighteenth Century // *British Journal for the History of Science*. 1985. Vol. 18. P. 305–335.

Serman 1988 — Serman I. Z. Mikhail Lomonosov: Life and Poetry / translated by S. Hoffman. Jerusalem: Hebrew University of Jerusalem, 1988.

Shank 2008 — Shank J. B. The Newton Wars and the Beginning of the French Enlightenment. Chicago: University of Chicago Press, 2008.

Shapin 1994 — Shapin S. A Social History of Truth: Civility and Science in Seventeenth-Century England. Chicago: University of Chicago Press, 1994.

Shapin 2003 — Shapin S. The Image of the Man of Science // *The Cambridge History of Science*. Vol. 4: Eighteenth-Century Science / edited by Roy Porter. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. P. 159–183.

Shapin 2008 — Shapin S. The Scientific Life: A Moral History of a Late Modern Vocation. Chicago: University of Chicago Press, 2008.

Shapin, Schaffer 1985 — Shapin S., Schaffer S. *Leviathan and the Air Pump: Hobbes, Boyle, and the Experimental Life*. Princeton: Princeton University Press, 1985.

Shortland, Yeo 1996 — Shortland M., Yeo R., eds. *Telling Lives in Science: Essays on Scientific Biography*. Cambridge: Cambridge University Press, 1996.

Sinding 1999 — Sinding C. Claude Bernard and Louis Pasteur: Contrasting Images through Public Commemorations // *Osiris* 1999. № 14: Commemorative Practices in Science: Historical Perspectives on the Politics of Collective Memory/ Ed. by Abir-Am P. G., Elliot C. A. Chicago: University of Chicago Press Journals, 1999. P. 61–85.

Slater 1999 — Slater W. The Patriots' Pushkin // *Slavic Review*. 1999 (Summer). Vol. 58. № 2. P. 407–427.

Smith 1912 — Smith A. An Early Physical Chemist — M. W. Lomonosoff // *The Journal of the American Chemical Society*. 1912 (February). Vol. 34. № 2. P. 109–119.

Smith 1988 — Smith G. S. The Most Proximate West: Russian Poets and the German Academicians, 1728–41 // *Russia and the World of the Eighteenth Century* / edited by R. P. Bartlett, A. G. Cross, and Karen Rasmussen. Columbus, Ohio: Slavica Publishers, 1988. P. 360–370.

Söderqvist 1996 — *Existential Projects and Existential Choice in Science: Science Biography as an Edifying Genre* // *Telling Lives in Science: Essays on Scientific Biography* / Ed. by Shortland M., Yeo R. Cambridge: Cambridge University Press, 1996. P. 45–84.

Söderqvist 2007 — Söderqvist T., ed. *The History and Poetics of Scientific Biography*. Burlington, VT: Ashgate, 2007.

Sonntag 1974 — Sonntag O. The Motivations of the Scientist: The Self-Image of Albrecht von Haller // *ISIS*. 1974 (September). Vol. 65. № 228. P. 336–351.

Staehtlin 1785 — Staehtlin J. von. *Originalanekdoten von Peter dem Grossen*. Leipzig, 1785.

Stewart 1993 — Stewart L. *The Rise of Public Science: Rhetoric, Technology, and Natural Philosophy in Newtonian Britain, 1600–1750*. Cambridge: Cambridge University Press, 1993.

Swoboda, Whisenhunt 2008 — Swoboda M., Whisenhunt W. B. *A Russian Paints America: The Travels of Pavel P. Svin'in, 1811–1813*. Montreal: McGill-Queen's University Press, 2008.

Terras 1983 — Terras V. Some Observations on Pushkin's Image in Russian Literature // *Russian Literature*. 1983. Vol. 14. P. 296–316.

Thaden 1999 — Thaden E. C. *The Rise of Historicism in Russia*. New York: Peter Lang, 1999.

Theerman 1985 — Theerman P. Unaccustomed Role: The Scientist as Historical Biographer — Two Nineteenth-Century Portrayals of Newton // *Biography*. 1985 (Spring). Vol. 8. № 2. P. 145–162.

Todd 1986 — Todd W. M. III. *Fiction and Society in the Age of Pushkin: Ideology, Institutions, and Narrative*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1986.

Tolz 1997 — Tolz V. *Russian Academicians and the Revolution: Combining Professionalism and Politics*. New York: St. Martin's Press, 1997.

Trigos 2009 — Trigos L. A. *The Decembrist Myth in Russian Culture*. New York: Palgrave Macmillan, 2009.

Tumarkin 1997 — Tumarkin N. *Lenin Lives! The Lenin Cult in Soviet Russia*. Enlarged Edition, Cambridge, MA: Harvard University Press, 1997.

Vicinus 1996 — *Tactful Organising and Executive Power: Biographies of Florence Nightingale for Girls* // *Telling Lives in Science: Essays on Scientific Biography* / ed. M. Shortland and R. Yeo. Cambridge: Cambridge University Press, 1996. P. 195–213.

Voltaire 1970 — Voltaire F. M. A. de. *Correspondence and Related Documents, VIII, May 1741 — October 1743* // *Les Oeuvres Complètes De Voltaire*. Vol. 15 / Edited by Theodore Besterman et al. Geneva: Institut et Musée Voltaire, 1970.

Voltaire 1981 — Voltaire F. M. A. de. *Candide* / Translated by Donald M. Frame. Reprint, New York: New American Library, 1981.

Voltaire 1992 — Voltaire F. M. A. de. *Eléments de la philosophie de Newton* // *Les Oeuvres Complètes De Voltaire*. Vol. 92 / edited by W. H. Barber and Ulla Kolvig. Oxford: Voltaire Foundation, 1992.

Vroon 1978 — Vroon G. D. L. *The Making of the Medieval Russian Journey*. Ph. D. dissertation, University of Michigan, 1978.

Vucinich 1963 — Vucinich A. *Science in Russian Culture: A History to 1860*. Stanford: Stanford University Press, 1963.

Vucinich 1970 — Vucinich A. *Science in Russian Culture: 1861–1917*. Stanford: Stanford University Press, 1970.

Vucinich 1982 — Vucinich A. *Soviet Marxism and the History of Science* // *Russian Review*. 1982 (April). Vol. 41. № 2. P. 123–143.

Vucinich 1984 — Vucinich A. *Empire of Knowledge: The Academy of Sciences of the USSR (1917–1970)*. Berkeley: University of California Press, 1984.

Wachtel 1994 — Wachtel A. *An Obsession with History: Russian Writers Confront their Past*. Stanford: Stanford University Press, 1994.

Watson 1753 — Watson W. *An Answer to Dr. Lining's query Relating to the Death of Professor Richman* // *Philosophical Transactions of the Royal Society*. 1753. Vol. 48. P. 765–772.

Werrett 2000 — Werrett S. *An Odd Sort of Exhibition: The St. Petersburg Academy of Sciences in Enlightened Europe*. Ph.D. dissertation, Cambridge University, 2000.

Werrett 2010a — Werrett S. *Fireworks: Pyrotechnic Arts and Sciences in European History*. Chicago: University of Chicago Press, 2010.

Werrett 2010b — Werrett S. *The Schumacher Affair: Reconfiguring Academic Expertise across Dynasties in Eighteenth-Century Russia* // *Osiris*. 2010. Vol. 25. № 1. P. 104–126.

Whittaker 1984 — Whittaker C. H. *The Origins of Modern Russian Education: An Intellectual Biography of Count Sergei Uvarov, 1786–1855*. DeKalb, IL: Northern Illinois University Press, 1984.

Wilberger 1976 — Wilberger C. H. *Voltaire's Russia: Window on the East*. Oxford: Voltaire Foundation, 1976. (*Studies on Voltaire and the Eighteenth Century*, vol. CLXIV).

Winter 1958 — Winter E., ed. *Die deutsch-russische Begegnung und Leonhard Euler: Beiträge zu den Beziehungen zwischen der deutschen und der russischen Wissenschaft und Kultur im 18. Jahrhundert*. Berlin: Akademie-Verlag, 1958.

Winter 1962 — Winter E., ed. *Lomonosov, Schläzer, Pallas: Deutsch-russische Wirtschaftsbeziehungen im 18. Jahrhundert*. Berlin, Akademie-Verlag, 1962.

Winter 1964 — Winter E. L. *Blumentrost d. J. und die Anfänge der Peterburger Akademie der Wissenschaften. Nach Aufzeichnungen von K. F. Sven-*

ske // Jahrbuch für Geschichte der UdSSR und der volkdemokratischer Länder Europas. Vol. 8. Berlin, 1964. P. 247–269.

Wirtschafter 1997 — Wirtschafter E. K. *Social Identity in Imperial Russia*. DeKalb, IL: Northern Illinois University Press, 1997.

Wolff 1860 — Wolff C. *Briefe von Christian Wolff aus den Jahren 1719–1753. Ein Beitrag zur Geschichte der Kaiserlichen Academie der Wissenschaften zu St. Petersburg*. St. Petersburg, 1860.

Wortman 1995 — Wortman R. S. *Scenarios of Power: Myth and Ceremony in Russian Monarchy*. Vol. 1. Princeton: Princeton University Press, 1995.

Yeo 1988 — Yeo R. *Genius, Method and Morality: Images of Newton in Britain, 1760–1860 // Science in Context*. 1988 (Autumn). Vol. 2. № 2. P. 257–284.

Zacher 1976 — Zacher C. K. *Curiosity and Pilgrimage: The Literature of Discovery in Fourteenth-Century England*. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1976.

Именной указатель

- Абир-Ам Пнина Джеральдин 242
Агеева Ольга Гениевна 118
Адодуrow Василий Евдокимович 93, 163
Азуви Франсуа 16
Аксаков Константин Сергеевич 157
Александр Невский 253
Александр I 99, 100, 150
Александр, великий князь 100; см. Александр I
Алексеев Михаил Павлович 146
Андреев Александр Игнатьевич 198
Андреев Андрей Юрьевич 37, 54, 100
Анисимов Евгений Викторович 28, 29, 46
Анна, российская императрица 167
Анненков Павел Васильевич 194
Араго Доминик Франсуа 174
Аристотель 188
Аутрам Доринда 34, 35, 37
- Бабкин Дмитрий Семенович 18, 74, 85, 112
Бакон Воруламский 118, 152
Барт Ролан 166
- Бахтин Михаил Михайлович 111, 151
Бейли Ф. 169
Бекетов Николай Николаевич 202
Белинский Виссарион Григорьевич 9, 159
Белявский Михаил Тимофеевич 101, 176, 177
Бенкендорф Александр Христофорович 149
Беньян Джон 36
Путешествие Пилигрима 36
Беретта М. 39
Берков Павел Наумович 10, 71, 73, 193, 194, 237
Бернет Гилберт 80
Бернулли Даниил 162, 163, 234
Бернулли Джон (Иоганн) 59
Берч Томас 81
Бестужев Александр Александрович 146, 147
Бешенковский Е. В. 13, 142, 165, 207
Бильфингер Георг Бернгард 162
Биларский Петр Спиридонович 63, 64, 138, 195, 196, 207
Био Жан-Батист 136
Блэк Дж. Л. 64

- Блюментрост Лаврентий Лаврентьевич 164
Боас М. 216, 217
Бобров Семен Сергеевич 108
 Таврида (1798) 108
Бойль Роберт 28, 33, 40, 59, 80, 186, 222–224
Босс В. 8, 51, 187
Браун Иосиф Адам 62
Бродский Иосиф Александрович 248
Брукс Натан 15, 40, 130
Брюстер Дейвид 169, 170
Будилович Антон Семенович 196, 207
Булгарин Фаддей Венедиктович 144
Бьяджоли М. 27
Бэкон Фрэнсис 118, 124, 152, 153, 156
Бэнвилл Д. 214
Бэнкс Д. 39, 153

Вавилов Сергей Иванович 183, 201, 208, 232, 237, 245
Васецкий Григорий Степанович 122, 134
Вахтель Эндрю 151
Вельтман Александр Фомич 60, 65
Веревкин Михаил Иванович 21, 74, 75, 80, 81, 84–98, 112, 121, 127, 128, 165–167, 171, 211, 241
 Жизнь покойного Михаила Васильевича Ломоносова (1784) 74, 81, 85
Вернадский Владимир Иванович 202, 236
Виноградов Дмитрий Иванович 48, 52, 53, 93

Винтер Эдуард 64
Вольтер 29, 49, 71
Вольф Христиан (Кристиан) фон 20, 27, 33, 47–57, 59, 60, 67, 71, 77, 79, 80, 93, 94, 112, 113, 127, 170, 171, 179, 187, 190, 191, 223, 226, 267
Вольф Т. 147, 152, 153
Воронцов А. П. 71, 117
Воронцов Михаил Илларионович 53, 54, 56, 59, 61, 76, 130
Воронцовы, род 97, 194
Врун Ленхофф Гэйл Дайян 36
Вучинич Александер 112, 126, 193

Галилей Галилео 12, 15, 27, 109, 119, 250
Галлер Альбрехт фон 27, 40
Гаскойн Д. 20, 153
Генкель Иоганн Фридрих 77, 93, 94, 96
Герман Якоб 162
Гмелин Иоганн Георг 130
Голински Я. 45
Голицын Федор Николаевич 29
Голубцов Николай Александрович 88, 89, 204
Гончаров Иван Александрович 194
Гораций 23, 141, 236
 Exegi monumentum 23, 236
Гордин М. Г. 47, 161
Грай К. 55
Греч Николай Иванович 144
Гринблатт Стивен 25–27
Гринфельд Лия Владимировна 24
Гришов Августин Нафанаил 61, 62

Грот Яков Карлович 194, 195
 Гумбольдт Александр фон 174
 Гурьев М. 89, 128

д'Арк Жанна 247
 Дальман Дитмар 64
 Дальтон Джон 224, 226
 Дамаскин (Семенов-Руднев
 Дмитрий Ефимович) 84, 165
 Дашкова Екатерина Романовна
 13, 84, 117
 Деар П. 187
 Декарт Рене 16, 187–189, 191,
 247, 250
 Державин Гавриил Романо-
 вич 125
 Джонс У. Г. 72, 74, 75
 Джоравски Д. 173
 Дидро Дени 76
 Добренко Евгений Александро-
 вич 246
 Довлатов Сергей Донатович
 248, 249
 Достоевский Федор Михайло-
 вич 194
 Дудин Христофор 86
 Дуйзинг Юстин Герхард 49, 54
 Дэви Х. 27

Евдокимова С. 151, 156
 Екатерина II, императрица 41, 48,
 72, 78, 110, 150, 153, 236
 Елизавета Петровна, российская
 императрица Елизавета I 17,
 28, 71, 118, 164, 167, 176, 251
 Елисеев Алексей Александро-
 вич 43
 Есаков Владимир Дмитрие-
 вич 238

Живков А. А. 206
 Живов Виктор Маркович 7, 28,
 46, 73, 101, 155,

Замкова Вера Викторовна 50
 Захер К. К. 39
 Зинин Николай Николаевич
 205, 208
 Зоннтаг О. 27, 40
 Зубов Василий Павлович 19, 91,
 99, 110, 122, 133, 134, 165

Идельсон Наум Ильич 62
 Измайлов Александр Ефимо-
 вич 144
Лгун (1824) 144
 Иноходцев Петр Борисович 14

Йео Ричард 25, 135

Кан Э. 101, 111, 117
 Кантор Д. 168
 Капица Петр Леонидович 133,
 201, 233
 Карамзин Николай Михайлович
 99, 109, 141
 Карпеев Энгель Петрович
 214, 237

Кеплер Иоганн 214
 Киприянова Т. Г. 87
 Клементьев Василий Иванович
 15, 192, 227

Ковалевский Максим Максимо-
 вич 178
 Кожевников А. Б. 201, 232
 Койре Александр 187
 Кольцов А. В. 204
 Кондорсе Мари Жан Антуан
 Никола 69

- Кондуитт Джон 80, 81
Константин, великий
 князь 100
Копанева Наталья Павловна
 48, 245
Копелевич Юдифь Хаимовна 47,
 48, 163
Коперник Николай 12, 16, 109,
 119, 194, 214, 250
Коренева С. Б. 48
Коровин Герман Михайлович 77,
 88, 223
Корф Иоганн Альбрехт фон
 52–54
Котельников Семен Кириллович
 14, 15, 65, 66, 124
Кочеткова Наталья Дмитриев-
 на 101
Кочнев С. М. 128
Коэн И. Б. 133
Краг Х. 240, 250
Кракрафт Д. 7, 46, 82
Крамер Йохан 94
Крафт Георг Вольфганг 93,
 162, 184
Крашенинников Степан Петро-
 вич 162
Кременцов Н. 198–200, 238
Кузнецов Борис Григорьевич 244
Кулакова Любовь Ивановна 29,
 99, 111–113, 176
Кулябко Елена Сергеевна 13, 30,
 142, 165, 198, 203, 207
Куник Арист Аристович 52, 53,
 70, 195, 196, 207
Кунцевич Георгий Захарович 11,
 29, 204
Кэлинджер Рональд 55
Кювье Жорж Леопольд 35
Лавуазье Антуан Лоран 39, 58,
 222–224, 231–233
Ламанский Владимир Иванович
 194, 195, 201, 217
Ланжевен Люс 217
Леклерк Николя 69, 70
Левитт Маркус 45, 72, 194
Лейбниц Готфрид Вильгельм фон
 47–49, 52, 55, 59, 105, 106, 142,
 170, 187
Леки Колум 7, 75
Лемонте Пьер-Эдуар 147
Ленин Владимир Ильич 199, 200,
 247, 249
Лепехин Иван Иванович 14, 89,
 124, 128, 140
Лестер Генри М. 38, 116,
 223, 228
Лихуд Иоанникий 91
Лихуд Софроний 91
Ломоносов Михаил Васильевич
 8, *passim*
 Диссертация о действии
 химических растворителей
 вообще (1743) 60, 185
 Изъяснения, надлежащие
 к слову о электрических
 воздушных явлениях (1753) 62
 Краткое описание разных
 путешествий по северным
 морям и показание возможного
 прохождения Сибирским
 океаном в Восточную Ин-
 дию 103
 О вольном движении воздуха...
 (1750) 190
 О слоях земных 114
 Об отношении количества
 материи и веса 51

Опыт теории упругой силы воздуха 189

Первые основы металлургии или рудных дел (1763) 76, 102, 114, 136

Письмо о пользе стекла (1752) 29, 71, 171

Работа по физике о превращении твердого тела в жидкое, в зависимости от движения предсуществующей жидкости (1738) 52

Размышления о причине теплоты и холода 223, 225

Рассуждение о большей точности морского пути 103, 132, 135, 171, 188

Слово о пользе химии (1751) 102, 132, 171, 226, 228

Слово о происхождении света, новую теорию о цветах представляющее 107, 132, 171, 183, 188

Слово о рождении металлов от трясения земли (1757) 102, 132, 171

Слово о явлениях воздушных, от электрической силы происходящих 61, 132, 188

Физическая диссертация о различии смешанных тел, состоящем в сцеплении корпускул (1739) 52

Физические размышления о причине теплоты и холода (1744) 60, 185, 223

Элементы математической химии (1741) 186

Явление Венеры на солнце...

132, 135, 171, 188

Лопаткина Матрёна Евсеевна 141

Лотман Юрий Михайлович 16, 17, 32, 35, 37, 45, 68, 117

Лукьянов Павел Митрофанович 111

Лысцов Викентий Павлович 74, 157, 193, 196

Львович-Кострица Александр Иулианович 201

Любимов Николай Алексеевич 177–193, 197, 252

Ломоносов как физик 177, 178

Ляковский Николай Эрарстович 178

Магницкий Леонтий Филиппович 86–88, 127, 166

Арифметика 87, 127, 166

Майков Аполлон Николаевич 194

Макаров Владимир Кузьмич 32, 78, 82, 83

Макклеллан Джеймс Эдвард 163

Макогоненко Георгий Пантелеймонович 79, 110

Малерб Франсуа де 72, 149

Мандевиль Джон 36

Мануэль Фрэнк 28, 136, 214

Маргграф Андреас Сигизмунд 114

Марковников Владимир Васильевич 202, 203, 215

Маркс Карл 200

Мартынов Иван Фёдорович 75

Мейерс Д. 48

Менделеев Дмитрий Иванович 161, 194, 205

- Меншуткин Борис Николаевич
14, 22, 23, 52, 88, 122, 133, 134,
143, 181, 189, 193, 196–198,
205–237, 240, 241, 250, 252
- Меншуткин Николай Алексан-
дрович 205
- Микулинский Семён Романович
122, 134
- Миллер Герхард Фридрих 64, 65,
207, 246
- Модзалевский Лев Борисович 13,
30, 192, 237
- Моисеева Галина Николаевна 90
- Моисеева Татьяна Михайловна 245
- Мопертюи Пьер Луи де 49
- Морозов Александр Антонович
48, 87, 88, 237
- Морозов Павел Трофимович 247
- Муравьев Михаил Никитич 21,
73, 98–109, 118, 120, 121, 125,
133, 134, 140, 143, 164, 183, 241
- Заслуги Ломоносова в учено-
сти 73, 98–102, 109, 183
- Найт Дэвид 203
- Николай I, российский импера-
тор 144, 149, 155, 158, 160, 161
- Новиков Николай Иванович 21,
36, 74–81, 84, 88, 95, 112, 127,
165, 167, 241
- Опыт исторического словаря
о российских писателях* 74,
75, 79
- Нора Пьер 23, 247
- Ньютон Исаак 12, 16, 28, 33, 49,
51, 57, 59, 66, 80, 81, 104–109,
119, 124, 134, 136, 142, 143, 152,
167, 169, 170, 183, 186–189, 191,
214, 217, 219, 223, 240, 241, 250
- Озерецковский Николай Яковле-
вич 14, 89, 124, 128, 140
- Орлов Григорий Григорьевич 207
- Осипов Юрий Сергеевич 251
- Осповат Кирилл Александрович
7, 28
- Оствальд Вильгельм Фридрих
229, 230
- Оуэн Джинджерих 195
- Павлова Галина Евгеньевна 38,
57, 62, 65, 70, 74, 81, 83, 111,
112, 225, 237
- Панкальди Гвидо 27
- Пастер Луи 16, 173
- Пекарский Пётр Петрович 47, 48,
52–54, 56, 59–61, 63, 64, 66, 70,
72, 79, 82, 84, 126, 136, 145, 163,
178, 181, 195, 196, 207, 214
- Перевлесский Пётр Мироно-
вич 145
- Перовошиков Дмитрий Матвее-
вич 133–135, 174, 178, 194
- Петр I (Петр Великий), россий-
ский император 9, 16–18, 37,
46–48, 70, 78, 85, 89, 91, 97, 100,
101, 153, 159, 167, 168, 180, 235,
245–247, 253
- Петр II, российский император 167
- Петр III, российский император 82
- Петров Василий Владимиро-
вич 205
- Пиндар 72, 141, 148, 149, 152
- Писаренко Константин Анатоль-
евич 118, 119
- Планк Макс 16
- Погодин Михаил Петрович 70,
84, 155, 158–162, 164–176, 191,
192, 197, 205, 209, 217, 218, 241

- Полевой Ксенофонт Алексеевич
9, 157
- Полоцкий 76, 77, 87, 167 см.
- Симеон Полоцкий
- Помпер Филипп 232
- Попов Никита Иванович 62
- Поповский Николай Никитич
79, 138, 192
- Портнов Александр 18
- Поуп Александр 79, 138, 192
Опыт (эссе) о человеке 79,
138, 192
- Пристли Джозеф 110
- Прокопович Феофан 89
- Протасов Алексей Протасьевич
14, 124
- Прошкин Александр Анатолье-
вич 246
- Пумпянский Лев Васильевич 83
- Пушкин Александр Сергеевич
21, 23, 36, 109, 121, 123, 139,
144–157, 164, 177, 180, 197, 199,
201, 235, 241, 247, 250
*Путешествие из Москвы
в Петербург* 146, 149–151
- Рабико Шарль 43
- Радищев Александр Николаевич
21, 62, 73, 76, 99, 101, 102, 104,
108–118, 131, 132, 134, 135,
150–153, 155, 156, 241,
251, 252
Слово о Ломоносове (1780) 73,
110–114, 117, 118, 134, 151, 152
*Путешествие из Петербурга
в Москву* (1790) 110, 111, 113,
132, 149, 150, 251
- Радищев Павел Александрови-
ч 151
- Радовский Моисей Израилевич
13, 64, 70, 83, 133, 193, 198, 203,
206, 218
- Разумовский Кирилл Григорье-
вич 60, 154
- Райан Уильям Фрэнсис 87
- Райзер Густав Ульрих 48, 52, 53, 93
- Райнов Тимофей Иванович 123
- Раскин Наум Михайлович 15,
110, 205, 209, 217, 218, 228, 237
- Ребеккини Дамиано 142
- Рейфман Ирина Владимировна 16,
73, 74, 83, 101, 139, 148, 159, 193
- Рихман Георг Вильгельм 31,
43–45, 104, 132, 147, 162, 163,
173, 174, 184, 191, 245
- Рихтер Лиселотт. 47
- Ричард из Бери 35
Филобиблон 35
- Румовский Степан Яковлевич 14,
15, 42, 65, 66, 124
- Рюдигер Иоганн Адам 114
- Рязановский Николай Валенти-
нович 17
- Свиньин Павел Петрович
140–145, 150
*Потомки и современники
Ломоносова* (1834) 141, 144
- Севергин Василий Михайлович
14, 21, 124–139, 148, 163, 180,
181, 205, 241
- Сёдерквист Томас 13, 35
- Симеон Полоцкий 76, 77, 87, 167
- Синдинг Кристиан 173
- Скотт Вальтер 142
- Слоун Ганс 33
- Смагина Галина Ивановна 13, 64,
74, 85, 164, 201

- Смит Александр 208
Смит Г. С. 83
Смолеговский Александр Михайлович 205, 206, 208, 209, 218
Смотрицкий Максим Герасимович (Мелетий) 86, 88, 127, 166
Соболева Елена Владимировна 161, 178
Соколов Александр Петрович 103
Соколов Николай Николаевич 14
Соловьев Юрий Иванович 19, 99, 122, 146, 157, 193, 203, 205, 206, 208, 209, 218, 237
Сомов Владимир Александрович 70
Сохатский Павел Афанасьевич 163, 164
Стайлз Эзра 116
Сталин Иосиф Виссарионович 200, 246, 247
Стенник Юрий Владимирович 17, 81, 145, 148, 155
Стерн Лоренс 110
 Сентиментальное путешествие 110
Строганов Александр Сергеевич 42
Стюарт Ларри 45
Сумароков Александр Петрович 72, 73, 79, 99, 148, 155
Сухомлинов Михаил Иванович 14, 48, 54, 122, 124–126, 136, 138, 139, 170, 194, 198, 203
Тартаковский Андрей Григорьевич 75, 150
Тауберт Иван Иванович 64, 65, 83, 207
Толстой Дмитрий Андреевич 164, 178
Томпсон Бенджамин Румфорд 174
Томсон Джеймс 108
Третьяковский Василий Кириллович 73
Тригос Людмила 250
Тропп Эдуард Абрамович 50, 233
Тумаркин Нина 247
Туммиг Людвиг Филипп 50
Тютчев Фёдор Иванович 194
Уортман Ричард С. 144
Уоттон Уильям 59
Успенский Борис Андреевич 16, 17, 32, 35, 37, 45, 73
Уваров Сергей Семёнович 158, 160
Ушаков Федор Васильевич 117
Ушакова Нина Николаевна 19, 99, 122, 124, 130, 136, 157, 193
Уэрретт Саймон 61
Фара Патриция 241
Фарадей Майкл 168
Фаркухарсон Г. 87
Феофан Прокопович 89; см. Прокопович Ф.
Фигуровский Николай Александрович 122, 124, 130, 136
Флемстид Джон 169
Фонтенель Бернар Ле Бовье де 69, 81
Франклин Бенджамин 12, 16, 34, 43, 62, 104, 105, 108, 109, 115, 116, 119, 132, 133, 147, 174, 175, 179, 186, 191, 219, 250

- Experiments and Observations on Electricity, Made at Philadelphia in America* (1751) 62
- Фусс Николай Иванович 127
- Хантер Майкл 28, 59, 80
- Харер Клаус 82, 85
- Хартанович Маргарита Федоровна 160, 245
- Хейлброн Джон 195
- Хефер Фердинанд 181
- Хиггитт Ребекка 81
- Холл Руперт 59, 81, 240, 241
- Хоффманн Петер 38, 64, 252
- Храповицкий Александр Васильевич 150
- Хриссидис Николаос 91
- Хьюз Линдси 18, 46
- Челищев Пётр Иванович 101, 140
- Ченакал Валентин Лукич 18, 54, 57, 58, 64, 96, 245
- Чичагов Василий Яковлевич 103, 116
- Чосер Джеффри 35
- Кентерберийские рассказы* 35
- Чудновский [скульптор] 248
- Шапиро Михаил Григорьевич 245, 246
- Шапп Д'Отрош Жан 72, 75
- Voyage en Sibérie* (1768) 72
- Шевырев Степан Петрович 29, 158, 164, 176, 192
- Шейпин Стивен 40, 74, 80, 118
- Шептунова Зинаида Ивановна 19, 122, 203, 205
- Шортленд Майкл 135
- Шпангенберг Я. К. 65
- Штелин Якоб фон (Яков Яковлевич) 21, 70, 74–76, 78, 80–86, 88–98, 112, 113, 121, 127, 137, 138, 165, 166, 171, 176, 192, 207, 211, 235, 236, 241
- Конспект похвального слова Ломоносову* 70, 165
- Черты и анекдоты для биографии Ломоносова, взятые с его собственных слов Штелиным* (1783) 74, 83
- Шубинский Валерий Игоревич 19, 38, 88
- Шувалов Андрей Петрович 70–73
- Шувалов Иван Иванович 20, 27–33, 35, 37, 39–43, 58, 66, 70, 79, 81, 92, 109, 128, 130, 138, 148, 154, 155, 162, 164, 168, 173, 176, 180, 182, 191, 192, 210, 212
- Шуваловы, род 194
- Шумахер Иван Данилович (Иоганн Даниэль) 61–65, 83, 96
- Эйлер Леонард 20, 27, 34, 47, 48, 51, 55, 57–67, 79, 99, 106, 108, 126, 127, 143, 162, 163, 184–186, 189, 221, 223, 231, 232, 234, 235, 245
- Механика*
- Элиас Норберт 47
- Энгельс Фридрих 200
- Эпинус Франц У. 63, 136, 162, 184
- Юшкевич Адольф Павлович 57, 64

Оглавление

Благодарности	7
Введение	9
Глава 1. Честь и статус в «Автобиографии» Ломоносова ...	25
Глава 2. Российские «собственные Платоны и быстрые разумом Невтоны»: изобретение ученого	68
Глава 3. Ломоносов в эпоху Пушкина	121
Глава 4. Чествование «первого ученого» России	158
Глава 5. Меншуткин и «повторное открытие» Ломоносова	198
Эпилог. Дальнейшая судьба мифа	240
Библиография	254
Именной указатель	290

Научное издание

Стивен А. Уситало
ИЗОБРЕТЕНИЕ МИХАИЛА ЛОМОНОСОВА
Русский национальный миф

Директор издательства *И. В. Немировский*
Ответственный редактор *И. Белецкий*
Куратор серии *К. Тверьянович*
Заведующая редакцией *О. Петрова*

Дизайн *И. Граве*
Редактор *А. Каркоцкая*
Корректоры *А. Филимонова, И. Манлыбаева*
Верстка *Е. Падалки*

Подписано в печать 23.08.2023.
Формат издания 60 × 90 ¹/₁₆. Усл. печ. л. 18,8.
Тираж 300 экз.

Academic Studies Press
1577 Beacon Street, Brookline, MA 02446 USA
<https://www.academicstudiespress.com>

ООО «Библиороссика».
198207, г. Санкт-Петербург, а/я № 8

Эксклюзивные дистрибьюторы:
ООО «Караван»
ООО «КНИЖНЫЙ КЛУБ 36.6»
<http://www.club366.ru>
Тел./факс: 8(495)9264544
e-mail: club366@club366.ru

Книги издательства можно купить
в интернет-магазине: www.bibliorossicapress.com
e-mail: sales@bibliorossicapress.ru



*Знак информационной продукции согласно
Федеральному закону от 29.12.2010 № 436-ФЗ*



Стивен Уситало — профессор, заведующий кафедрой социальных наук в Северном государственном университете в Абердине. Специализируется на истории России и СССР, современных исследованиях геноцидов и на истории кино.

В этой книге Стивен Уситало рассматривает эволюцию восприятия Ломоносова с середины XVIII века до последних лет советского периода. Стремясь доказать соотечественникам и государству первоочередную роль науки в процессе национальной модернизации, многие российские деятели науки и искусства использовали идеализированный образ ученого и поэта — и тем самым способствовали возникновению «ломоносовского мифа». Уситало отмечает, что границы между советским и более ранним мифом о Ломоносове практически не было: основные его элементы сформировались еще в XVIII–XIX вв., и чем дальше он развивался, тем больше возникало преувеличений.



**СОВРЕМЕННАЯ
ЗАПАДНАЯ РУСИСТИКА**

И С Т О Р И Я

www.bibliorossicapress.com

ISBN: 978-5-907532-99-1



9 785907 532991